



Это цифровая копия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие засиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредиринали некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Scanned by
S. C. O. W. G. K.

Slow 4341. 36.5 (3)

HARVARD COLLEGE
LIBRARY



BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND



СОЧИНЕНИЯ

Э. И. ГУБЕРА,

ИЗДАННЫЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. Г. ТАХИЕВА.

ТОМЪ III.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ СМИРДИНА СЫНА И КОМП.

1860.

Scar 4341.36.5 (3)



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представлено въ Цензур-
ный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

Санктпетербургъ. 2 Декабря 1859 г.

Цензоръ В. Бекетовъ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ В. БЕКОВРАЗОВА И КОМП.

Считаю долгомъ объяснить недоразумѣніе, вкравшееся въ наше изданіе. На стр. 213—217 первого тома напечатано стихотвореніе „Идеалы“, переводъ изъ Шиллера, принадлежащій Жуковскому и приписанный пами Губеру, въ черновыхъ тетрадяхъ котораго мы нашли эту піесу, *переписанную его рукою, съ поправками и примѣчаніями.* Эта обманчивая обстановка заставила насъ сдѣлать страшную ошибку, которую гг. читателей просимъ замѣтить.

Что касается до опечатокъ, вкравшихся въ наше изданіе, то мы считаемъ позднимъ исправленіе ихъ теперь тѣмъ болѣе, что они не важны, за исключеніемъ весьма немногихъ.

A. T.

ПРОЗАЙЧЕСКІЯ СТАТЬИ

РАЗЛИЧНАГО СОДЕРЖАНІЯ.

ВГЛЯДЪ НА НЫНѢШНЮЮ ЛИТЕРАТУРУ ГЕРМАНИИ.

(Современникъ 1838 г. N. 2).

Каждая великая эпоха въ жизни народа влечеть за собою какое-то ослаблениe; природа въ самодовольномъ созерцаніи того, что она совершила, какъ будто отдыхаетъ отъ трудовъ своихъ; этотъ законъ столько-же примѣняется къ политическому быту народа, сколько и къ литературному. Германія въ исходѣ прошедшаго столѣтія совершила блистательный переворотъ въ самыхъ основныхъ стихіяхъ своей литературы. Переходя изъ бездушнаго, книжнаго изученія къ живому наблюденію природы, какъ непремѣнному условію творческаго воображенія, она разрушила старую теорію и, увлекаясь душою греческой поэзіи, отвергла ея обветшалыя правила. Критическая философія Канта столько-же содѣйствовала этой умственной реформаціи, сколько и эстетическая изслѣ-

дованія Лессинга. Но еще вѣрнѣе, еще рѣшительнѣе выразилась полная картина переворота въ дивныхъ созданіяхъ Гёте. Самая борьба двухъ разнородныхъ элементовъ, слѣдаго изученія книжнаго труженика, скатаго въ тѣсныхъ предѣлахъ древней теоріи, и бурнаго стремленія смѣлаго ума за предѣлы этой теоріи къ живому наблюденію природы, къ свѣтлому изученію жизни, эта борьба вполнѣ высказалась въ двухъ типическихъ характерахъ Вагнера и Фауста. Со временемъ Лютера никто не обладалъ столькими элементами германскаго духа, такъ Гёте. Но переворотъ совершился: поэтическія созданія Гёте и Шиллера вмѣстѣ съ германской философіею сдѣлались достояніемъ Европы; она оцѣнила ихъ произведенія и приняла ихъ законы.

Какія-же были слѣдствія этого переворота? Какія-же плоды принесла эта реформація? Кажется, могильный памятникъ Гёте служить вмѣстѣ съ тѣмъ и могильнымъ памятникомъ германской литературы. Она представляеть въ настоящее время печальную картину: кое-гдѣ проявляется дарованіе, силится въ напрасномъ напряженіи проложить новую дорогу, или рисуетъ несмѣшную кошю съ дивныхъ образцовъ своихъ великихъ художниковъ; такъ на развалинахъ величественнаго зданія мѣстами произрастаютъ цвѣты, живя и питаясь его разрушенными останками. Съ другой стороны, новая французская литература, пользуясь по-своему образцами нѣмецкими и вѣковыми созданіями Шекспира, заразила юное поколѣніе Германии. И въ самомъ дѣлѣ, кого не соблазнятъ эти роскошные об-

разы, эта блестательная мишуря, кого не поразить эта страшная анатомия порока, которыми даритъ насъ новая словесность Франціи? Какое дѣло до природы, до истины, этой литературѣ отчаянія, какъ называлъ ее Гёте? Въ гущѣ человѣчества она изучаетъ человѣка, съ упоеніемъ роется въ грязныхъ закоулкахъ порока и торжествуетъ на развалинахъ нравственности; она искала новыхъ пружинъ для возбужденія усиленаго вниманія читателей — и нашла ихъ въ страшныхъ оргіяхъ преступлениія. Теперь посмотримъ, какимъ образомъ дѣйствовало вліяніе этой литературы въ Германіи и до какого развитія дошла она здѣсь въ наше время.

Гёте еще при жизни подвергался нападеніямъ заистливыхъ враговъ. Но крики ихъ не доходили до него; такъ узналъ онъ о существованіи Менцеля и его критическихъ выходокъ, читая иностранные журналы, которые защищали исполина Германіи противъ его отечества. А Менцель былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ противниковъ Гёте. Вкрадчивость слога и юдкое остроуміе давали ему незаслуженную силу. Увлекаясь жаждою политическихъ переворотовъ, онъ ненавидѣлъ Гёте, не какъ поэта, а какъ величаваго представителя монархическихъ началъ. Юное поколѣніе Германіи, воспитанное среди общихъ тревогъ западной Европы, безъ цѣли, безъ сознанія, требовало нового поприща. Негодяя на тишину нѣмецкаго быта, молодая генерація искала себѣ опоры и руководителя. И въ это мгновеніе доходитъ до нея хула озлобленнаго Менцеля. Неопытные, восторженные умы соби-

раются подъ знамена смѣлаго проповѣдника національ-
наго перерожденія. Гётева слава мѣшаетъ ихъ соб-
ственной, и они съ гнѣвнымъ усердіемъ, вмѣстѣ съ
своимъ учителемъ, подрываютъ бессмертный памятникъ
великаго имени. Такимъ образомъ Менцель, противъ
воли, сдѣлался основателемъ новой школы. Время и
опытъ доказали ему ничтожность его прежнихъ усилий,
и теперь онъ съ ужасомъ отступаетъ отъ этой юной
Германіи, которая съ своей стороны тоже не слиш-
комъ жалуетъ основателя новой школы. Цѣль этой
школы — измѣненіе общества въ самыхъ основныхъ
его стихіяхъ; всѣ сочиненія ея устремлены къ низ-
верженію старого, освященнаго вѣками порядка. Нельзя
сказать, чтобы между поборниками этой школы не
было людей съ дарованіемъ: Гейне, Бёрне, Гуцковъ
могли-бы и на лучшемъ поприщѣ занять почетное
мѣсто; тѣмъ болѣе должны мы сожалѣть, что всѣ
эти силы истрачиваются для достижениія ложной цѣли.
Какъ грустно слѣдить за дѣйствіями этихъ людей,
исполненныхъ глубокаго убѣжденія въ справедливости
своихъ начинаній! Вотъ Бёрне, этотъ мученикъ не-
сбыточной идеи! Для нея онъ пожертвовалъ спокой-
ствіемъ жизни, для нея ополчился жаломъ горькихъ
насмѣшекъ. Любя Германію, онъ болѣе всѣхъ страда-
етъ отъ раны, которую самъ въ ней углублялъ.
Смерть недавно разрѣшила ему тѣ неразгаданныя тай-
ны, которыхъ были проклятыемъ всей его жизни. Вотъ
и Гейне, съ его ужасной ироніей, съ его ядовитымъ
юморомъ! Нѣтъ, это не та стыдливая муза Жанъ-Поля,
которая съ улыбкой на устахъ, съ глазами пол-

ными слезъ, напѣвала вамъ такія волшебныя пѣсни: это дикая баядерка, которая, не стыдясь своей соблазнительной наготы, заманитъ васъ въ роскошныя объятія нѣги и заразить ядовитымъ дыханіемъ. Гейне не признаетъ святыни; для него нѣть религіи; а между тѣмъ онъ облекаетъ свои ужасныя мысли въ такую соблазнительную одежду, онъ говорить съ такимъ простодушiemъ, что вы забудетесь надъ сладкимъ ядомъ его поэзіи. Но полное развитіе новой школы мы встрѣчаемъ въ лицѣ Гуцкова. Это проповѣдникъ безнравственности; никакія границы не обуздываютъ его дикаго воображенія, и даже самые товарищи его съ ужасомъ отступаются отъ его произведеній. Вотъ главные дѣйствователи новой школы, основанной на образцахъ нынѣшней французской литературы. Не трудно предвидѣть, что такое направленіе словесности распадется отъ собственной ничтожности. Многія, въ томъ числѣ даже и самъ Гуцковъ, теперь уже возвращаются въ естественные границы искусства. Еще забавнѣе беспрестанный противорѣчія несчастнаго Менцеля: опровергая собственные миїнія свои, онъ находится въ самомъ затруднительномъ положеніи. Вся литература такъ-называемой юной Германіи представляеть неудачную копію съ неудачной картины.

Мы не украсимъ этой школы именами Уланда, Ленау, Анастасія Грюна, Рюкерта и пр., которые никогда не помрачали своего дарованія въ грязныхъ картинахъ безнравственности, хотя нѣкоторые изъ нихъ можетъ-быть, и собирались подъ политическія знамена юной Германіи. Уландъ безъ сомнѣнія одинъ изъ пер-

выхъ лириковъ нашего времени. Начало новой поэзіи, вообще говоря, лирическое. Германия, удаленная въ продолжение всего своего существования отъ вѣшнаго политического направлениія, ограничивала дѣятельность свою полнымъ развитіемъ внутренней жизни. Нѣмецъ, погруженный въ безпрерывное созерцаніе, обозначилъ и литературу свою характеромъ мечтательности. Такимъ образомъ въ Германии съ одной стороны столько же развилаась поэзія внутренней жизни, поэзія лирическая, сколько съ другой стороны и философія, какъ наука уединенного размышленія, направлennаго, вдали отъ вѣшнихъ бурь, къ изслѣдованию явленій духовнаго міра. Нигдѣ не было такихъ великихъ лирическихъ поэтовъ, такихъ глубокихъ философовъ, какъ въ Германии. Уландъ сперва почерпалъ свои вдохновенія изъ феодальнаго быта; потомъ, увлекаясь новыми политическими переворотами, поэзія его приняла направление политическое; иаконецъ, видя ничтожность этихъ усилий, Уландъ оставилъ исторію и погрузился въ поэтическое созерцаніе общихъ человѣческихъ отношений. Возлѣ Уланда является Анастасій Грюнъ (графъ Ауэрспергъ); но тамъ, гдѣ глубокое национальное чувство удерживаетъ Уланда въ предѣлахъ отечества, Грюнъ переходитъ за эти предѣлы въ объятія цѣлаго человѣчества; кисть его мягка, и онъ какъ Гёте, одѣваетъ свои созерцанія въ пластическія формы. Австрія не могла удовлетворить своего поэта — космополита, и Грюнъ, покинувъ отечество, вдохновеннымъ странникомъ обходитъ міръ, знаменуя скитальческую жизнь роскошными пѣснями, Не менѣе замѣтелъ и Линду (фонъ-Нимѣшъ), онъ

еще недавно подарили Германии два превосходных произведения изданиемъ Фауста и Савонароллы. Легенда Фауста, общая, можетъ-быть, всѣмъ народамъ и даже всѣмъ литературамъ, нигдѣ не получила такого развитія, какъ въ Германии. Причина этого явленія легко объясняется самимъ характеромъ народа, въ которомъ заключаются всѣ начала глубокомысленнаго преданія. Фаустъ дебютировалъ сперва въ жалкихъ марionеттыхъ представлениихъ; потомъ онъ сдѣлался предметомъ глубокихъ, философическихъ изученій, и наконецъ явился въ полномъ своемъ развитіи, въ бессмертномъ твореніи Гёте. Не достигая этой колосальной высоты, Ленау озмаменовалъ свое произведение самостоятельнымъ воззрѣніемъ на одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ человѣчества. Въ Савонароллѣ поэтъ принялъ форму эпическую; борьба этого пылкаго реформатора, современника папы Александра VI, выражена яркими красками, и все созданіе, при глубокомъ историческомъ изученіи, дышетъ неподдѣльнымъ поэтическимъ вдохновеніемъ. Ленау безъ сомнѣнія принадлежитъ къ лучшимъ украшеніямъ нынѣшней германской литературы; всѣ его произведенія обнаруживаютъ самобытную, творческую силу, и воображеніе его никогда не рисуется въ грязныхъ картинахъ новой литературной школы. Кромѣ того мы встрѣчаемъ еще иѣсколько имёнъ, озмаменованныхъ высокимъ дорованиемъ: Рюкерть, Шамиссо, Пфицерь, (авторъ Ночного Смотра, превосходно переведенного Жуковскимъ): всѣ они имѣютъ неоспоримое право на наше вниманіе. Не смотря на такія дарованія, нынѣшняя нѣмецкая литер-

тура представляетъ печальную картину; первая причина этого бѣдственнаго положенія заключается въ совершенномъ отсутствіи централизаціи талантовъ; вторая въ жалкой подражательности нынѣшней французской словесности. Не принимая на себя обязанности прорицателя, мы думаемъ, основываясь на иѣкоторыхъ достовѣрныхъ примѣтахъ, что послѣдняя причина скоро уничтожится; незначительность новой французской словесности не удовлетворить глубины и основательности иѣмецкаго ума, и потому вліяніе ея прекратится, какъ скоро Гермнія проснется, сознавая собственое свое достоинство.

Ученая иѣмецкая литература и въ наше время представляетъ много замѣчательныхъ явлений; исторические труды Раумера, географія Риттера — образцовые произведенія, которымъ справедливо гордится Германія. Философическія науки постоянно дополняются новыми превосходными сочиненіями. Книга Штраусса разбудила теологію. Богословы съ благороднымъ негодованіемъ подняли брошенную перчатку; со всѣхъ сторонъ появились сочиненія *pro* и *contra*. Телукъ, Неандеръ и др. занялись безпристрастнымъ разборомъ вопроса; ихъ опроверженія служать прекраснымъ украшеніемъ теологической литературы; трудно привести даже названія сочененій, написанныхъ по этому поводу. Но таковъ иѣмецъ: дайте ему спорный вопросъ — и онъ отъ него не отстанетъ, не отступится, пока не изслѣдуетъ всѣхъ его сторонъ, не разглядѣть всѣхъ отѣнковъ, не опредѣлить и самыхъ ничтожныхъ недоразумѣній.

Вотъ краткій очеркъ нынѣшней литературы Германіи. Полному ея развитію препятствуетъ не недостатокъ дарованій, но ложное ихъ направленіе. Можетъ быть, онъ со временемъ вступятъ на лучшее поприще и тогда безъ сомнѣнія украсятъ литературу своего отечества достойными произведеніями.

О ФИЛОСОФИИ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

(Отечественные Записки 1859 г. Т. 1).

ВЗГЛЯДЪ НА РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ДО СХОЛАТИКОВЪ.

Разсматривая состояніе наукъ въ нашемъ отечествѣ безъ предубѣжденія, но и безъ пристрастія, мы замѣчаемъ быстрые, почти неимовѣрные успѣхи по всѣмъ отраслямъ человѣческаго знанія. Послѣдніе годы ознаменовались многими превосходными произведеніями. Исторія и точныя науки еще болѣе другихъ обогатились самостоятельными изслѣдованіями людей, съ любовью подвизающихся на этомъ трудномъ поприщѣ. Ученыя сочиненія не только печатаются, но и покупаются: лучшее доказательство, что теперь у насъ не только пишутся, но и читаются подобныя книги. Было время, когда у насъ занимались наукою только ех officio, по ремеслу; теперь мы видимъ другое, отрадное явленіе: мы видимъ уже любовь къ наукѣ, это необходимое условіе ея преуспѣянія. Многія страницы

въ обширной книгѣ человѣческихъ познаній украсились самобытными изслѣдованіями нашихъ ученыхъ; много задачъ разрѣшено движеніемъ умовъ, преданныхъ наукѣ и ученымъ изысканіямъ. Не удивительно ли послѣ того, что одна только философія не нашла себѣ мѣста, что она только неузнанная, безпріютная проходитъ мимо насъ? А между тѣмъ не въ ней ли заключается ключъ ко всѣмъ наукамъ вообще, не она-ли даетъ имъ и законы и методу? Перебирая скучные дары философіи, принесенные ея жрецами на алтарь отечественнаго образованія, мы съ весьма-немногими исключеніями встрѣчаемъ только слабыя, шаткія попытки ученыхъ, можетъ-быть и любящихъ, но во всякомъ случаѣ несовсѣмъ понимающихъ науку. Темное словопреніе, напыщенные фразы нашихъ доморощенныхъ философовъ живо напоминаютъ собою таблицу умноженія восторженной вѣдьмы въ гѣтевомъ „Фаустѣ“. Разумѣется, что эти напыщенные фразы, никому непонятныя, отбиваются и послѣднюю охоту къ наукѣ, покрытой такими гіероглифическими нарядами. И въ самомъ дѣлѣ, одна изъ главныхъ причинъ неуспѣха философіи въ Россіи заключается, можетъ-быть, въ ея номенклатурѣ, сложной и еще неустановившейся у насъ. Но такое препятствіе можетъ-ли навсегда остановить изслѣдованіе науки, столь важной по существу своему и по примѣненіямъ? Еще недавно, чуждая намъ дотолѣ терминологія химіи породила сильные возраженія; но польза ея, но люди, которые занимались ею, уничтожили это препятствіе,—и мы теперь уже привыкаемъ къ языку ея, и странныя выраженія ея

не смущаютъ болѣе щекотливаго уха нашихъ привяз-
чивыхъ судей. Желая представить читателямъ нашего
журнала важнѣйшія явленія нынѣшней философіи, я обращу
главное вниманіе на ясность и простоту изложенія.
Встрѣчая русское слово, которое можетъ вполнѣ за-
мѣнить какой-нибудь темный философическій тер-
минъ, я употреблю это слово, не боясь упрека или
осужденія. Русскій языкъ, благодаря Бога, не нуждается
посторонней помощи: онъ богатъ и силенъ, какъ
русская держава. Если-же какое-нибудь философиче-
ское выраженіе не переводимо, я употреблю его безъ
измѣненія, объясня, разумѣется, при этомъ точное его
значеніе. Въ подобныхъ случаяхъ я пожертвую всѣми
притязаніями на филологическое творчество, и не испе-
щю страницъ этого журнала употребленіемъ словъ,
чуждыхъ духу нашего прекраснаго языка.

Руководствуясь неизмѣннымъ правиломъ ясности и
упрощая по-возможности запутанную философическую
терминологію, я постараюсь указать на главнѣйшія
явленія философіи, но обращу особенное вниманіе на
философической системы, созданной въ новѣйшее время
въ Германіи, потому-что онъ, начиная съ прошедшаго
столѣтія, служатъ истиннымъ мѣриломъ состоя-
нія и развитія философіи въ полномъ ея объемѣ, по
всѣмъ ея направлениямъ. Въ первыхъ статьяхъ я отмѣ-
чу въ сжатыхъ очеркахъ главныя идеи философиче-
скихъ системъ древности, указывая при томъ на посте-
пенное расширеніе науки, которая въ основныхъ на-
чалахъ своихъ никогда не подвергалась измѣненію, въ
которой истинная цѣль навсегда обозначилась при пер-

вомъ ея появленіи. Потомъ, прослѣдивъ судьбу философіи въ темныхъ хартіяхъ среднихъ вѣковъ и ея возрожденіе въ блистательную эпоху реформаціи, я перейду къ подробнѣйшему разбору германскихъ мыслителей нашего времени.

Говоря о философіи, мы естественнымъ образомъ приходимъ къ вопросу: что такое философія? Ясное и точное опредѣленіе ея столько-же трудно, сколько легко обозначеніе ея предмета и содержанія. Скромные греческіе мыслители избрали для себя смиренное название философовъ, любителей мудрости—и философія обнимала въ то время всю область человѣческихъ познаній; потомъ предѣлы ея стѣснились, но за то цѣль ея означилась яснѣ, идея высказалась сознательнѣе. Предметъ философіи составляютъ высшіе вопросы нашего любознанія: Богъ, природа, человѣкъ; цѣль ея — возможное разрѣшеніе этихъ вопросовъ. Уже Цицеронъ называетъ ее наукой божественного и человѣческаго. Наука разума, наука основныхъ истинъ человѣческаго знанія, наука идей—всѣ эти опредѣленія, объясняя различныя стороны философіи, не выражаютъ полнаго ея значенія. Другіе называютъ ее и высшею наукой, или наукой наукъ, потому-что она опредѣляетъ первоначальные законы и методу каждого знанія, разрѣшая высшую цѣль каждой частной науки сознаніемъ общей связи всѣхъ умственныхъ явлений. Отношенія конечнаго къ безконечному, частнаго къ общему, условнаго къ безусловному, духа къ природѣ, свободы къ необходимости — вотъ задачи, разрѣшаемыя философіею. Различіе системъ проис-

ходить отъ различнаго воззрѣнія философовъ на тѣ же предметы. Эти системы отличаются между собою или самыми основными началами, или способомъ развитія одинакихъ началъ. Съ другой стороны философія безъ системы, измѣняя разумную свободу въ неограниченный произволъ, рождаетъ вредное, скептическое или мистическое направленіе. Но мудрость, приобрѣтаемая философіею, не ограничивается однимъ только теоретическимъ познаніемъ: она имѣеть живое, благодѣтельное вліяніе и въ примѣненіяхъ къ практической жизни; безъ этого примѣненія философія остается сухою, школьнью наукой, безсмысленно-прикованною къ наружной оболочкѣ системы. Наука тогда только становится плодотворною, когда она проникнута дыханіемъ жизни, когда она развиваетъ различныя стороны этой жизни.

Въ древности, философію, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, раздѣляли на логику и діалектику, которые разсуждали о возможности, формѣ и методѣ философіи; на физику, а впослѣдствіе метафизику, которая объясняла вопросы о конечныхъ началахъ всего сущаго, и на этику, или науку нравственной природы и назначенія человѣка. Въ новѣйшія времена философію раздѣлили на теоретическую и практическую; въ теоретической или умозрительной части разсматриваются высшая истины о Богѣ, о природѣ и о духѣ; въ практической — ихъ примѣненія. Подчиняя философіи высшую идею человѣчества въ тройственномъ ея развитіи — идею истины, блага и красоты, мы получимъ новое раздѣленіе на теоретическую, практи-

ческую и эстетическую философию. Врожденное стремление разума познать таинственную связь миравещественного и мира духовного, разгадать начальные причины всего видимого, послужило первымъ основаниемъ философии. Миньне о какомъ-то первобытномъ философическомъ народѣ, мньне, которымъ потѣшалось притязательное самолюбіе нѣкоторыхъ философовъ, пытавшихся давностію времени возвысить ту или другую систему, не подтверждается достаточными причинами. Это мньне основано на ложной гипотезѣ.

Философическое стремленіе составляетъ общую принадлежность человѣчества, и первыя философемы родились въ тоже время, когда религіозное созерцаніе впервые покусилось утвердить размышеніемъ теплое вѣрованіе.

Первоначальное развитіе разума, первое дѣйствіе его заключается въ религіозномъ созерцаніи. Потребность божества — необходимое условіе человѣческой ограниченности. Угадывая, еще безъ сознанія, существованіе этого непостижимаго начала всѣго видимаго и невидимаго, человѣкъ мало-по-малу переходитъ отъ безотчетнаго ощущенія къ понятію еще грубому, но уже подтвержденному тѣми или другими умственными доводами. Вотъ почему первое философическое дѣйствіе человѣка заключается въ развитіи религіозного созерцанія, вотъ почему теогонія (наука о происхождении боговъ) и космогонія (наука о происхожденіи мира) предшествовали всѣмъ прочимъ частямъ философии. Первые попытки этого рода перешли къ намъ съ востока. Физическая бездѣятельность, тѣлесное спокойствіе, эти характеристическія черты, столь свойствен

ные праздныи народы востока, имѣли, можетъ-
быть, благодѣтельное вліяніе на развитіе умственной
жизни, поощряя духовное созерцаніе и возбуждая дѣ-
ятельность воображенія. Но нигдѣ на цѣломъ востокѣ
это умственное созерцаніе не развилось до такой вы-
сокой степени, какъ въ Индіи. Тамъ, кромѣ олицетво-
ренія силъ природы, имѣли уже и отвлеченное поня-
тие о безусловномъ и независимомъ божественномъ
существѣ. Тамъ мы встрѣчаемъ уже это божество въ
двойственномъ видѣ. Въ ученіи браминовъ творческое
начало представляется въ Брамѣ, силы природы въ
Шивѣ, а нравственное начало въ Вишну. По этому
ученію, развитіе природы произошло отъ дѣйствія
божественного оплодотворенія; этотъ плодотворный
зародышъ, по началу своему, не принадлежитъ къ
образованіямъ природы, непостояннымъ и измѣняющимъ-
ся; следовательно, онъ и не уничтожается вмѣстѣ съ
оболочкою своею, которая разрушается, какъ и всѣ
матеріальные развитія. Освободясь отъ этой конечной
оболочки, божественное сѣмя снова оплодотворяетъ
природу и успосбляетъ ее къ новымъ, органическимъ
образованіямъ. Вотъ гдѣ заключается первоначальная
идея о переселеніи душъ. — Въ буддистическомъ рели-
гіозномъ ученіи мы встрѣчаемъ двѣ первоначальные,
противоположныи силы. Причина мірозданія заклю-
чается въ ихъ взаимномъ дѣйствіи и противодѣйствіи.
Эти силы — духъ и матерія. Необходимое условіе ду-
ха, по этому ученію, заключается въ бесконечномъ
раздробленіи и многообразіи, которое содѣлываетъ его
рабомъ матеріи или неразвитой природы; каждое ду-

ховное недѣлимое принимаетъ какую-нибудь материальную оболочку, болѣе или менѣе благородную, судя по высшей или низшей степени свободы этого духовнаго недѣлимаго. Перешагнувъ за границы материальнаго развитія, уничтоживъ тягостную необходимость жить подъ тѣлесною оболочкою, духъ пользуется уже безъусловною свободою, и въ этомъ состояніи онъ называется Буддою. Подъ оболочкою материи духъ не имѣеть воли; первое сознаніе неволи есть вмѣстѣ съ тѣмъ и первый шагъ къ освобожденію; пробужденная воля, сознаніе причинъ неволи и борьба нравственнаго начала съ началомъ физическимъ довершаетъ мало-помалу это освобожденіе духа отъ материальныхъ оковъ.

Переходя отсюда къ другимъ воззрѣніямъ востока, мы встрѣчаемъ въ народной религії Китая поклоненіе небу, звѣздамъ и олицетвореннымъ силамъ природы. Лао-Кіунъ и Фо приправляли эти религіозныя вѣрованія своими философическими мнѣніями. Конфуцій (550 до Р. Х.) соединилъ всѣ эти переданія вмѣстѣ, улучшилъ законы и обогатилъ своихъ послѣдователей превосходными правилами нравственности. — Религія парсовъ заключалась въ поклоненіи звѣздамъ (сабезизмъ) и отличалась простотою и величиемъ. Зороастръ, мудрецъ глубокомысленный и пламенный, проповѣдывалъ свое ученіе въ Мидіи. Соображаясь съ общимъ мнѣніемъ, онъ принималъ одно первоначальное верховное существо, всемогущее и бесконечное. Отъ него, въ силу творческаго слова (Геноферъ), произошло начало добра (Ормуздъ) и начало зла (Ариманъ). Ученіе этого мыслителя, изложенное въ „Книгѣ жизни“

(Зендавеста), имѣло сильное вліяніе и многочисленныхъ послѣдователей.— Египетъ пользуется прекраснымъ названіемъ колыбели человѣческой образованности; тамъ въ самой глубокой древности, уже развивалась наука; но она находилась въ исключительномъ владѣніи жрецовъ, которые ревниво скрывали ее отъ толпы, упрочивая за собою зависимость черни магическимъ вліяніемъ своихъ неприкосновенныхъ тайнъ. Вотъ почему мы не можемъ съ точностю опредѣлить истинный вѣсъ и значеніе египетской мудрости. Народъ поклонялся небеснымъ свѣтиламъ и иѣкоторымъ животнымъ. Озирисъ и Изида составляютъ проявленіе двойственного начала, мужскаго и женскаго. Но объясненіе истиннаго, тайного смысла народной миѳологии осталось для насъ неразрѣшеною загадкою. Геометрія, астрономія и астрологія составляли, по всей вѣроятности, главное занятіе египетскихъ мудрецовъ.

Итакъ религіозное созерцаніе составляетъ отличительную черту восточнаго характера. Прекрасная идея развитія міра изъ одного божественнаго начала и конечнаго возвращенія всего созданнаго къ этому началу принадлежитъ востоку. Недостатокъ здраваго философическаго умозрѣнія препятствовалъ основательному развитію этой мысли; дѣятельное воображеніе загромоздило ее странными несвязными баснями, лгождая вкусу времени и прихотямъ народа.

Но всѣ эти умственные попытки служатъ только пріуготовленіемъ или предисловіемъ къ философіи собственно, которая, какъ известно, получила первое

и истинное свое начало въ Греціи. Въ исторіи цѣлаго человѣчества мы, кромѣ грековъ, не встрѣтимъ другаго народа, который могъ-бы представить развитіе такой полной, совершенной организаціи. Первые сѣмена просвѣщенія, зароненные иноzemнымъ вліяніемъ въ нѣдра греческаго духа, принесли богатые плоды. Всѣ разнородныя стихіи многообразнаго просвѣщенія разработались неутомимою дѣятельностію самобытнаго ума. Поэзія — родная, отличительная черта греческаго народа — породила философію, и этотъ духъ философическій, однажды пробужденный силою счастливыхъ обстоятельствъ, захватилъ всю обширную область человѣческаго знанія, и смѣлымъ, вѣрнымъ полетомъ понесся къ предположенной цѣли.

Теннеманъ справедливо опредѣляетъ періодъ греческой философіи свободнымъ стремленіемъ разума къ познанію конечныхъ причинъ и законовъ природы и свободы, безъ яснагосознанія методы, которая могла бы довести до этого познанія. Въ первомъ отдѣлѣ этого періода умозрѣніе еще мало удалялось отъ поэзіи, еще не имѣло системы; философія занималась тогда изслѣдованіемъ вопроса о происхожденіи природы и объ основныхъ началахъ міра. Фалесъ (600 до Р. Х.), основатель *ионической* школы, первый занялся умозрительнымъ решеніемъ этого вопроса, принимая за основаніе «данныя» опыта. По его мнѣнію, вода или влага составляетъ основное начало всего сущаго. Мы не знаемъ однакожъ, какимъ образомъ соединялъ онъ идею боговъ съ этою материальною системою. Ему приписываются знаменитое выраженіе:

Анаксимандръ, другъ и современникъ Фалеса, при изслѣдованіи того-же вопроса, принималъ за основаніе безконечность, не давая впрочемъ ей точнѣйшаго опредѣленія. Эта безконечность, по мнѣнію нѣкоторыхъ неимѣвшая никакого стихійнаго состава, по мнѣнію другихъ представляла нѣчто среднее между водою и воздухомъ. Анаксименъ, ученикъ Анаксимандра, замѣнилъ эту неопределеннную безконечность воздухомъ, называя его безконечною, первоначальною стихіею. Всѣ эти мыслители руководствовались опытомъ при изслѣдованіи вопроса объ основныхъ началахъ міра. — Пиѳагоръ (584 до Р. Х.), учредитель *италійской* школы, разрѣшалъ ту-же задачу формами созерцанія, основываясь на выводахъ опыта. Этотъ таинственный мудрецъ, прославленный баснями древности, былъ въ одно и тоже время предметомъ почти-религіознаго поклоненія и метою безпрерывныхъ гоненій. Облекая въ священный мракъ сокровеннѣйшія тайны обширнаго знанія, онъ дѣйствовалъ на толпу волшебнымъ вліяніемъ мудрости, непонятной для близорукихъ его современниковъ. Математика и астрономія обязаны ему такими-же важными успѣхами, какъ и философія и нравственность. Мы не имѣемъ достовѣрныхъ рукописей его сочиненій, и потому только приблизительно можемъ опредѣлить сущность его ученія. По мнѣнію Пиѳагора, цѣль философіи состоитъ въ освобожденіи духа отъ всѣхъ препятствій, мѣшающихъ его конечному усовершенствованію. Математика — первая ступень мудрости. Разматривая предметы, сохраняющіе

средину между материальными и духовными вещами, она непримѣтнымъ образомъ пріготовляетъ духъ къ отвлеченому созерцанію. Число само по себѣ не безконечное представляетъ источникъ той безконечной дѣлимости, которая составляетъ непремѣнное качество всѣхъ тѣлъ. Число въ отвлеченномъ понятіи существовало въ божественномъ духѣ до зачатія всего созданного, представляя такимъ образомъ начало и образецъ всего творенія. Монада (единица) составляетъ основное начало всѣхъ прочихъ чиселъ.

Истинный смыслъ этого ученія, несмотря на всѣ попытки, остался неразгаданнымъ. Не умѣя выразить своихъ отвлеченныхъ понятій на обыкновенномъ языке, Пиѳагоръ, по всей вѣроятности, принималъ числа, какъ символическая представленія началъ природы, замѣчая аналогію между ими и между формами мышленія въ божественномъ разумѣ. Такъ единица, основа и начало всѣхъ прочихъ чиселъ, изображала, можетъ быть, простое, единое, божественное существо, отъ которого происходятъ всѣ прочія развитія природы. Богъ, по опредѣленію Пиѳагора, духъ вселенной, повсемѣстный, вездѣсущій, невидимый, неразрушимый, доступный только разуму, источникъ всей животной жизни, внутренняя причина всякаго движенія, творческое начало вселенной. Человѣкъ созданъ на божественномъ началѣ; душа его состоитъ изъ двухъ частей — изъ умственной или рациональной, и изъ чувственной, составляющей вмѣстилище страстей; послѣдняя, *чувственная* душа (*Эмо^с*,) погибаетъ духъ (*Ру^н*) безсмертенъ. Въ ученіи этого философа

повторяется и восточная идея о переселении душъ. Между его последователями, более другихъ прославились Алкмеонъ, Гиппонъ и Филолай, отъ которого Платонъ пріобрѣлъ письменное изложение пиѳагоровыхъ идей.

Возлѣ этихъ двухъ школъ является новая, элеатическая школа, основанная Ксенофаномъ, отвергающая непреложность опыта, противополагая ему чистое умозрѣніе. Здѣсь въ тоджествѣ міра и божества проявляется пантеистическая идея. Ксенофантъ (536 до Р. Х.) опредѣляетъ божество существомъ совершеннейшимъ, сходнымъ съ самимъ собою, въ которомъ все мысль, все ощущеніе. Объясняя разнообразіе видимыхъ явлений природы, онъ принимаетъ за начало двѣ основныя стихіи — воду и землю. Парменидъ, послѣдователь той-же школы, утверждаетъ, что одному только разуму доступно познаніе истины, что доказательство чувства обманчиво. Отсюда онъ выводить двоякую систему познанія, приписывая разуму познаніе истинное, а чувству — кажущееся, ложное. Все, что существуетъ едино и таждественно, безначально, недѣлимо и неизмѣнно; всякое превращеніе, всякое движение есть только кажущееся, мнимое явленіе, основанное на постоянномъ способѣ представлѣнія предметовъ. Эти ложныя представлѣнія, исходящія отъ чувствъ нашихъ, причиняются двумя начальами, теплотою или свѣтомъ, и холodomъ или мракомъ. Зенонъ, подтверждая мнѣнія Парменида, въ тоже время съ рѣдкимъ остроуміемъ опровергалъ эмпирическія системы. Противополагая выводамъ опыта

изслѣдованіе разума, Зенонъ первый проложилъ дорогу скептическому направлению, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлался основателемъ діалектики, или искусства убѣжденія, въ которомъ излагались первыя практическія правила краснорѣчія.

Наконецъ въ четвертой, *атомистической* школѣ соединяются два предъидущія воззрѣнія разума и опыта. Левкиппъ (500 до Р. Х.) принимаетъ началомъ дѣйствительнаго, видимаго міра разнообразное вещество, наполняющее собою пространство. Безпрерывныя дѣленія этого вещества ограничиваются наконецъ начальными частицами, *атомами*. Въ противоположность этой материальной существенности, онъ принимаетъ еще пустоту, объясняя соединеніемъ и раздѣленіемъ этихъ двухъ началъ происхожденіе и состояніе міра. Атомы, пустота и движеніе заключаютъ въ себѣ главныя основы этой системы. Атомы, по своей малости, неизмѣнны, недѣлимы и непримѣтны. Круглые атомы одарены движеніемъ. Душа не что иное, какъ собраніе круглыхъ атомовъ. Демокритъ, послѣдователь той-же школы, доказывалъ необходимость атомовъ невозможностію безконечнаго дѣленія.

Мы видѣли до этого времени, съ какою ревностію умозрѣніе посвящало на достиженіе высшихъ познаній. Быстро распространеніе многообразныхъ свѣдѣній, можетъ быть, и суетное желаніе пощеголять этими свѣдѣніями породили злоупотребленіе умозрительныхъ изслѣдований. Притязаніе софистовъ, которыхъ одинъ нѣмецкій писатель удачно сравниваетъ съ французски-

ми энциклопедистами, захватили всю ученость того времени. Доказательство и опровержение одного и того-же предмета составляли торжество ихъ жалкаго ремесла. Безкорыстное изслѣдованіе истины замѣнилось суетнымъ щегольствомъ діалектики. Чуждые истиннаго духа философіи, софисты становились поборниками любой философической идеи, и при первомъ удобномъ случаѣ измѣняли ейъ въ пользу другой, ейъ противоположной. Горгій (440 до Р. Х.) доказывалъ, что нѣтъ ничего дѣйствительнаго, и что человѣку доступно одно только ложное познаніе. Протагоръ утверждалъ, что всякое познаніе зависитъ отъ индивидуальнаго взгляда, что то или другое мнѣніе одинаково справедливо, и что въ самомъ человѣкѣ заключается мѣрило его изслѣдованій. По учению Тразимаха, единое правило жизни опредѣляется прихотями, желаніями и физическою силою человѣка. Эти и подобныя имъ злоупотребленія софистовъ возбуждали съ другой стороны желаніе утвердить философію на другомъ, болѣе основательномъ началѣ. Необходимость положительныхъ правилъ, какъ для практической, такъ и для нравственной жизни, продолжала системы, и вмѣсть съ тѣмъ подавала поводъ къ критическому разбору прежнихъ учений.

Вліяніе Сократа породило это новое благодѣтельное направленіе, которымъ начинается второй періодъ греческой философіи, періодъ, отличающійся систематическимъ изслѣдованіемъ высшихъ вопросовъ человѣчества. *Сократъ* (470—400 до Р. Х.) является безкорыстнымъ поборникомъ истины, однимъ изъ тѣхъ

великихъ геніевъ міра, которыхъ чернить клевета себялюбивыхъ современниковъ для того только, чтобы слава ихъ тѣмъ ярче горїла въ грядущихъ вѣкахъ,— однімъ изъ тѣхъ мучениковъ правды, которые смертью запечатлѣваютъ неприкосновенность своего ученія. Не основывая новой школы, не создавая системы, Сократъ дѣйствовалъ на умы силою нравственности. Никакая діалектика не могла устоять противъ здраваго смысла, противъ холодной ироніи Сократа. Святость помышленій, чистота характера удерживали за нимъ слѣпое довѣріе его послѣдователей. Лукавыя козни завистниковъ погубили мудреца; гнусная неблагодарность современниковъ поднесла ядовитую чашу одному изъ великихъ наставниковъ человѣчества.

Нравственность и религія, назначеніе и обязанности человѣка составляютъ главные предметы ученія Сократа. По его словамъ: познать добро и дѣйствовать, соображаясь съ нимъ,— вотъ высшее условіе человѣческаго счастія. Познаніе самого себя и умѣніе управлять собою приводятъ къ этой цѣли. Личныя обязанности человѣка состоять въ благоразумії, храбрости и умѣренности; обязанность его относительно другихъ — въ справедливости. Первая идея естественного права принадлежитъ Сократу. Далѣе онъ говоритъ о тождественности добродѣтели и счастія. Богъ — верховное начало всѣхъ нравственныхъ законовъ; порядокъ и гармонія природы свидѣтельствуютъ о существованіи его. Душа создана по подобію божію. Разумъ сближаетъ ее съ создателемъ. Прочія науки, не имѣющія примѣненія къ практической

жизни, Сократъ считалъ ненужными. Онъ предподавалъ свое учение въ видѣ разговоровъ и пользовался возраженіями слушателей для лучшаго доказательства собственныхъ мнѣній. Отвергая исключительныя начала умозрѣнія, расширяя область философическихъ разысканій, указывая на истинное начало всякаго познанія, Сократъ открываетъ новую, блестательную эпоху философіи. Правота его характера, новость учения, убѣдительность методы собирали около него толпу пламенныхъ послѣдователей. Ксенофонъ, Эсхинъ, Критонъ, соображаясь съ правилами его учения о нравственности, собственною жизнью распространяли его учение. Одинъ изъ учениковъ его, Антисеенъ, основалъ *циническую* школу. По его мнѣнию, высшее благо человѣка состоитъ въ добродѣтели, которая сама по себѣ заключается въ воздержаніи и въ готовности къ лишеніямъ; этими только средствами человѣкъ, выходя изъ зависимости вѣшняго мира, упрочиваетъ за собою свободу. Этотъ способъ приводитъ его къ высшему совершенству. Все прочее не заслуживаетъ нашихъ усилий. Вотъ почему циники презираютъ науку умозрѣнія и пренебрегаютъ всѣми общественными приличіями. Антисеенъ имѣлъ между прочимъ весьма очищенное понятіе о *единомъ* Богѣ далеко превышающемъ всѣ народныя божества. Благородная гордость, строгость добродѣтели и странность поведенія привлекали къ основателю цинической школы толпу послѣдователей, между которыми преимущественно славился Діогенъ. — Другой ученикъ Сократа, Аристиппъ, избалованный всѣми дарами

счастія, любя роскошь и чувственныя наслажденія, подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ Сократа научился облагороживать самыя страсти. Онъ основалъ *киринейскую* школу. Возбуждая къ удовольствіямъ жизни, онъ опредѣлялъ счастіе человѣка наслажденіями и духовною свободою. Его послѣдователи развили это начало въ особенной системѣ. Исходя отъ чувственныхъ ощущеній, они раздѣляли ихъ, какъ для тѣла, такъ и для души, на удовольствія и на горести, предпочтая впрочемъ удовольствія тѣла. По мнѣнію ихъ, цѣль жизни заключается не въ духовномъ счастіи, но въ наслажденіяхъ, нѣги и чувственности. — Пирронъ, вмѣстѣ съ Сократомъ, называлъ добродѣтель верховнымъ благомъ человѣка. Все прочее — знаніе, науку, онъ считалъ ненужнымъ, невозможнымъ. Онъ доказывалъ эту невозможность науки, выводя изъ противорѣчія началъ непостижимость предметовъ. На этомъ основаніи онъ принималъ безстрастіе (*ἀπαθεῖα*) за лучшее правило жизни. Такимъ образомъ Пирронъ сдѣлался основателемъ истинной *спектической* школы, давая ей частное и точное направленіе.

Но высшее рѣзвитіе ученія Сократа, проникнутое живымъ, самостоятельнымъ взглядомъ, совершилось въ рациональной системѣ догматической философіи *Платона* (430 до Р. Х.) Этотъ великий мыслитель, одаренный глубокою поэтическою душою, находился восемъ лѣтъ подъ могущественнымъ вліяiemъ Сократа, который далъ ему философическое направление. Сократъ возбудилъ дѣятельность ума, разрушивъ мнимую славу софистовъ, установивъ высокія правила

нравственности и бросивъ свѣтлую искру на темный путь умозрѣнія; но этотъ зародышъ новой философіи еще не имѣлъ системы: Платонъ создалъ эту систему, и, по указаніямъ своего наставника, силою творческаго, самобытнаго гenія обогатилъ науку новыми, бессмертными мыслями. Платонъ основалъ при академіи новую школу, которая на долгое время осталась разсадникомъ великихъ мужей, съ пользою подвизавшихся на трудномъ поприщѣ. Разсматривая философію съ высшей точки зрѣнія, Платонъ озарилъ ее новымъ свѣтомъ, распостранилъ ее въ объемѣ, усовершенствовалъ въ методѣ. Онъ называлъ философію наукою по-преимуществу. Источникомъ нашихъ познаній онъ принимаетъ разумъ. Въ немъ a priori находятся нѣкоторыя предустановленныя, прирожденныя, такъ сказать, понятія (*уoūmatā*). Они составляютъ основаніе всѣхъ нашихъ мыслей и побудительное начало нашихъ поступковъ. Платонъ называетъ ихъ *идеями*, выставляя ихъ вѣчными образцами всего созданного и истиннымъ началомъ нашихъ познаній, къ которому мы, посредствомъ мысли, относимъ безконечное разнообразіе частныхъ предметовъ, такъ что познаніе не производится, но только развивается опытомъ. Душа сознаетъ существованіе этихъ идей, замѣчая ихъ подобія въ явленіяхъ виція міра; она создаетъ ихъ въ смутномъ воспоминаніи прежняго блаженнаго своего состоянія, когда она еще не имѣла на себѣ тѣлесной оболочки. Изъ соотвѣтствія предметовъ, наблюденія и идей, Платонъ выводить необходимость общаго начала этихъ предметовъ и души,

ихъ сознающей; это общее начало заключается въ Богъ. — Вотъ на какихъ основаніяхъ составилась система Платона, который рѣзкою чертою отдѣлилъ познаніе эмпирическое отъ рациональнаго. Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ раздѣлилъ философію на логику или діалектику, метафизику (фізіологію или физику), и мораль или политику, и яснѣе означилъ различіе между способностями познавать, чувствовать и хотѣть. Платонъ опредѣляетъ добродѣтель, какъ усиліе человѣка уподобиться своему Создателю, или какъ соглашеніе правиль съ поступками, что составляеть условіе высшаго счастія. Основныя стихіи добродѣтели состоятъ въ мудрости, умѣренности, мужествѣ и справедливости. Красота есть чувственное изображеніе духовнаго и тѣлеснаго совершенства. Истина и добродѣтель составляютъ съ нею одно цѣлое, которое рождаетъ любовь, лучшую путеводительницу къ добродѣтели, любовь, чуждую наслажденія чувственнаго (платоническую). — Философія, кроме того, обязана Платону первою попыткою создать философический языкъ, первымъ объясненіемъ идеи познанія и науки, развитіемъ значенія матеріи, формы, случайности и сущности, дѣйствія и причины, доказательствомъ бытія Божія и бессмертія души. Сила мысли, свѣжее, полное жизни изложеніе и личное вліяніе Платона привлекали къ нему толпу учениковъ, которые сдѣлались ревностными проповѣдниками его ученія. Но не только современники, философія всѣхъ вѣковъ обязана ему новымъ, глубокомысленнымъ направлениемъ. Его вліяніе отозвалось и въ позднѣйшихъ стоя-

лѣтіяхъ, и при всѣхъ переворотахъ, въ которыхъ возбуждалась высшая дѣятельность человѣческаго духа, философія все снова возвращалась къ нему, согрѣвавшись теплою жизнью его ученія.

Въ то время, когда умозрѣніе Платона положило твердое начало рациональной философіи, *Аристотель* (р. 384 до Р. Х.) съ другой стороны развилъ и усовершенствовалъ эмпирической системы. Естественные науки были первымъ и любимымъ предметомъ его занятій; потомъ онъ впродолженіи двадцати лѣтъ находился подъ вліяніемъ Платона; но, несмотря на то, еще можетъ-быть, не было ученика, который принялъ бы направленіе столь противоположное направленію своего учителя. Способность анализа составляетъ отличительную черту Аристотеля. Изученіе природы — цѣль его, наблюденіе — средство. Онъ отвергалъ прирожденныя идеи Платона, принимая и самыя возвышенныя понятія разума пріымъ, непосредственнымъ слѣдствіемъ опыта, который даетъ имъ и основаніе и развитіе. По его мнѣнію, жажда познанія породила философію; онъ принимаетъ познанія двоякаго рода, отличая посредственный познанія отъ непосредственныхъ и почитая послѣднія необходимыми для возможности первыхъ. Сужденіе переходитъ отъ непосредственного познанія, порожденного опытомъ и наблюденіемъ, къ посредственному. Логика есть наука сужденія. Аристотель раздѣляетъ философію на умозрительную, разсматривающую существенный, ненарушимый порядокъ міра, независящій отъ нашей воли, и на практическую, разбирающую все

случайное и произвольное. Въ умозрительной философії Аристотель рассматриваетъ физику, космологію и психологію; для послѣдней онъ создалъ первую правильную теорію, основанную на началахъ, дознанныхъ опытомъ и наблюденіемъ. Душа, по его мнѣнію, первая форма всякаго органическаго тѣла, первое дѣйствующее начало жизни. Она отличается отъ дѣла по существу, но какъ форма не можетъ отъ него отличиться. Въ практической философії Аристотель рассматриваетъ идею высшаго блага и конечную цѣль назначенія человѣческаго. Счастіе составляетъ эту цѣль. Оно заключается въ полномъ и совершенномъ упражненіи разума. Добродѣтель и счастіе одно и тоже, потому-что добродѣтель состоитъ въ полномъ развитіи и усовершенствованіи разума. — Аристотель распространилъ кругъ философії болѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ; онъ основалъ *перипатетическую* школу и имѣлъ многочисленныхъ послѣдователей. Вліяніе Платона и Аристотеля произвело двѣ главныя системы, которыя въ-течениі многихъ столѣтій раздѣляли умы и служили исходнымъ пунктомъ для самыхъ разнородныхъ изслѣдованій.

Двѣ философическія школы, о которыхъ мы уже говорили, получили въ это время большее развитіе. Киренейская школа породила систему Эпікура, а циническая послужила основаніемъ ученію *стоиковъ*. Эпікуръ (р. 337 до Р. Х.) преподавалъ въ Аѳинахъ свою систему. Философія, по его мнѣнію, доводить человѣка посредствомъ разума до счастія. Познаніе предметовъ зависитъ отъ непосредственнаго дѣйствія

чувственного усмотрѣнія. Принимая безошибочность чувственного усмотрѣнія, онъ раздѣляетъ сужденіе на истинное и ложное, судя по тому, соответствуетъ ли оно этому усмотрѣнію, или иѣть. Удовольствія составляютъ высшее благо человѣка. Освобожденіе отъ тѣлесныхъ и душевныхъ недуговъ составляетъ цѣль нашей жизни. Наслажденія и печали духа имѣютъ верхъ надъ ощущеніями тѣла. Существование Бога Эпикуръ доказываетъ повсемѣстностію религіозныхъ идей. Эта школа, основанная на самыхъ общихъ правилахъ, долгое время предохранялась ими отъ всѣхъ существенныхъ измѣненій. Уничтожая суевѣrie, она вмѣстѣ съ тѣмъ искоренила идеальное направленіе души и возбуждала своихъ послѣдователей къ чувственной жизни. Зенонъ (340 до Р. Х.) былъ основателемъ *стоической системы*. Строгая нравственность отличаетъ его ученіе. По его опредѣленію, философія — наука человѣческой мудрости, обнаруживающейся въ мысли, въ познаніи и въ дѣйствіи. Главная часть философіи — мораль: главное правило морали — подражаніе природѣ. Безстрастіе, но не безчувственность, — необходимое условіе добродѣтели. Обязанность человѣка состоять въ совершенномъ уничтоженіи страстей. Самоубійство допускается при извѣстныхъ обстоятельствахъ, какъ слѣдствіе безусловной свободы. — Правила этой школы, не примѣняемыя съ одной стороны къ практической жизни, возбуждали съ другой стороны послѣдователей ея къ самымъ смѣлымъ подвигамъ самоотверженія. Увѣренность и смѣлость стоической философіи породила строгій разборъ и опровер-

желіе ихъ догматического ученія. Ардезилай, основатель новой, или второй академіи, далъ ей скептическое направлениe. Скромность и недовѣріе составляють отличительный характеръ этой школы. Она ограничиваетъ притязанія разума, не уничтожая впрочемъ мнѣнія о возможности дѣйствительного или по-крайней-мѣрѣ вѣроятнаго познанія. Распра между стоиками и академію увеличивалась со дня на день. Чѣмъ отважнѣе первые заступались за свое ученіе, тѣмъ смѣлѣе возставало сомнѣніе второй. Но эта борьба не принесла уже важныхъ плодовъ; силы истощались, а во время Филона и Антіохія послѣдовало даже явное сближеніе обѣихъ школъ.

Греція ослабѣвала. Она исполнила свое назначеніе и не могла идти далѣе; разумъ прошелъ по всѣмъ возможнымъ направленіямъ, развернуль всѣ стороны изслѣдованія, не находилъ удовлетворенія; разногласіе системъ влекло за собою недовѣріе, а недостатокъ методы затруднялъ дальнѣшее изученіе. Обновленіе философіи требовало свѣжаго, новаго изслѣдованія и новаго, молодаго народа, съ другими элементами, для дальнѣйшаго развитія прежнихъ идей,— и вотъ покоренная Греція сдѣлалась наставницею побѣдителей и пересадила благотворныя сѣмена просвѣщенія на грубую, но свѣжую почву воинственнаго Рима. Хотя усмотрѣніе не могло имѣть блистательныхъ успѣховъ въ народѣ чисто-практическомъ, хотя неестественное политическое устройство всемирной монархіи и разращеніе нравовъ впослѣдствіи препятствовали чистотѣ философическаго воззрѣнія; но

римляне оказывали по временамъ и на этомъ по-
прищѣ ревностную дѣятельность. Знаніе философіи
считалось у нихъ необходимымъ условіемъ образован-
ности, какимъ-то лакомъ, который придавалъ блескъ
общественному человѣку. Они предпочитали усмотрѣ-
нія Платона и Аристотеля, а правила нравственности
заимствовали у стоиковъ и Эпикура. Они усовершествова-
вали свою юриспруденцію посредствомъ философіи,
хотя, вообще говоря, не проложили новыхъ путей,
не открыли новаго направлениія. Однакожъ и между
ними являлись люди, которые съ жадностію изучили
науки и съ беспристрасіемъ обсуживали системы.
Такъ Цицеронъ, утративъ свое политической вліяніе,
съ прежнимъ краснорѣчіемъ передавалъ своимъ согра-
жданамъ науку Греціи. Я упомянулъ уже о тѣхъ фи-
лософахъ, которыхъ римляне изучили съ особеною
любовію. Такъ Эпикуръ, проповѣдникъ правильной, легкой,
беззаботной жизни, нашелъ между ними толпу послѣ-
дователей; но ученіе его излагалось безъ дальнѣйшаго
развитія, безъ самостоятельного изслѣдованія. Дидак-
тическая поэма Лукреція (р. 95 до Р. Х.) не что
иное, какъ краснорѣчивое изложеніе системы Эпикура.
Съ другой стороны твердость и суровость римскаго
характера не могла не сочувствовать строгимъ пра-
виламъ стоического ученія. Эта философія имѣла рѣз-
кое вліяніе на науку права и на законы. Римляне
примѣняли ее къ практической жизни, наблюдала су-
ровыя начертанія ея морали. Между римскими стои-
ками Сенека и Эпиктетъ занимаютъ первое мѣсто.
Сенека отличилъ философію практической жизни отъ

філософії школы, а Эпіктетъ привель законы стойческой морали къ простому правилу: *sustine et abstine*. Въ это-же время вниманіе любопытнаго Рима устремилось и на Пієагора, на это таинственное, загадочное лицо быаго міра, окруженнное баснями и чудесами. Многіе примѣняли его ученіе къ практической жизни, ожидая отъ подобнаго переворота са-мыхъ благодѣтельныхъ послѣдствій. Другіе объясняли темное значеніе его загадочной системы. Греческіе перипатетики (такъ назывались послѣдователи Аристотеля) этого времени не произвели никакого впечатлѣнія; они безъ всякаго участія занимались неблагодарнымъ толкованіемъ Аристотеля. Духъ анализа, свойственный этой філософіи, дѣлалъ ее чуждою основнымъ стихіямъ римскаго характера. Та же причина, которая отдѣлила римлянъ отъ Аристотеля, пристрастила ихъ къ філософіи Платона. На мѣсто скептической академіи, во время Августа, въ Римѣ основалась новая платоническая школа, которая и силою вліянія и числомъ послѣдователей превзошла свою предшественницу. Эти *неоплатоники* передавали народу нравственные и религіозныя идеи Платона, примѣняя ихъ, подъ аллегорическою оболочкию, къ ста-риннымъ мистеріямъ, которые за давностію времени сдѣлялись ходячимъ вѣрованіемъ толпы. Самыя отвлеченные умозрѣнія Платона развивались этою школою подъ догматическою формою; самыя легкія указанія приняли видъ положительныхъ истинъ.

Но тамъ, гдѣ проявлялись такія противоположныя системы, вмѣстѣ съ тѣмъ и сомнѣнію открывалось

обширное поприще,—и Энезидемъ снова возбудилъ скептическое направлениe. Онъ далъ ему большее расширеніе и утвердилъ на болѣе-прочномъ началѣ. Онъ основался на взаимной противоположности вещей, говоря о противорѣчіи умственныхъ представлений. Скептическая школа, учрежденная имъ, достигла высшаго развитія во время Секста-Эмпірика, который съ особеною ловкостію опредѣлялъ предметъ, цѣль и методу философіи сомнѣнія. Онъ называетъ скептицизмъ способностію познавать противорѣчія чувственныхъ представлений и умственныхъ понятій. Отъ сличенія этого противорѣчія онъ переходитъ къ уничтоженію всякого опредѣлительного сужденія о предметахъ, которые въ сущности своей недоступны нашему познанію. Такое смиреніе влечетъ за собою душевное спокойствіе и совершенное равновѣсіе духа — можетъ-быть, гибельнѣйшее состояніе души. Допуская представленія и явленія, скептическое ученіе не отвергаетъ возможности познанія, не уничтожаетъ его дѣйствительности. Слѣдя этому направлению, Секстъ оказалъ философіи существенную услугу, подвергая различныя системы строгому разбору и обнаруживая взаимныя ихъ противорѣчія.

Около этого времени, въ Александриѣ является и восточная философія въ соприкосновеніи съ греческими идеями, подъ новыми формами. Ученые раввинисты-евреи, принявъ во время изгнанія различные религіозныя идеи Зороастра, слѣдали первымъ органомъ этой философіи. Когда Египетъ, впослѣдствіе, пріютилъ этихъ ученыхъ, они познакомились и съ грече-

скими умозрѣніями. Александрія, которая, начиная отъ Птоломея, приняла и еврейское учение, поощряла вмѣстѣ съ тѣмъ и взаимную мѣну идей между восточною и западною философіею. Между этими мыслителями выше прочихъ стоитъ Филонъ. Одаренный высокими способностями, онъ съ ревностію изучалъ греческую философію. Платонъ, котораго система сама по себѣ представляетъ разительное сближеніе съ восточными идеями, сдѣлался его руководителемъ. Филонъ принимаетъ два первыя начала, которыхъ существовали отъ вѣка — божество и матерію. Соображаясь съ идеями Платона, онъ признаетъ божество какъ безкоинчное, неподвижное, дѣйствительное, непостижимое существо: матерію онъ рассматриваетъ какъ небытіе — ($\mu \lambda \delta \nu$); она одарена отъ божества и формою и жизнью. Въ системѣ Филона мы встрѣчаемъ явное сближеніе прежнего талмудо-раввинского учения и платоническихъ идей.

Трудно опредѣлить истинное начало *каббалы* (изустнаго преданія), этого таинственнаго ученія, переданнаго и распространеннаго между евреями, по увѣренію ихъ, сверхъестественными, непостижимыми путями. Но развитіе каббалистики подъ философическими формами принадлежитъ Акибѣ и его ученику, Симеону-Бен-Іохаю. Все это учение представляетъ странную смѣсь самыхъ превратныхъ понятій, затемненныхъ, при вліяніи восточныхъ релегіозныхъ идей, восторженными мистическими воззрѣніями. Все, что существуетъ, есть созданіе, или истеченіе божества или „первобначального свѣта“, какъ называютъ боже-

ство каббалисты. По этому духовному происхождению и самое грубое вещество представляетъ только большее или меньшее сгущеніе лучей свѣта. Человѣкъ есть отраженіе вселенной; восторгъ приводитъ его къ возможности познанія.

То же самое злоупотребленіе умозрительного изслѣдованія отличаетъ и *иностиковъ*, которые имѣли притязаніе на тайное и совершенное познаніе высшихъ вопросовъ философіи. Многіе изъ нихъ исповѣдывали религію Христа; но церковь называла ихъ еретиками, потому-что ученіе, преподаваемое ими, представляло таинственную смѣсь христіанскихъ истинъ и греческихъ идей съ халдейскими и персидскими религіозными вѣрованіями. Другіе послѣдователи гностической философіи были еврейского происхождения; еще другіе пришли съ востока. Одни изъ нихъ принимали божество, какъ единое начало всего сущаго, другія признавали два противоположныхъ начала, доброе и злое, которыхъ находятся въ безпрерывной борьбѣ между собою. Теряясь въ самыхъ смѣлыхъ гипотезахъ, они называли свое ученіе слѣдствіемъ высшаго, божественного откровенія. Восторженное воображеніе и неограниченная мечтательность составляютъ отличительную черту этой философіи. Свободному изслѣдованію ума препятствовала неодолимая склонность ко всему таинственному и сверхъ-естественному.

Это же преобладаніе воображенія породило во второмъ столѣтіи по Р. Х. новую школу между александрийскими послѣдователями Платона, которая отличалась мечтательною восторженностью. Плотинъ былъ

истиннымъ основателемъ этой школы. Несправедливо смышивали этого философа съ безотчетными, ему современными мистиками. Возвышенность созерцанія, твердость характера, чистота вдохновенія отличаютъ его рѣзкими чертами отъ болѣзненныхъ мечтателей этого времени. Правда, и въ немъ обнаруживается общій недостатокъ свободного умозрѣнія; но отрицаніе матеріи и пространства, этого „отвѣта дѣйствительности“, этой „тѣни духовъ“, какъ называетъ ихъ Плотинъ, влекло за собою глубокую душевную потребность сообщенія съ божествомъ и непосредственное созерцаніе безконечнаго (абсолютнаго). Созерцаніе замѣняетъ познаніе и дѣлаетъ его возможнымъ, потому что душа, погружаясь въ сущность предмета, ею созерцаемаго, соединяется съ нимъ и понимаетъ его въ этомъ соединеніи.

Мистическое направленіе, данное философіи, поддерживалось суевѣріемъ этого времени. Восторженная мечтательность находила обильную жатву на обширномъ полѣ неосновательныхъ шаткихъ и нелѣпыхъ гипотезъ. Люди съ умомъ и дарованіями, Ямблихъ, Порфирий и другіе слѣдовали общему, ложному направлению. Угождая суевѣрію времени, они сами терялись въ таинственныхъ вымыслахъ своего воображенія. Умозрѣніе унизилось до самыхъ жалкихъ мистическихъ выдумокъ, а духъ истинной философіи все болѣе и болѣе исчезалъ въ запутанныхъ системахъ болѣзненныхъ мечтателей.... Но дряхлое человѣчество, истощенное переворотами тысячелѣтій, жаждало обновленія; внутреннее, безотчетное стремленіе

томило человѣка въ изношеныхъ формахъ его общественной и духовной жизни; онъ не находилъ убѣжденія въ запутанныхъ гипотезахъ своихъ наставниковъ, которые въ гордости обманывали самихъ-себя, выдавая свое ученіе за непреложную истину. Смутное ожиданіе неизвѣстнаго, но необходимаго переворота носилось надъ истомленнымъ міромъ и пріуготовляло его къ воспріятію этого переворота.... И дивно, отрадно сбылось темное предчувствіе міра: въ Виелеемъ родился божественный младенецъ — Христосъ. Слово Божіе дохнуло новою, свѣтлою жизнію, новымъ, божественнымъ здоровьемъ на разрозненный составъ большаго, изнеможеннаго человѣчества!..

Тихо и свято росло въ первыя столѣтія спасительное сѣмя религіи, посаженное благостію истиннаго Бога на грязную почву порочной земли во искупленіе грѣшныхъ чадъ ея. Незамѣтно, безъ шума переходило ученіе Христа отъ племени; уединенно созрѣвали плоды его. Простота и святость религіи, согрѣтой божественною любовью, сила и смиреніе ея проповѣдниковъ открывали ей путь къ сердцамъ, которыя жаждали спасенія, блуждая по невѣрной тропѣ шаткаго мышленія. И вотъ со всѣхъ сторонъ являются новые поборники евангелія; слово истины усиливается; вѣра мужаетъ; единая искра, случайно упавшая въ изгибы страждущаго сердца, разгорается и наполняетъ это сердце животворною теплотою любви и утѣшенія. Быстрое развитіе христіанской религіи не могло не возбудить всеобщаго вниманія, не могло не породить сопротивленія и со стороны самолюбивыхъ филосо-

фовъ, дрожавшихъ при яркомъ свѣтѣ божественнаго ученія за непогрѣшительность своихъ мнѣній. Необходимость защищать евангеліе отъ этихъ дерзкихъ нападеній породила первое сближеніе религіи и философіи. Многіе пастыри западной церкви съ усердіемъ отыскивали согласіе между философскими системами и христіанскимъ ученіемъ. Идеи Платона, представлявши во многихъ отношеніяхъ естественное сближеніе съ догматами новой релегіи, пользовались особыннымъ уваженіемъ. Эпікуръ, стоики и перипатетики, удаляясь въ своихъ разсужденіяхъ о Богѣ, провидѣніи и бессмертіи души отъ церковнаго изложенія, не могли возбудить того- же вниманія. Философія служила защитою христіанскаго ученія противъ возраженій греческихъ мыслителей и опровергненіемъ еретиковъ, которые покушались дерзкими выходками подрывать твердые основанія вѣры; но во всѣхъ этихъ случаяхъ философія подчинялась богословію. Откровеніе сдѣлалось точкою исхода, представляя собою единственный источникъ всякаго умозрительного и практическаго знанія. Вотъ почему всѣ католическіе философы этого времени являются *супернатуралистами* въ своихъ сужденіяхъ. Главный предметъ ихъ занятій состоялъ въ размышленіи о Богѣ и его отношеніяхъ къ миру и къ человѣку. Познаніе Бога достигается посредствомъ его изображенія, посредствомъ вицѣней природы, или посредствомъ откровенія. Въ сущности своей Богъ недоступенъ разуму. Опровергая предопредѣленіе астрологовъ, эти мыслители покушались согласовать все-вѣдѣніе Божіе съ свободою человѣка. Происхожденіе

нравственнаго и физического зла объяснялось, съ одной стороны, вліяніемъ злыхъ духовъ, съ другой свободою человѣка. Зло необходимо—и какъ необходимость допускается провидѣніемъ. Воля Божія составляетъ первый законъ нравственности; первое условіе ея — повиновеніе этой волѣ. Откровенность, безкорыстная любовь къ человѣчеству, цѣломудренность и терпѣніе—главныя добродѣтели, ведущія къ спасенію.

Между учеными проповѣдниками западной церкви имя святаго Августина (354 г.) занимаетъ первое мѣсто. Пламенное краснорѣчіе святаго Амбродія Медіоланскаго убѣдило его въ спасительныхъ истинахъ религіи—и онъ предался ей со всею силою страсти, употребляя свои обширныя познанія на защиту божественного ученія. Онъ соединилъ въ своей системѣ идеи неоплатониковъ съ католическими догматами. Онъ называетъ Бога совершеннейшимъ и возвышеннейшимъ существомъ, вѣчною истиной, создателемъ міра. Всѣ разумныя существа сотворены имъ для счастія, кото-раго необходимое условіе—добродѣтель. Разумъ и воля приводятъ къ этому счастію. Назначеніе человѣка состоитъ въ соединеніи съ Богомъ, въ которомъ заключается и высшее благо духовнаго міра. Вотъ основные начала первого ученія св. Августина; въ старости онъ замѣнилъ его другимъ, увлекшись споромъ съ своими противниками. Сочиненія св. Августина оказали философіи существенную услугу, возбуждая къ ней любовь и вниманіе въ такое время, когда науку преслѣдовали какъ ненужную утварь въ человѣческой жизни. И въ-самомъ-дѣлѣ, книги Боэція и Кассіодора,

вмѣстѣ съ сочиненіями св. Августина, служили впослѣдствіи единственными посредниками и толкователями древнихъ и новыхъ ученій. Книга Боеція «De consolatione philosophiæ» (Объ утѣшениі, доставляемомъ философію) долгое время пользовалась всеобщимъ уваженіемъ, сохраняя на западѣ ослабѣвшее ученіе Аристотеля.

Упадокъ словесности, пренебреженіе греческой учености, темное, мистическое направление суевѣрнаго времени влекли за собою совершенное паденіе истинной философіи. Свободному умозрѣнію уже не было места. Глубокая, живая дума мудреца не находила сочувствія; наука сиротѣла; суевѣріе заглушало голосъ плачущей истины. Грубое, невѣжественное направление среднихъ вѣковъ грозило философіи совершеннымъ уничтоженіемъ, и только мелькомъ скучный обломокъ какой-нибудь испорченной греческой системы напоминалъ уму человѣческому объ утраченномъ поприщѣ высшей, духовной дѣятельности. И даже въ то время, когда наука, по манію Карла-Великаго, снова проснулась отъ долгаго, тяжелаго сна, снова заговорила не понятнымъ, страннымъ языкомъ, ей оставался еще трудный, продолжительный путь по мрачнымъ закоулкамъ невѣжества до свѣтлой, отрадной цѣли живаго, истинного обновленія. Какому-же генію судьба предоставила это дивное, завидное право отдать человѣчеству затерянный кладъ умственной жизни и возвратить его на благородное поприще его высокаго назначенія?...

Это разсмотримъ мы въ слѣдующихъ статьяхъ „о философіи“.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

(Тамъ-же, 1839 г., N. 3).

СХОЛАСТИКИ.

Дикіе, бездомные бродяги положили первое основание Риму. Слѣпая отвага сопровождала всѣ ихъ предприятия. Они были готовы на самые дерзкіе подвиги, потому-что имъ нечего было терять. Судьба полюбила ихъ смѣлую предпріимчивость и дивно возвеличила городъ семихолмный. Горсть беззаботныхъ искателей приключений была зародышемъ того великаго народа, который покорилъ себѣ вселенную. Но бездѣйствіе скоро ослабило горделивую силу и разстроило власть самонадѣяннаго Рима, во внутреннемъ его составѣ. Побѣжденный міръ потворствовалъ прихотямъ своихъ побѣдителей, какъ рабыня, послушно-ласкающая своего повелителя.—Римъ задремалъ въ объятіяхъ нѣги, и за краткій отдыхъ въ объятіяхъ купленной нѣги заплатилъ коропою міра. Дикіе варвары несмѣтными толпами приблизились къ спящему исполину; ихъ буйные крики разбудили его; но напрасно изненоженный

колосъ высылалъ свои изнѣженные полчища на грозныхъ враговъ: суровая сила свѣжихъ племенъ поборола старого побѣдителя—и Римъ, подавленный собственною громадностію, преклонилъ покорную голову къ стопамъ суровыхъ властителей. Могила Рима сдѣлалась могилою древняго міра.

Новое, свѣжее племя поселилось на священныхъ развалинахъ древности. Это племя, грубое и необразованное, попирало ногами оскверненную святыню классического міра; изъ поруганныхъ обломковъ какого-нибудь дивнаго, греческаго зданія строилась грязная хата; роскошная, мраморная ваза переходила въ домашнюю утварь; дивныя изваянія художника замѣнялись уродливыми изваяніями новыхъ боговъ, грубыхъ, какъ самый народъ, который имъ поклонялся; вещественная сила торжествовала, наука гибла.

Но никакая власть, никакое угнетеніе не уничтожить вѣчнаго, животворнаго вліянія духа: и въ самомъ горькомъ униженіи онъ идетъ впередъ, достигаетъ дальнѣйшей цѣли, живетъ и дѣйствуетъ, и наконецъ побораетъ своихъ гонителей. Самая темная эпоха въ исторіи человѣчества была не менѣе того шагомъ впередъ. Предположеніе, что міръ на всѣхъ ступеняхъ своего существованія все болѣе и болѣе развивается и совершенствуется, подтверждается всѣми periodами въ жизни человѣчества и находить себѣ новыя доказательства даже на самыхъ кровавыхъ страницахъ среднихъ вѣковъ. Варвары наследовали вещественные остатки древности; но и самая образованность ея должна была содѣлаться ихъ достояніемъ. Наука, столь

чуждая, столь разнородная съ основными элементами дикаго, грубаго племени, мало-по-малу должна была вступить въ свои законы права. Необходимое слѣдствіе, сопровождавшее первое сближеніе двухъ столь-противоположныхъ стихій, жизни духовной и жизни вещественной, была борьба, тяжкая, долгая борьба; и одна изъ самыхъ якихъ главъ этой борьбы есть *философія схоластиковъ*.

Когда учение Христа распространилось между варварами, они впервые смутно познали истинную цѣль земного странствія. И въ-самомъ-дѣлѣ, религія, разрушающая преграду между человѣкомъ и его богами, сближающая его въ лицѣ Спасителя, принявшаго на себя человѣческій образъ, съ Богомъ любви и милосердія, не могла не подействовать на грубый народъ, трепетавшій передъ ложными кумирами.

Слово прииренія, сознаніе духовнаго міра, непосредственно-дѣйствительнаго, возвышало духъ; этому возвышенію противорѣчило грубое невѣжество, дикая необразованность; столкновеніе двухъ крайностей породило борьбу, которая высказалась въ смутномъ броженіи разума, неумѣвшаго отъ вымысловъ воображенія перейти къ твердому понятію трезваго ума. Переходы изъ одной крайности въ другую составляютъ характеристическую черту среднихъ вѣковъ. Вспомнимъ только крестовые походы: несмѣтныя полчища съ фанатическимъ рвениемъ покидаютъ свое отечество для священной цѣли, указанной имъ вдохновенными проповѣдниками; но эти-же фанатические защитники религіи на пути ко гробу Христа предаются всѣмъ

ужасамъ разврата и насилия, всѣмъ преступленіямъ страстей, для того, чтобы подъ стѣнами Іерусалима оплакать горькими слезами нелицемѣрного раскаянія свои злодѣянія, а потомъ, разрушивъ эти стѣны, достигнувъ съ упорною твердостю предположенной цѣли, снова погрязнуть въ дикихъ оргіяхъ страстей и порока.

Философія схоластиковъ характеризуется стремленіемъ разума къ наукѣ подъ вліяніемъ посторонняго авторитета, вѣрою въ дѣйствительность религіозныхъ истинъ и желаніемъ дойти до умственного убѣжденія въ этихъ истинахъ. Мы видимъ странное усиление ума, покушающагося, безъ положительныхъ свѣдѣй, на высшее познаніе человѣческое, на познаніе Бога, для того, чтобы съ этой точки, въ противоположность греческому мудрствованію, обнять науку во всѣхъ ея отрасляхъ. Характеръ схоластической философіи заключается въ разсужденіи, въ разумѣніи *по предположенію*; идея является несвободною, но прикованною къ формѣ виѣшняго начала или предположенія.

Философія и богословіе составляютъ одно цѣлое; ихъ отличие и раздѣленіе принадлежитъ переходу къ новѣйшей философіи, переходу, который породилъ мнѣніе, что истина мыслящаго ума не всегда бываетъ теологическою истиной. Но въ средніе вѣка принимали одну только истину, которая служила и философіи и богословій.

Обращая свое вниманіе на способъ, употребляемый схоластиками въ ихъ умозаключеніяхъ, мы усматриваемъ сначала отдельное сужденіе, чуждое дѣйствительности, опыта и наблюденія. Дѣйствительность оста-

валась въ сторонѣ: грубому, необразованному уму была завѣщана великая идея, божественная истина; но она была для него непостижима, несозиаема; въ напрасныхъ попыткахъ связать эту истину съ тѣснымъ кругомъ ограниченныхъ понятій, умъ все болѣе и болѣе терялся въ безднѣ странныхъ предположеній. Въ отдельныхъ сужденіяхъ, лишенныхъ внутренней связи, онъ погружался въ міръ отвлеченія, а съ другой стороны ограничивался вліяніемъ посторонняго начала, чуждаго авторитета. Отсюда являлось школьнное, силлогистическое умствованіе: пріискивали предложеніе, подводили къ нему всѣ возможныя возраженія и на конецъ опровергали ихъ новыми силлогизмами. Сужденіе, какъ мы уже замѣтили, не исходило изъ самого себя, но зависѣло отъ даннаго содержанія, въ которомъ заключалась граница и условіе мышленія. Результатъ послѣдняго былъ данъ a priori; оставалось только подтвердить его формами науки. Такимъ образомъ съ одной стороны развивалась діалектика, съ другой стороны философія терялась въ мелочныхъ, ребяческихъ умозрѣніяхъ и удаляясь отъ положительныхъ свѣдѣній, вместо вѣрнаго изслѣдованія, упиралась только на безпрекословныя рѣшенія чуждаго авторитета.

Происхожденіе самаго названія *схоластиковъ* принадлежитъ тому времени, когда, по волѣ Карла Великаго, оставленная наука снова водворилась въ училищахъ, основанныхъ имъ при главныхъ соборахъ и монастыряхъ. Но время еще не благопріятствовало философіи; властолюбивая католическая іерархія препятствовала свободному развитію науки — и только

немногіе мыслители, вызванные волею императора изъ дальнихъ странъ, изрѣдка озаряли слабымъ, сомнительнымъ свѣтомъ непроницаемый мракъ грубаго нѣвѣжества. Между ими отличался Алкуинъ, который завѣдывалъ и училищами, основанными императоромъ. Частные начальники училищъ назывались схоластиками (*scholastici*). Отъ нихъ и самая философія, которая болѣе или менѣе преподавалась въ этихъ школахъ, получила свое название.

Мы раздѣлимъ исторію схоластиковъ на два отдѣла: въ первомъ, разсмотримъ схоластическую философію отъ IX столѣтія до возобновленія наукъ; во второмъ, дальнѣйшее развитіе отъ возобновленія наукъ до реформаціи Лютера (*).

Первые зародыши просвѣщенія перешли съ востока на западъ. Въ то время, когда германскіе народы праздновали свои побѣды на дымящихся развалинахъ римской имперіи, религія Мухаммеда съ быстротою молніи распространилась и по фанатическому востоку. Съ тою же быстротою распространилась и греческая философія между арабами; сочиненія Аристотеля пользовались особыеннымъ уваженіемъ; ихъ переводили, прилагивали къ корану, толковали *ad libitum*. Разумѣется, въ этихъ переводахъ не было ни вѣрности, ни точнаго разумѣнія идей. Греческія системы не ознаменовались новыми самостоятельными изслѣдова-

(*) Въ подраздѣленіяхъ я слѣдовалъ Гегелю, который ближе и точнѣе другихъ опредѣляетъ различныя цѣли схоластической дѣятельности. — Э. Г.

ніями, но все-таки арабы сохранили науку и передали ее другимъ народамъ. Вотъ почему они принадлежатъ исторіи философіи и имѣютъ въ ней свои неотъемлемыя заслуги.

Такимъ образомъ арабы сдѣлались толкователями Аристотеля; они изучали его метафизику, логику и физику. Ихъ переводы впервые познакомили западъ съ Аристотелемъ. Своенравная судьба этого греческаго философа не хотѣла прямымъ путемъ свести его съ германскими варварами, но употребила для сего обратные, большею частію искаженные, невѣрные переводы съ арабскаго на латинскій языкъ.

Восточная философія отличается пламеннымъ, свободнымъ, глубокимъ воображеніемъ;alexandrijская или неоплатоническая идея служила ей основаніемъ. Неопределенность, свойственная возвышенному характеру востока, отличаетъ и философію арабовъ. Но и при пламенномъ, необузданномъ движениі умовъ, они не могли дойти до свободного развитія науки, которому препятствовали и народное суевіе и беспрекословныя истины корана. Отношеніе философіи къ религії было то же, какъ и на западѣ. Но, не смотря на всѣ преграды, наука находила себѣ покровителей въ лицѣ Аль-Мансура, Гарун-аль-Рашида, Аль-Мамума и другихъ калифовъ, которые старались о распространеніи просвѣщенія. Такимъ образомъ арабы не занимаютъ особенной ступени въ общемъ ходѣ философіи: они не подвинули ея началъ. Главныя задачи заключались въ идеѣ единаго Бога, въ вѣчности міра и т. п.

Одну изъ первостепенныхъ школъ составляла зна-

менитая секта *медабберимъ*. Здѣсь, по словамъ Моисея Маймонида, никто не смотрѣлъ на истинную природу вещей, всякий высматривалъ въ нихъ то, что могло служить подтвержденіемъ его собственному мнѣнію. Они не признавали возможности точного познанія вещей, на томъ основаніи, что умъ всегда можетъ себѣ представить противное каждому предмету. Они не умѣли отдѣлить ума отъ воображенія. Атомы и пустое пространство составляютъ первыя начала; рожденіе—не что иное, какъ соединеніе атомовъ; смерть раздѣленіе ихъ. Арабы, какъ мы уже выше говорили, съ усердіемъ изучали Аристотеля; они переводили его метафизическая и логическая сочиненія, объясняли и пополняли ихъ посвѣдому. Изъ главныхъ коментаторовъ Аристотеля назовемъ: *Алкенди* (800), который пояснялъ его логику, и *Алфараби* (+966). Онъ писалъ о происхожденіи и раздѣленіи наукъ и занимался толкованіями „Органона“ Аристотеля, которымъ впослѣдствіи пользовались схоластики. Разсказываютъ, что онъ сорокъ разъ прочелъ разсужденіе Аристотеля „О слухѣ“ и двѣсти разъ его „Реторику“, не чувствуя при этомъ ни скучи, ни пресыщенія; по замѣчанію Гегеля, „онъ имѣлъ хороший желудокъ“. Но самый замѣчательный послѣдователь Аристотеля между арабами былъ *Авверроэсъ* (Averroes). Его по преимуществу называютъ *коментаторомъ*. Не смотря на то, что онъ только переводилъ Аристотеля, въ его переводахъ встрѣчаются такія вещи, которыхъ греческому философу и въ голову не приходили. Авверроэсъ обладалъ замѣчательными дарованіями и свѣт-

льмъ умомъ; онъ вѣрилъ въ непогрѣшительность корана, но принималъ его за популярное изложеніе высокаго религіознаго ученія, необходимо предоставлennаго наукѣ для настоящаго уразумѣнія.

Переходя отъ арабовъ къ схоластикамъ, мы должны еще взглянуть, для общей связи, на еврейскую философию, которая служила посредницею между востокомъ и западомъ. Въ южной Испаніи, въ Португаліи и Африкѣ евреи занимались переводами Аристотеля съ арабскаго на латинскій языкъ, и уже отсюда передавали Европѣ свои вторичные переводы. Въ еврейскую философию этого времени входитъ много каббалистическихъ пдей. Астрологія, геомантия и т. д. испещрены странными выходками мистического суевѣрія. Отличимъ *Моисея Маймонида* (Moses Maimonides, 1131), въ которомъ мы находимъ строгую отвлеченнную метафизику, приспособленную къ методѣ Филона; въ ней попадаются доказательства единаго Бога по идеѣ алеатовъ, тлѣнности матеріи и сотворенія міра.

Исторію схоластики большою частію начинаютъ съ IX столѣтія именемъ *Юанна Скотта Эригены*, хотя его и нельзя отнести къ собственнымъ схоластикамъ. Онъ отличался рѣдкимъ въ то время знаніемъ греческаго, еврейскаго и даже арабскаго языковъ, переводилъ сочиненія Діонисія-Ареопагиты, одного изъ позднѣйшихъ греческихъ философовъ александрийской школы, и въ собственныхъ своихъ сочиненіяхъ слѣдовалъ методѣ неоплатониковъ. Онъ навлекъ на себя негодованіе папы, и католические богословы вообще не bla-

говолили къ нему. Въ его сочиненіяхъ встрѣчалось много такого, что не соответствовало духу времени. На одномъ изъ ліонскихъ церковныхъ собраній о немъ судили слѣдующимъ образомъ: „До насть дошли сочиненія болтливаго пустослова, который о божественномъ предвѣдѣніи и предопределѣніи, человѣческими, или какъ самъ хвастаетъ, философическими аргументами разсуждаетъ, не подчиняется авторитету отцовъ церкви, но все сіе собственными доводами изъ себя защищаетъ (*).“

Первые попытки схоластики заключались въ стараніи привести учение католической церкви къ метафизическому основанію, которое предоставлялось свободному сужденію философа. Одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ философовъ этого разряда есть *Архиепископъ Кентерберійскій* (1034—1109). Онъ разсматривалъ католическое учение философическимъ образомъ и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, положилъ истинное основаніе схоластикѣ. Вотъ что говорить онъ объ отношеніи вѣры къ мышленію: „Вѣру нашу мы должны защищать доводами разума противъ безбожниковъ, а не противъ христіанъ, потому-что о послѣднихъ мы вправѣ думать, что они не отступятся отъ обѣщанія,

(*) «Bulæus: Historia Univer. Paris. Ч. 1. стр. 132.» Venerunt ad nos cujusdam vaniloqui et garruli hominis scripta, qui velut de præscientia et praedestinatione divina humanis et, ut ipse gloriatur, philosophicis argumentationibus disputans... nulla scripturarum sive S. S. Patrum auctoritate prolatâ, velut tuenda et sequenda sola sua præsumptione definire ausus est.

данного ими при святомъ крещеніи; но безбожникамъ мы разумомъ должны доказать, какъ неразумно они хулять нашу религію. Христіанинъ переходитъ отъ вѣры къ разуму; а не отъ разума къ вѣрѣ; онъ не долженъ покидать вѣры тамъ, где она для него не-постижима. Если онъ можетъ дойти до умственного убѣжденія, онъ наслаждается симъ разумѣніемъ; если неѣтъ, поклоняется тамъ, где не понимаетъ“ (*). Да-лѣе онъ говорить въ своемъ разсужденіи: „*Cur Deus homo?*“: „Кто въ вѣрѣ твердъ и не старается пони-матъ того, чему вѣруетъ, тотъ пренебрегаетъ вѣрою“ (**). Желаніе доказать разсужденіемъ то, чему онъ вѣро-валъ, существованіе Бога, не давало ему покоя. Такое побужденіе смущало бѣднаго епископа, и онъ сна-чала принималъ его за навожденіе дьявола. Ему при-надлежитъ такъ-называемое оптологическое доказа-тельство существованія Божія, которое сохранилось до самого Канта. Архіепископъ разсуждаетъ слѣдую-

(*) (*Anselmi Epistol. XLI, I, 11.*) *Fides nostra contra impios ratione defendenda est non contra eos, qui se Christiani nominis honore gaudere fatentur. Ab his enim juste exigendum est, ut cautionem, in baptimate factam inconcusse teneant: illis vero rationabiliter ostendendum est, quam irrationabiliter nos contemnunt. Christianus per fidem debet ad intellectum proficere, non per intellectum ad fidem accedere; aut si intelligere non valet, a fide recedere. Sed cum ad intellectum valet pertingere, delectatur: cum vero nequit, cum eapere non potest, veneratur.*

(**) (*Cur Deus homo, I, 2.*) *Negligentia mihi videtur, si postquam confirmati sumus in fide, non studemus, quod credidus, intelligere.*

щимъ образомъ: „Иное дѣло вещь, представленная умомъ, иное дѣло видѣть, что вещь существуетъ. И невѣжда убѣдится, что въ умѣ можетъ быть представлениe, котораго выше нельзѧ придумать, потому что онъ, услышавъ это, разумѣеть, а всякое разумѣніе находится въ умѣ. Но то, чего выше придумать нельзѧ, необходимо находится не въ одномъ только умѣ; ибо еслибъ оно находилось въ одномъ только умѣ, то можно-же себѣ представить, что оно существуетъ и въ-самомъ-дѣлѣ: а это выше. Стало-быть, если то, чего выше себѣ представить нельзѧ, находится въ одномъ только умѣ, то это-же самое представлениe, котораго выше придумать нельзѧ, есть уже то, чего выше себѣ представить можно. Но этого быть не можетъ. А слѣдовательно, безъ всякаго сомнѣнія, то, чего выше себѣ представить нельзѧ, въ одно и то же время находится и въ умѣ и существуетъ на дѣлѣ“ (*). Такое странное сужденіе не менѣе того справедливо. Древніе говорили: „Богъ существуетъ“, основываясь на случайности всѣхъ видимыхъ, преходящихъ явлений

(*) Proslogium, (c. 2). Aliud est, rem esse in intellectu; aliud, intelligere rem esse.—Convincitur ergo etiam insipiens, esse vel in intellectu aliquid, quo nihil majus cogitare potest; quia hoc, cum audit, intelligit; et quidquid intelligitur, in intellectu est. Et certe id, quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potes cogitari, esse et in re: quod majus est. Si ergo id, quo majus cogitari, non potest, est in solo intellectu: id ipsum, quo majus cogitari non puotest, est qo majus cogitari potest. Sed certe hoc esse non potest. Existit ergo procul dubio, aliquid, quo majus cogitari non valet, et in intellectu et in re.

міра. Отъ сей случайности они переходили къ истинѣ безконечнаго. Въ разсужденіи архіепископа въ первый разъ является противоположеніе мысли и бытія,—это чистое отвлеченіе, сознанное средними вѣками. Здѣсь уже идея является какъ подлежащее, а бытіе, какъ сказуемое.

Возлѣ архіепископа Кентербёрійскаго назовемъ по тождеству направленій и *Абелара* (1079—1142), знакомаго чувствительнымъ сердцамъ по любви его къ Элоизѣ. Онъ преподавалъ въ Парижѣ, какъ средоточіи богослововъ того времени, объяснялъ религію философическими доводами и вообще старался соединить богословіе съ философию.

Другое направленіе схоластики состояло въ покушеніи—дать церковному ученію систему и привести его къ методическому изложенію.

Между философами, которые стремились къ этой цѣли, замѣчательенъ знаменитый *Петръ-Ломбардскій* (1164) прозванный современниками *magister sententiарum*. Поводъ къ такому названію подали вѣроятно изданныя имъ *Четыре книги сентенцій* (IV libri sententiarum), которая долгое время служили основаніемъ церковному ученію. Онъ бралъ какую-нибудь религіозную тему, предлагалъ на нее вопросы и возраженія, и дѣлалъ ее такимъ образомъ предметомъ ученаго спора; участники такого диспута приводили свои доказательства и опроверженія, отыскивали противорѣчія, ссылались на авторитеты. Такимъ образомъ въ схоластическихъ умствованіяхъ явилась нѣкоторая метода.

„Сентенцій“ Петра-Ломбардскаго сдѣлались предме-

тому всеобщаго изученія. Много явилось на нихъ поясненій, которыя большою частію принадлежать такъ называемымъ *докторамъ догматическою богословія* (*doctores theologiæ dogmaticæ*). Эти люди получили значительное влияніе на церковныя дѣла. Ученые книги препровождались къ нимъ на разсмотрѣніе; они одобряли и осуждали ихъ по произволу.

Неменѣе знаменитъ и доминиканецъ *Одома-Аквинскій* (*Thomas ab Aquino* или *Aquinas*, 1224—1274), ученикъ Альберта-Великаго. Онъ славился обширными свѣдѣніями, писалъ коментаріи на Аристотеля, пояснялъ Петра-Ломбардскаго и самъ издалъ книгу подъ заглавіемъ «*Summa theologiae*», которая прославила его между схоластиками. Его называли *Doctor angelicus*, *Doctor communis*, вторымъ Августиномъ. И онъ предлагалъ вопросы, дѣжалъ возраженія, возбуждалъ сомнѣнія и указывалъ на обстоятельства, отъ которыхъ зависѣло ихъ разрѣшеніе. Его ученіе нашло многочисленныхъ послѣдователей, которые назывались *омистами*. Далѣе замѣтимъ знаменитаго въ свое время *Иоанна Дунс-Скотта* (1275—1308), прозваннаго *Doctor subtilis*. Онъ пользовался славою остроумнаго, тонкаго мыслителя. Его называли *Deus inter philosophos* и величали между прочимъ слѣдующимъ образомъ: „онъ до того обработалъ философію, что могъ-бы быть ея изобрѣтателемъ, еслибы она не была уже открыта; онъ до такой степени *понималъ* всѣ таинства вѣры, что ему почти не нужно было вѣрить имъ, до того разумѣль пути провидѣнія, какъ будто-бы провидѣль ихъ, до того зналъ качества ангеловъ, какъ будто-бы самъ

быть ангеломъ. Онъ написалъ въ немногіе годы столько книгъ, что нѣтъ человѣка, который-бы могъ ихъ прочестъ, ниже понять.“ Онъ бралъ предложеніе, присоединялъ къ нему длинный рядъ доказательствъ и потомъ такой-же длинный рядъ опроверженій; метода *pro et contra* доведена ииъ до высшей степени развитія.

Ученіе Фомы-Аквинскаго встрѣтило въ немъ опаснаго и ловкаго соперника, который среди безчисленныхъ, діалектическихъ тонкостей сохранялъ постоянную, благородную цѣль: хотѣлъ дойти до какого-нибудь положительного основанія истины. Предметъ ихъ ожесточеннаго спора заключался въ вопросѣ, о которомъ мы будемъ говорить подробнѣе при разборѣ номиналистовъ и реалистовъ. Дунс-Скоттъ основалъ особенную школу, которая славилась необыкновенною діалектикою. Его послѣдователи назывались *скоттистами*. Они, по примеру основателя, находились въ безпрерывной борьбѣ съ *вомистами*. Но ослѣпленіе страстей, которое волновало и ту и другую партію, препятствовало всякому полезному выводу для науки.

Въ-течение XIII-го столѣтія западные богословы ближе познакомились съ сочиненіями Аристотеля, которые вскорѣ сдѣлались предметомъ всеобщаго удивленія. Многіе западные ученые отправлялись въ Испанию и между арабами изучали Аристотеля. Разумѣется, что и новые переводы, составленные по латинскимъ передѣлкамъ, не познакомили запада съ истиннымъ учениемъ греческаго философа; но они, по-крайней-мѣрѣ, были полнѣе и многостороннѣе прежнихъ выдержекъ *Боэція* и *Кассіодора*.

Одинъ изъ первыхъ переводчиковъ Аристотеля представляется намъ въ лицѣ Алезія или *Александра-Галескаю* (*Doctor irrefragabilis*, †1245), съ котораго Тидеманнъ начинаетъ исторію схоластиковъ. Онъ написалъ также „*Summa theologiæ*“, гдѣ развиваетъ и поясняетъ „*Сентенціи*“ Петра-Ломбардскаго.

Сначала, католическая церковь препятствовала распространенію системы Аристотеля; папа Григорій запретилъ его „физику“ до дальнѣйшаго разсмотренія; но впослѣдствії одобрили сочиненія Аристотеля и сдѣлали ихъ даже необходимымъ условіемъ, безъ котораго нельзѧ было достигнуть ученыхъ степеней.

Между толкователями сего философа замѣчательнѣ еще *Альбертъ-Великій* (*Albertus magnus*), знаменитый между нѣмецкими схоластиками (+1280). Разсказываютъ, что въ молодости онъ не оказывалъ особыхъ способностей, пока наконецъ не явилось ему тайное видѣніе, которое ободрило его къ изученію философіи, освободило отъ духовной немощи и дало обѣщаніе, что онъ, не смотря на пріобрѣтенныя познанія, умретъ съ твердою, неприосновенною вѣрою. Такъ и случилось, говорить преданіе: еще за пять лѣтъ до своей кончины, онъ вдругъ позабылъ всю свою философію и умеръ въ прежнемъ невѣдѣніи. Такимъ образомъ составилась о немъ старинная поговорка: „*Albertus repente ex asino factus philosophus et ex philosopho asinus.*“ Альбертъ писалъ комментаріи на „магистра сентенцій“, пояснялъ Діонисія-Ареопагиту и Аристотеля. Скѣдныя познанія его въ исторіи философіи доказываются между прочимъ слѣдующимъ образчикомъ:

онъ производилъ названіе эпикурейцевъ отъ того, что они возлежали «*сите*» (*auf der faulen Haut liegen*), то есть предавались лѣни, или отъ слова *cura* (*supercurantes*), потому-что они хлопотали о пустякахъ. Къ стоикамъ онъ причисляетъ Пиѳагора, Сократа и Платона.

Логика Аристотеля еще болѣе изощрила діалектику этого времени, между-тѣмъ какъ чистыя умозрѣнія греческаго философа оставались незамѣченными.

Другой философический вопросъ, который занималъ схоластиковъ, заключается въ спорѣ *реалистовъ и номиналистовъ*. Этотъ споръ основанъ на метафизическомъ противоположеніи *общію и индивидуальную*; онъ приноситъ честь схоластической философіи, которая занималась имъ въ-течениіи нѣсколькихъ вѣковъ. Начало спора относится еще къ XI столѣтію, гдѣ мы встрѣчаемъ знаменитыхъ противниковъ въ лицѣ Абелара и Росцелина. Послѣдній былъ основателемъ номиналистовъ. Онъ первый разсмотривалъ общія, родовыя идеи, какъ пустыя названія, обозначающія общія качества различныхъ индивидуальныхъ предметовъ. Такое воззрѣніе влекло за собою другія мнѣнія, не-сообразныя съ духомъ времени. Католическая церковь смотрѣла на Росцелина, какъ на еретика, и осудила его сочиненія. Въ 1092 году онъ умеръ на кострѣ.

Вотъ въ чёмъ заключается сущность этого спора: имѣютъ-ли общія, родовыя, собирательныя понятія (*universalia*), напримѣръ: „человѣчество“, „животное“ и прочее, то, что Платонъ называетъ идеями,—имѣютъ-ли они, сами по себѣ, виѣ умственного представленія,

свое отдельное, действительное бытие, или они принадлежать только нашей мысли, нашему умственному представлению, какъ условное обозначеніе извѣстнаго общаго понятія? Тѣ, которые приписывали имъ самобытную действительность, назывались *реалистами*; противники ихъ, которые утверждали, что общія понятія суть не что иное, какъ принятая и созданныя нами умственный представлениа, и что одни только индивидуальные предметы имѣютъ и действительное бытие, назывались *номиналистами* или *формалистами*.

Посему реалисты, отказывая чувственнымъ, подлежащимъ нашему непосредственному наблюденію предметамъ въ действительной сущности и приписывая оную только общимъ понятіямъ, во многомъ сходствуютъ съ идеалистами нашего времени, по общему основанію, согласному съ платоническимъ воззрѣніемъ: между тѣмъ какъ номиналисты, принимая одиѣ только индивидуальная особенности истинными и действительными, называя общія понятія (*universalia*) пустыми отвлеченіями, имѣющими безъ собственной реальности одно только отношеніе къ дѣятельности ума, сближаются съ идеями Аристотеля, уступая опыту полныхъ его права.

Споръ между реалистами и номиналистами принялъ различныя подраздѣленія. Иные (Монтань, + 1174) соединяли общее съ особыннымъ, утверждая что общее индивидуально и по существу соединено съ частными видами своими. Другіе принимали ограниченіе общаго, приведеніе его къ индивидуальности за отрицаніе; еще другіе находили въ этомъ ограниченіи нечто положительное, утверждая, что все индивиду-

альное есть только точнейшее выражение того, что уже заключено въ общемъ понятіи, такъ что эти понятія, не смотря на ихъ раздѣленія, остаются простыми.

Этотъ споръ достигъ высочайшаго своего развитія во время *Оккама* (*Doctor invincibilis, singularis, venerabilia inceptor*) въ началѣ XIV столѣтія. Его обертливость, остроуміе и мѣткость возраженій сдѣлали его однимъ изъ сильнейшихъ защитниковъ номиналистовъ. Заступаясь противъ надменныхъ приказаний папы за права германскаго императора, Лудвига Баварскаго, онъ говорилъ послѣднему: ты защити меня мечемъ, я защищу тебя яеромъ (*tu me defendas gladio, ego te defendam calamo*). Смѣлость замысла, непоколебимая энергія въ исполненіи всего предпринятаго отличаютъ характеръ Оккама. Подвергая различныя мнѣнія строгому, логическому, безпристрастному разбору, онъ убѣдился въ неосновательности реалистовъ. Оккамъ утверждаетъ, что общія идеи, виѣ умственного представленія, не имѣютъ дѣйствительности, потому что ни наука, ни сужденія не нуждаются въ такихъ предположеніяхъ, изъ которыхъ проис текаютъ странныя несообразныя слѣдствія. Общія идеи причадлежать душѣ, какъ произведенія чистаго отвлеченія; душа создаетъ ихъ для себя, обозначая ими вѣшніе предметы. Ученіе Оккама распространило скептическое и эмпирическое направление. Онъ самъ былъ ученикъ Скотта — и споръ между єомистами и скоттистами доведенъ имъ до высшей степени ожесточенія. Непримиримая ненависть возгорѣлась между ими. Личная

страсти вмѣшались въ дѣло науки. Самый споръ принялъ политическое направленіе по взаимной распѣй францисканскаго ордена, принявшаго сторону Оккама, и доминиканскаго, слѣдовавшаго ученію Фомы. Запрещенія парижскаго университета и папскія буллы сыпались на бѣднаго, но непреклоннаго Оккама. По приказанію Лудовика XI, собраны всѣ сочиненія номиналистовъ и въ 1473 году наложены на нихъ тяжелая цѣпи. Бѣдныя книги восемь лѣтъ томились въ оковахъ, но, наконецъ, по прошествіи этого времени, невинныхъ плѣнниковъ спустили съ цѣпей. До какой степени доходило ожесточеніе при этихъ спорахъ, между прочимъ доказываетъ каѳедра, которую и теперь еще показываютъ. Деревянный простѣнокъ отдѣляетъ ее отъ того мѣста, на которомъ находился оппонентъ; причина такой предосторожности заключалась въ предположеніи, что если достопочтенные противники, разгоряченные споромъ, подерутся, то крѣпкій, дубовый простѣнокъ воспрепятствуетъ непосредственному соприкосновенію, столь неприличному званію философовъ.

Между противниками Оккама назовемъ только *Бурлея* (Walter Borleigh, doctor planus et perspicuus; 1275 — 1337); между его послѣдователями — *Буридана*, который склоняется на сторону *детерменистовъ*, допуская зависимость воли отъ обстоятельствъ.

Но споръ номиналистовъ не ограничивался однимъ только упомянутымъ нами вопросомъ. Въ ихъ сочиненіяхъ въ первый разъ проявляется стремленіе ума къ независимости, въ первый разъ выказывается попытка освободиться отъ ига авторитета.

Съ другой стороны, страсть къ діалектическимъ словопреніямъ возрасла до неимовѣрной степени. Изобрѣтеніе самыхъ странныхъ техническихъ терминовъ составляло одно изъ важныхъ занятій схоластиковъ. Желаніе представить самыя отвлеченные идеи въ чувственномъ видѣ перешло за границы здраваго смысла. Приковывая такимъ образомъ все то, что принадлежитъ другому, безконечному, духовному міру, къ тѣснымъ чувственнымъ отношеніямъ, схоластики впадали въ непостижимыя нелѣпости. Духовное начало служило основаніемъ, но, подведенное подъ виѣшнюю оболочку формальной діалектики, оно большею частію теряло свое значеніе. Для примѣра приведемъ нѣсколько предположеній и вопросовъ Юліана-Толедскаго, увѣряя притомъ, что этотъ образчикъ еще одинъ изъ самыхъ толковыхъ и умѣренныхъ. Юліанъ разсуждаетъ о воскресеніи мертвыхъ, принимая за основаніе беспрекословное ученіе религіи; но далѣе, при словахъ: «мертвые снова одѣнутся тѣломъ» — ему открывается обширное поле для самыхъ нелѣпыхъ вопросовъ и предположеній, подобныхъ, напримѣръ, слѣдующимъ: «Въ какомъ возрастѣ воскреснуть мертвые? Дѣтьми, юношами или старцами? Въ какомъ видѣ воскреснуть они? Останутся-ли тучные тучными, тощіе тощими?. Вознаградятся-ли вся тѣлесныя утраты, ногти, зубы, волосы, и т. д.?... Вотъ какими нелѣпыми предположеніями увлекались тогда! Все мѣшалось и путалось; безпрерывная противорѣчія затемняли всякое изслѣдованіе. Умъ метался отъ одного вопроса къ другому. Идея пропадала въ грязномъ омутѣ

бездонной діалектики. Схоластики мало заботились о смыслѣ, обѣ идеѣ: они нуждались только въ діалектическихъ различеніяхъ, въ хитрыхъ опредѣленіяхъ, въ наружной оболочкѣ науки. Всѣ ихъ изслѣдованія терялись въ пустыхъ словопрепеніяхъ. Для самобытнаго мыслителя наука представляла непреодолимую преграду въ самомъ духѣ времени.

Но и тогда, среди общаго смутнаго броженія ума, являлись люди, которые не раздѣляли пагубнаго, современнаго направлениія, люди набожные, проникнутые духомъ истинной философіи; ихъ называли *мистиками*. Ионимая всю суету мелочной діалектики, они покушались дать наукѣ новое, прочное начало; но старанія ихъ еще не могли имѣть успѣха: исполненію цѣли, предположенной ими, препятствовало противорѣчіе вѣка.

Сюда относится *Рожер Бакон* (Doctor mirabilis, 1214—1294). Онъ отличался основательными свѣдѣніями въ химіи, физикѣ, математикѣ и филології. Ему приписываютъ изобрѣтеніе пороха и зеркаль. Внѣкая въ общій, основный недостатокъ всякаго современнаго ему знанія, онъ хотѣлъ дать наукѣ болѣе свободное направлениѣ, приводя ее къ изученію природы и языковъ: онъ ненавидѣлъ схоластичкія словопрепенія.

Далѣе — *Раймунд Лулл* (Raimundus Lullus или Lullius, по прозванию doctor illuminatus, 1234—1315). Онъ еще любопытенъ, какъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые, повидимому, составлены изъ самыхъ разнородныхъ стихій. Пламенное, неукротимое вообра-

женіе, сильныя, необузданыя страсти отличали его въ молодости. Онъ искалъ упоенія въ дикихъ оргіяхъ разврата. Наука не смущала его легкомысленной мечты. Но, вдругъ, въ жизни его совершается непостижимый переворотъ; онъ удаляется въ пустыню и забывая о буйныхъ наслажденіяхъ распутной юности, погружается въ размышеніе и съ упорною ревностію изучаетъ чуждую ему дотолѣ науку. Въ тишинѣ уединенія его занимаетъ одна мечта, живая, неотступная: онъ задумалъ быть орудіемъ распространенія божественной религіи Христа между мухаммеданами въ Азіи и Африкѣ. Съ этой мыслю онъ отправляется въ путь, подвергаясь гоненію, нищетѣ, опасностямъ и заточенію. Впослѣдствіи онъ жилъ долгое время въ Парижѣ, изготовилъ около 400 сочиненій и умеръ наконецъ отъ печальныхъ слѣдствій набожнаго путешествія своего по Африкѣ. Онъ старался, между прочимъ, привести въ систематической порядокъ различныя категории, къ которымъ принадлежать тѣ или другіе предметы, для того, чтобы удобнѣе означить всѣ примѣняющіяся къ нимъ понятія. Система его, со всѣми ея таблицами, составленными изъ круговъ съ вписаными треугольниками, въ которые опять проведены были круги, — эта система не что иное, какъ механическая игрушка, не смотря на то, что онъ самъ величаетъ ее пышнымъ названіемъ «ars magna».

Наконецъ, замѣтимъ еще *Раймунда-Сабундскую*, который, въ началѣ XV столѣтія, проподавалъ свое ученіе въ Тулузѣ. Онъ принимаетъ два источника познанія: природу и откровеніе. Изъ нихъ человѣкъ по-

знаетъ Создателя и свои отношенія къ нему. Наблюденіе природы и человѣка было главнымъ его занятіемъ. Какъ моралистъ, онъ занимаетъ высокое мѣсто въ сравненіи съ своими современниками.

Тревожное стремленіе мистиковъ предвѣщало приближеніе новаго переворота въ ходѣ науки. Неудовлетворяясь діалектическими формулами схоластического мудрствованія, они томились жаждою новой умственной пищи и стѣснялись мертвую системою, которая покушалась основать философію на сухихъ определеніяхъ, тощими, логическими соображеніями подъ вліяніемъ чуждаго начала или по исковерканнымъ идеямъ Аристотеля. Изученіе классической древности познакомило, въ исходѣ XV столѣтія, дремлющій западъ съ греческою философіею изъ прямыхъ ея источниковъ. Донынѣ мы видѣли невѣрные попытки схоластиковъ; всѣ онъ представляютъ странную смѣсь здравыхъ идей и невѣжественного суевѣрія, всѣ ограничиваются какою-то одностороннею метафизикою ума,ничѣмъ невозбуждающею нашего живаго участія. Въ изслѣдованіи самыхъ высокихъ идей мы встрѣчаемъ одно только форменное усиленіе ума, двигавшагося въ безконечныхъ соединеніяхъ категоріи безъ глубины, безъ содержанія. Духовный интеллектуальный міръ подведенъ подъ чувственныя отношенія, живая полная дума умираетъ въ холодной діалектикѣ. Въ этихъ вышешихъ, форменныхъ отправленіяхъ своихъ умъ действуетъ безъ убѣжденія, какъ ремесленникъ, прикованный къ станку, чуждый вдохновенія, безъ внут-

ренняго сознанія своего труда, безъ любви и сочувствія къ нему.

Теперь умъ просыпается; счастливый случай знакомитъ его съ новыми, богатыми идеями; онъ принимаетъ ихъ съ жадностю; съ невольнымъ страхомъ приближается къ стройной, греческой системѣ и съ темнымъ сознаніемъ видить передъ собою новый путь—и робкими невѣрными шагами пытается идти по немъ.

Паденіе Византіи, открытие Америки, изобрѣтеніе книгопечатанія, все тревожитъ,—все возбуждаетъ смутное движение ума. Взятіе Константинополя было причиною, что многие греческие ученые переселились въ Италію а слѣдствіемъ этого было распространеніе настоящихъ, неискаженныхъ идей Платона, Аристотеля, Эпикура. Государи покровительствовали изученію классической литературы. Италія, которая пріютила греческихъ ученыхъ, сдѣлалась средоточіемъ наукъ: въ Италію съ жаждою познаній стекались люди со всѣхъ концовъ Европы.

Имена Петрарки и Боккачіо прославились не только на скрижаляхъ поэзіи, но въ то же время занимаютъ высокое мѣсто между именами ученыхъ, которые съ ревностію содѣйствовали изученію классиковъ и возобновленію наукъ.

Первое слѣдствіе изученія греческой философіи состояло въ томъ, что западъ познакомился съ истиннымъ ученіемъ древнихъ мыслителей въ первоначальномъ его видѣ. Время для самостоятельнаго, дальнѣйшаго изслѣдованія еще не наступило. Но и древнія системы сами по себѣ представили рѣзкое противорѣчие со всѣми теоріями схоластики и возбуждали со-

мнѣніе въ иепогрѣшительности прежнихъ изслѣдованій. Съ одной стороны, живая, глубокая идея, съ другой—сухія, мертвыи формулы: — выборъ быль нетруденъ, Сомнѣніе нанесло первый ударъ ветхому зданію схоластики, ударъ, отъ котораго пошатнулись ломкія, діалектическія построенія. Но съ другой стороны, новое движение мысли, связанной старыми предразсудками, вѣковою привычкою, еще не имѣло вѣрной цѣли, еще бродило въ туманѣ: умъ стремился къ новому развитію прежнихъ, разъ уже принятыхъ идей, вмѣсто того, чтобы сперва разсмотрѣть свои собственныя начала и законы, по которымъ онъ познаеть предметы. Такимъ образомъ, старое вліяніе еще несовсѣмъ уничтожилось и авторитетъ сохранилъ еще на нѣкоторое время свои привычныя права, которыя препятствовали свободной дѣятельности ума.

Изъ греческихъ философовъ Платонъ и Аристотель первые возбудили живое участіе на западѣ; къ нимъ примыкали и другія системы, болѣе или менѣе сходствующія съ ними; такъ къ философіи Платона присоединилась каббалистика, къ философіи Аристотеля система атомистовъ. Стоики и скептики только позднѣе нашли своихъ послѣдователей. Философія Платона, съ восторгомъ принятая пламеннымъ воображеніемъ юга, процвѣтала подъ покровительствомъ медичскаго дома, но еще не столько въ первоначальной простотѣ своей, сколько подъ формою неоплатонизма. Болѣе другихъ, *Фициній* (1433—1499) оказалъ философіи важную услугу ловкими переводами Платона, Плотина и другихъ; кромѣ того, онъ написалъ къ нимъ и

собственныея, замѣчательные поясненія. Въ своей «*Theologia platonica*» онъ съ необыкновеннымъ умѣніемъ доказываетъ бессмертие души.— За нимъ является графъ *Мирандола* (1463—1494). Онъ доискивался сближенія Платона съ учениемъ ветхаго завѣта. Знаніе восточныхъ языковъ познакомило его съ каббалистикою и онъ занимался ею съ особеннымъ наслажденіемъ. Любимая мечта его состояла въ томъ, чтобы согласить платониковъ съ аристотелистами. Въ старости онъ написалъ превосходное опроверженіе астрологическаго суевѣрія.

Изученіе каббалистики достигло еще высшаго развитія стараніями ученаго филолога *Рейхлина* (1455—1522), который познакомилъ съ нею Германію въ своихъ сочиненіяхъ: «*De verbo mirifico*» и «*De arte cabbalistica*». Первое сочиненіе его служило предметомъ публичныхъ лекцій *Аироппы Нетеслейма*, человѣка, жаждавшаго денегъ и славы. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ чернокнижниковъ своего времени. Книга его «*De occulta philosophia*» наполнена всѣми странностями необузданнаго воображенія; въ ней называетъ онъ магію дополненіемъ философіи и ключемъ къ тайнамъ природы. По тому-же направлению мы встрѣчаемъ знаменитаго *Парацельса* (*Aureolus Theophrastus Paracelsus*, 1493—1541). Онъ былъ въ одно и то же время медикомъ и химикомъ, теософомъ и каббалистомъ. Съ быстрымъ взглядомъ опытнаго наблюдателя, съ огромными практическими свѣдѣніями онъ соединялъ живое, пламенное воображеніе. Медицина обязана ему многими преобразованія-

ми. Онъ переходилъ отъ одного предмета къ другому, привлекалъ толпу таинственными странностями и пользовался огромною славою. Всемірная гармонія, вліяніе звѣздъ, стихійные духи — вотъ главныя начала его „Теософії“ и „Теургії“.

Філософія Аристотеля, и въ новомъ, неискаженномъ ея видѣ, нашла себѣ многочисленныхъ послѣдователей. Схоластики, которые и прежде удивлялись Аристотелю и почти исключительно его изучали, съ изумленіемъ познакомились съ настоящею его системою. Они съ жадностю бросились на всѣ его отдѣльныя сочиненія, поясняли ихъ посвѣдому, дѣлали извлеченія. Между богословами и врачами основалась многочисленная школа перипатетиковъ, которая сама по себѣ раздѣлялась на особенные партіи, судя по тому или другому толкованію Аристотеля. Одного изъ самыхъ замѣчательныхъ перипатетиковъ этого времени мы встрѣчаемъ въ лицѣ *Петра Помпанація* (1462—1530). Онъ изучалъ Аристотеля безъ слѣпаго, рабскаго довѣрія къ нему, умѣль находить слабыя стороны его системы и пополняль ихъ собственными идеями. Между его учениками отличались Скалигеръ, Порцій и Контарини. Съ другой стороны, ученіе Аристотеля породило и возраженія нѣсколькихъ смѣлыхъ головъ, которые, наперекоръ вѣку, подрывались подъ самые корни его системы и съ торжествомъ открывали ея недостатки. Между противниками Аристотеля замѣчательъ Телезій, который упрекаетъ его въ томъ, что онъ, разсматривая систему природы, принимаетъ за начала — пустыя отвлеченія. Какъ натуралистъ, Телезій сближается съ

идеями Парменида; онъ признаетъ два дѣйствующія начала, *тепло* и *холодъ*, и одно страдательное, *матерію*, которая принимаетъ дѣйствія первыхъ. Небо происходитъ отъ начала холода.

Такое направлѣніе должно было имѣть свои благо-дѣтельныя послѣдствія. Оно пріготовило ту эпоху, въ которую умъ человѣческій, съ довѣріемъ къ самому-себѣ, освободился отъ тяжкихъ оковъ посторонняго авторитета. Онъ окрѣпъ и возмужалъ въ смутной борьбѣ старыхъ привычекъ и новыхъ идей. Необходимость творческой дѣятельности день-ото-дня высказывалась явственнѣе. Внутреннее непреоборимое стремленіе увлекало умы, которые уже не съ прежнимъ раболѣпіемъ оглядывались на устарѣлые преграды. Самое время кипѣло смѣлыми предпріятіями, бурною жизнью, низвыми переворотами по всѣмъ направленіямъ. Духъ времени отпечатлѣвался и на отдѣльномъ человѣкѣ. Общая физіономія знаменитыхъ характеровъ этой эпохи отличается какимъ-то дикимъ, тревожнымъ движениемъ, бурнымъ вдохновеніемъ, отнюдь неспособнымъ къ спокойному изслѣдованію науки, и непреклонною энергию въ исполненіи предположенной цѣли. Вотъ почему мы повсюду замѣчаемъ смѣлыхъ, самостоятельные попытки въ смутномъ хаосѣ пестраго, неправильнаго знанія, высокія, отдѣльные мысли безъ стройнаго цѣлага. Умъ потѣшался непривычною свободою и на первый разъ не рѣшался даже стѣснять себя строгими условіями науки. Неудовлетворенный несообразными идеями отживаго міра, онъ повѣрялъ права обветшалаго насилия. Разрушеніе устарѣлаго, ветхаго зданія влекло

за собою порождение новыхъ идей, новыхъ мнѣній, новыхъ системъ. Умственное обновленіе человѣчества принадлежитъ реформаціи. Она указала путь къ свободному самостоятельному изслѣдованію; съ нея начинается новая эпоха философіи, новый переворотъ идей, который служилъ преддверіемъ къ нынѣшнему философическому воззрѣнію. Вотъ почему я думаю, что самыя имена Кардана, Бруно, Ванини, и по времени и по направленію, болѣе относятся къ эпохѣ реформаціи, нежели къ схоластикѣ, которая не совсѣмъ справедливо себѣ ихъ присвоила во многихъ „исторіяхъ философіи“ (*).

Но чѣ-же такое были Карданъ, Бруно, Ванини, современники Лютера, увлеченные общимъ стремлѣніемъ вѣка, общею борьбою идей, общимъ броженіемъ Европы?

Страненъ характеръ *Кардана* (1501—1575), если мѣрять его обыкновенною, прозаическою мѣркою будничныхъ людей; поучителъ онъ, какъ яркое проявленіе дикаго боренія ума, увлеченаго неукротимыми страстями. Въ своемъ сочиненіи «*De vita propria*» онъ самъ разсказываетъ намъ свои похожденія, самъ становится строгимъ, неумолимымъ обвинителемъ своего характера и направлениія. Онъ родился въ Павіи; мать его, еще до родовъ, грозила ему смертю; она старалась разными зеліями уничтожить незримый заро-

(*) Въ слѣдующей статьѣ, при разборѣ *вѣка Лютера* и его вліянія на философію, я постараюсь подробнѣе изложить свое мнѣніе. Э. Г.

дысь; провидѣніе не допустило исполненіе страшнаго намѣрѣнія—и дитя родилось; кормилица, которая пита-
ла его своимъ молокомъ, умерла отъ мора; младенецъ остался цѣлъ и невредимъ. Такимъ образомъ онъ сдѣлался отъ самой колыбели игралищемъ безж-
лостной судьбы. Отъ нищеты онъ переходилъ къ изо-
билию; его осыпали почестями—и мучили пыткою; онъ
пользовался дружбою и ласками государей—и годы
проводилъ въ темницѣ. Въ Карданѣ пылкое, творчес-
кое воображеніе соединялось съ обширными, много-
сторонними свѣдѣніями. Онъ былъ медикомъ, астроло-
гомъ, математикомъ; мы до-сихъ-поръ еще разрѣ-
шаемъ уравненія третьей степени по способу Кардана.
Но еще ужаснѣе внѣшнихъ страданій его волновали
внутреннія бури: въ мучительномъ бореніи души онъ
отравлялъ своимъ присутствіемъ все окружающее.
Стараясь внѣшними страданіями облегчить внутреннія,
онъ подвергалъ тѣло свое жестокимъ истязаніямъ: то
въ пышныхъ нарядахъ вельможи, то въ грязныхъ ло-
хмотьяхъ нищаго, то скроменъ, тихъ и покоенъ, то
въ неукротимомъ изступленіи сумасшествія, онъ се-
годня являлся живымъ противорѣчіемъ того, чѣмъ ка-
зался вчера. Вотъ онъ погружается въ безчисленныя
занятія, трудится дни и ночи, работаетъ безъ отдыха,
не покидая уединенного кабинета, чуждаясь людей;
а вотъ уже наскучилъ работою, бросаетъ неконченный
трудъ, кидается въ дикия оргіи разврата, проигры-
ваетъ послѣднія крохи своего состоянія. Въ воспи-
таніи его дѣтей выказывается то же противорѣчіе ха-
рактера: одинъ изъ сыновей его умираетъ на плахѣ,

какъ убийца собственной своей жены; другому, въ наказаніе за распутное поведеніе, самъ отецъ приказалъ отрѣзать уши. Собственные признанія Кардана отличаются какою-то грубою откровенностю. Онъ говоритъ между прочимъ: „Я отъ природы имѣю философическое направленіе и склонность къ наукамъ; я остроуменъ, вѣжливъ, добродушенъ; люблю истину, веселье и нѣгу; я задумчивъ, предпріимчивъ, услужливъ, изобрѣтателенъ, самъ-собою ученъ, ищу чудесъ и познаній; я хитеръ, лукавъ, насыщливъ, трезвъ, приложенъ, болтливъ, безпеченъ, завистливъ, мстителенъ, жестокъ; я предатель, врагъ религіи, не люблю своихъ родныхъ и кровныхъ; я магъ, предсказатель, волшебникъ, развратникъ, клеветникъ; я супровъ, перемѣнчивъ и несчастенъ. Вотъ какія противорѣчія заключаются во мнѣ!“—Сочиненія Кардана вполнѣ соответствуютъ этой странной картинѣ его характера: та-же смѣсь, тѣ-же переходы, тѣ-же крутыя противорѣчія; свѣтлая, глубокая мысль возлѣ какого-нибудь обветшалаго суевѣрія; грубый предразсудокъ каббалистики возлѣ яснаго, философического созерцанія; слогъ его дикъ, шероховатъ, несвязенъ. Но все, что онъ писалъ,—самостоятельно; онъ черпалъ изъ самаго себя и не подчинялся чуждому авторитету; въ этомъ отношеніи его влияніе было благодѣтельно, потому-что оно возбуждало современниковъ къ самобытнымъ трудамъ, къ самостоятельной дѣятельности ума.

Кампанелла (1568—1639) и по жизни и по сочиненіямъ много имѣть общаго съ Карданомъ: и онъ боролся съ бурями жизни, и онъ опорожнилъ до дна

горькую чашу опыта. Окруженный врагами, онъ сдѣлался жертвою ихъ гоненія, двадцать-семь лѣтъ провелъ въ темницѣ, въ оковахъ, какъ государственный преступникъ. Увлеченный сочиненіями Телезія и собственнымъ размышеніемъ, онъ пренебрегъ системою Аристотеля. Кампанелла принимаетъ два источника познанія: откровеніе и природу; первое есть начало богословія, вторая — основаніе философіи. Сочиненія его сами-по-себѣ не представляютъ важныхъ результатовъ, но и они возбуждали движеніе, и они поколебали умственную дремоту человѣчества.

Бруно (Giordano Bruno) тоже принадлежитъ къ бурнымъ, беспокойнымъ характерамъ мятежного XVI столѣтія: и онъ кидался изъ одной крайности въ другую, увлекаясь воображеніемъ и страстями. Онъ сперва принадлежалъ къ доминиканскому ордену, но, осуждая съ упорнымъ самоотверженіемъ злоупотребленія католического монашества, онъ навлекъ на себя всеобщее негодованіе и долженъ былъ оставить Италию. Онъ переселился въ Женеву; но и здѣсь не поладилъ съ идеями Кальвина, поссорился съ нимъ — и перебѣхалъ въ Парижъ, гдѣ опровергъ въ публичныхъ диспутахъ, философическія мнѣнія послѣдователей Аристотеля. Въ этихъ опроверженіяхъ онъ не имѣлъ успѣха, потому-что система Аристотеля въ то время еще имѣла и вѣсъ и значеніе. Изъ Франціи онъ отправился въ Англію, изъ Англіи въ Германію. Здѣсь онъ отложился отъ католической религіи и перешелъ на сторону протестантовъ. Повсюду читалъ онъ публичныя лекціи, издавалъ книги, училъ и спорилъ; такимъ об-

разомъ всѣ его сочиненія разсѣяны по разнымъ мѣстамъ. Наконецъ, Бруно возвратился въ Италію и прожилъ нѣсколько времени въ Падуѣ; но и на этотъ разъ ему не посчастливилось на родинѣ: инквизиторы Венеціи схватили бѣднаго философа и бросили его въ темницу, откуда впослѣдствіи перевезли его въ Римъ. Его судили, требовали торжественнаго отрече-
нія отъ прежнихъ мнѣній; но Бруно остался непре-
клоненъ, и умеръ на кострѣ, какъ мученикъ науки.

Всѣ сочиненія Бруно проникнуты вдохновеніемъ гор-
даго самосознанія, которое чувствуетъ присутствіе ду-
ха, единаго и тожественнаго съ общимъ духомъ міра.
Въ новѣйшее время Якоби обратилъ вниманіе на срод-
ство идей Спинозы съ идеями Бруно, но Бруно самъ
увлекался смѣлыми гипотезами элеатовъ и александрий-
скихъ неоплатониковъ; впрочемъ всѣ философичес-
кія идеи его свидѣтельствуютъ о самостоятельности,
живости и оригинальности его ума. Въ общихъ его
воззрѣніяхъ высказывается глубокое убѣженіе въ
оживленность природы и въ присутствіе разума въ
природѣ. Система его имѣетъ пантенистическое направ-
леніе. Онъ принимаетъ общее, единое начало, въ ко-
торомъ заключается основаніе и причина всего суще-
ствующаго; такимъ образомъ это начало есть вмѣстѣ
съ тѣмъ и общей, дѣятельный разумъ, проявляющейся
въ общей формѣ вселенной. Форма и матерія перво-
начально тожественны, такъ что одна безъ другой
существовать не можетъ; ибо если мы себѣ предста-
вимъ возможность или силу дѣйствія, произвожденія,
то необходимо должна существовать и другая возмож-

ность воспринять дѣйствіе, быть произведену. Въ первомъ, общемъ началѣ заключается все, что существуетъ; оно можетъ быть всѣмъ и есть все; въ немъ возможность и дѣйствительность, свобода и необходимость, воля и дѣйствіе — нераздѣльно одно и то же. Чтобы дойти до идеи единства, Бруно принимаетъ понятія *наибольшаго и наименьшаго*. Заключая первое начало въ понятіе наименьшаго, оно необходимо сливается съ понятіемъ наибольшаго, какъ въ безпредѣльности вселенной нѣтъ различія между центромъ и окружностью, между конечнымъ и бесконечнымъ: здѣсь все—средоточіе и это—средоточіе всѣдѣ. Вотъ въ чемъ заключается основная идея Бруно, которая вдохновляла всю его умственную дѣятельность. Предаваясь своей идеѣ, онъ становится поэтомъ; многія сочиненія его писаны стихами и часто онъ выражается фантастическими аллегоріями.

Кромѣ того, Бруно занимался усовершенствованіемъ лулловыхъ таблицъ. И здѣсь онъ выказалъ свои глубокія соображенія. Его таблицы имѣютъ высшее значеніе; онъ изображаютъ систему общихъ представлений. Бруно исходитъ отъ общихъ данныхъ идей; приводя все къ одной жизни, къ одному разуму, онъ хотѣлъ подчинить этому общему разуму всѣ духовные подраздѣленія и такимъ образомъ составить логическую философію, предметомъ которой онъ почиталъ «вселенную въ ея отношеніяхъ къ истинному, познаваемому и разумному». Главное его стараніе состояло въ томъ, чтобы согласить предметы разума съ предметами дѣйствительности, умственная представ-

лениа съ вещами видимыми или подлежащими чувственному наблюдению. Такимъ образомъ, Бруно оставилъ намъ въ своихъ таблицахъ замѣчательную, хотя и неудачную попытку, въ которой онъ старался показать въ полной логической системѣ соотвѣтствіе творческой мысли съ чувственными изображеніями виѣшней природы.

Ванини (1586 — 1619), какъ и Бруно, принадлежитъ къ числу несчастныхъ мучениковъ науки: и онъ скитался изъ стороны въ сторону, безъ вѣрного пріюта, безъ постояннаго крова, то въ Германіи, то во Франціи, то въ Англіи. Въ Италіи онъ навлекъ на себя подозрѣніе папскихъ лазутчиковъ преподаваніемъ философіи природы и богословскими спорами. Избѣгая неминуемыхъ преслѣдований, онъ искалъ пріюта во Франціи; но и здѣсь мнѣнія его нашли непримирымыхъ враговъ. Ванини обвинили, какъ богоотступника; напрасно увѣрялъ онъ, что признаетъ католическую церковь, напрасно, въ отвѣтъ на грозный обвиненія, онъ поднималъ съ земли соломенку и говорилъ, что и она уже въ состояніи убѣдить его въ существованіи Божіемъ,—ничто не могло спасти его: въ Тулузѣ ему готовилась смерть; новый костеръ, воздвигнутый злобою непримирымыхъ враговъ, ожидалъ непреклоннаго Ванини; но прежде казни еще пала чь вырвалъ дерзкій языкъ отважнаго философа, это грѣшное орудіе его преступленій.

Ванини отдаѣляетъ философію отъ богословія; до сихъ-поръ философія схоластиковъ служила подпорою теологии; но католическая религія не признавала правъ

науки, церковь отдѣлилась отъ свободнаго изслѣдованія и сохранила одно только діалектическое искусство; наука нашла своихъ защитниковъ въ лицѣ Ванини и Бруно.

Ванини болѣе остроуменъ, нежели глубокъ; онъ излагалъ свои сочиненія въ видѣ разговоровъ, въ которыхъ иногда трудно рѣшить, какое мнѣніе принадлежитъ ему. Онъ принимаетъ божественность природы и механическое происхожденіе вещей. Доказывая мнѣніе, противоположное правиламъ католического ученія, онъ всегда подчиняетъ свое убѣжденіе постановленіямъ религіи. Наказывая костромъ и плахой такое смиреніе разума передъ вѣчными, но непостижимыми истинами вѣры, католическая церковь не соблюдала собственныхъ выгодъ, стараясь, можетъ-быть, подвести законы божественныхъ истинъ подъ законы человѣческихъ соображеній. Но въ этомъ случаѣ папа и церковь ошибались, потому-что казнями и пыткою доказывали соответствие и согласіе религіи съ условными законами ограниченаго, человѣческаго мышленія, не думая о томъ, что божественная истина всегда выше нашего слабаго, близорукаго понятія, и потому, непостижимая для смертнаго ума, требуютъ вѣры и смиренія; но вѣра и смиреніе въ лицѣ Ванини наказывались приговоромъ, костромъ и плахою.

Желаніе католиковъ подтвердить религію философическими доводами обнаруживается также въ любопытномъ судѣ Петра Рама (Pierre de la Ram e, Petrus Ramus). Онъ сперва занимался философиєю Аристотеля, но впослѣдствіи сдѣлался страшнымъ сопер-

никомъ всѣхъ его послѣдователей. Онъ уже въ первомъ публичномъ диспутѣ своеемъ доказывалъ, что все ученіе Аристотеля ложно. Обладая рѣдкими, діалектическими способностями, онъ вышелъ побѣдителемъ изъ этого спора. Но католическая церковь, какъ мы уже выше замѣтили, подкрѣпляла свое ученіе философіею Аристотеля и потому не могла оставить безъ вниманія такого опаснаго соперника. Рама предали суду. Сперва, когда судъ производился въ парламентѣ, дѣло клонилось въ пользу Рама; тогда враги его отсторонили конечное рѣшеніе и успѣли передать разсмотрѣніе спорнаго вопроса особенной комиссіи, которая состояла изъ предсѣдателя и четырехъ судей, двухъ, назначенныхъ Рамомъ, и двухъ, избранныхъ его противникомъ Говеаномъ (Goveanus). Самъ король избралъ предсѣдателя. Такіе споры возбуждали вниманіе публики въ высшей степени; многіе изъ нихъ отличались своими забавными побужденіями; такъ, напримѣръ, происходила упорная тяжба между двумя партіями, изъ которыхъ одна утверждала правильность прямаго произношенія «quidam», «quoque», «quoniam»; а другая перемѣняла это произношеніе, выговаривая «kidam», «koke», «koniam». Подобный сему, не менѣе горячій споръ, въ который тоже наконецъ вмѣшалось правительство, состоялъ въ вопросѣ: можно-ли слово «ego» отнести и къ третьему лицу, такъ-какъ къ первому, то-есть, можно-ли, напримѣръ, сказать «ego amat», по примѣру того, какъ говорятъ «ego amo»? Въ первый день суда, Рамъ утверждалъ, что логика Аристотеля не основательна, потому-что „Органонъ“ его на-

чинается не съ опредѣленія. Вслѣдствіе такого возраженія комиссія рѣшила, что въ диссертациі опредѣленіе необходимо, но въ діалектицѣ можно и обойдти безъ него. На другой день Рамъ говорилъ, что въ логикѣ Аристотеля не достаетъ раздѣленія, которое во всякомъ случаѣ необходимо. Эта злая выходка смущила судей и они рѣшились уничтожить начатое слѣдствіе. Рамъ протестовалъ, но, не смотря на то, его обвинили, и приговоръ былъ разосланъ по всѣмъ академіямъ Европы.

Много было въ эту эпоху еще замѣчательныхъ людей, которые большею частію тоже принадлежать къ исторіи философіи; укажемъ хоть на имена Монтаня и Маккіавеля. Но они имѣли только косвенное вліяніе на философію; всѣ ихъ сочиненія относятся болѣе къ общему ходу просвѣщенія и образованности, нежели къ собственному значенію философіи. Они разсматривали различные вопросы, касающіеся жизни, общественныхъ правъ и человѣческаго быта; они почерпали свои наблюденія изъ чаши опыта и вникали въ тайныя пружины страстей и движений человѣческихъ. Но высшіе вопросы философіи, по прямому ихъ направленію, оставались для нихъ посторонними, и потому они не относятся къ общей цѣли нашего обзора (*).

(*) Обѣщанного авторомъ продолженія этихъ статей, (*О философіи въ вѣкѣ Лютера и о новѣйшихъ германскихъ философахъ*)—не было. Прим. А. Т.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ТЕЛЬ.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Сочинение Шиллера. Переводъ Θ. Миллера.

(Библ. д. Чт. 1845 г. № 2).

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Поговоримъ . . .

О Шиллерѣ, о славѣ, о любви.

А. Пушкинъ.

Есть какіе-то особенно счастливыя имена литераторовъ: ихъ любятъ, ихъ произносятъ съ особеннымъ участіемъ, съ любовью именно, когда другія возбуждаютъ чувство удивленія, благоговѣнія, если угодно, но не любви. Что-то похожее на любовь дѣтскую и родительскую видимъ въ нашемъ безкорыстномъ чувствѣ къ любимымъ авторамъ нашимъ. И не всегда самые любимые суть самые великие, или говоря яснѣ, чувства любви нельзя принимать мѣрою сравнительнаго достоинства авторовъ. Мы говоримъ не о

тѣхъ, которыхъ любимъ мы, какъ милыхъ намъ друзей, родныхъ, потому-что они близки намъ по какому нибудь отношению частному. Такова бываетъ привязанность къ родной пѣснѣ, основанная на чувствѣ любви къ родинѣ, на личныхъ воспоминаніяхъ нашихъ. Таково чувство, которое заставляетъ восхищаться простою драмою, когда огромное трагическое созданіе остается непонятнымъ, чуждымъ для насъ. Беремъ размѣръ далѣе, и для примѣра—двухъ русскихъ современныхъ поэтовъ, Жуковскаго и Пушкина. Сомнѣнія нѣть, что сравниваемые по безотносительному достоинству они не равны: Пушкинъ выше Жуковскаго, какъ мыслитель и поэтъ. Но никогда творенія Пушкина не пріобрѣтали и не пріобрѣтутъ той любви, которою возбуждали и всегда будуть возбуждать творенія Жуковскаго. Такъ въ англійской словесности уважаютъ Соутея и любятъ Мура; въ германской признаютъ достоинства другихъ, но любятъ Шиллера, и не такое-ли чувство возбуждаетъ Шиллера во всѣхъ чужеземцахъ, которые узнаютъ его? Здѣсь нѣть уже чувства родины, нѣть нашихъ частныхъ отношеній, но въ чемъ-же скрывается причина? Изслѣдователь такой вопросъ любопытно, тѣмъ болѣе, что для него надобно разсмотрѣть поэта, его творенія и его жизнь (мы уже знаемъ, что одно взаимно поясняется другимъ, и взятое отдельно будетъ не полно). Подобное разсмотрѣніе всегда поучительно. Но кромѣ того здѣсь можно коснуться одного изъ современныхъ вопросовъ искусства, вопроса важнаго, потому-что ложное решеніе его губить теперь современное искусство. Будемъ крат-

ки въ нашихъ изъясненіяхъ, предполагая, что читатели наши уже предварительно знаютъ данные, то есть, твореніе Шиллера и современное состояніе европейской критики и эстетики.

Іоганнъ Христофоръ Фридрихъ Шиллеръ родился въ городкѣ Марбахѣ, въ Виртембергскомъ герцогствѣ, въ половинѣ прошлаго столѣтія, октября тридцатаго (стараго стиля) 1759 года отъ частныхъ простыхъ родителей: отецъ его былъ полковой хирургъ, уроженецъ виртембергскій, а мать—дочь хлѣбника. Послѣ ахенскаго мира, въ 1757 году, когда баварскій полкъ, гдѣ служилъ отецъ Шиллера, переформированъ, возвратился онъ на родину въ Виртембергъ, и опредѣлился прaporщикомъ въ полкъ принца Людовика. Находясь въ корпусѣ союзныхъ войскъ въ Богеміи, въ ужасное время Семилѣтней Войны, онъ заслужилъ любовь и уваженіе общее и замѣнялъ врача при пособіи раненнымъ, и пастыря, утѣшая страждущихъ на одрѣ скорби и смерти. Съ 1759 года находясь при виртембергскомъ нейтральномъ корпусѣ въ Гессайнѣ и Тюрингенѣ, онъ старался дополнить чтеніемъ и ученьемъ свое недостаточное образованіе. По окончаніи войны находясь въ Людвигсбургѣ, онъ обратилъ на себя благосклонность герцога Карла Виртембергскаго своими познаніями въ садоводствѣ. Мать Шиллера была нѣмецкая *добрая хозяйка* (*gutmüthige Hausfrau*), умная женщина, которой нѣкогда было читать при заботахъ о хозяйствѣ; но въ свободные часы наслажденіе ея составляли одинакожъ стихотворенія Уса, Геллерта и духовныя пѣснопѣнія. Рожденіе единственнаго

сына умножило семейное счастіе родителей Шиллера, уважаемыхъ и любимыхъ всѣми знатными ихъ. Они приложили всевозможныя попеченія о воспитаніи сына, положивъ въ основаніи его благочестіе и нравственность. Въ 1765 году переселились они въ Лорхъ, гдѣ почтенный пасторъ Мозерь былъ первымъ наставникомъ юнаго Шиллера въ теченіи трехъ лѣтъ, а самъ пасторъ — первымъ никогда незабываемымъ другомъ поэта. Пылкая, впечатлительная душа Шиллера до того была увлечена чувствомъ религіозности, что любимою мечтою его сдѣлалось тогда желаніе быть пасторомъ; въ 1768 году родители Шиллера возвратились въ Лудвигсбургъ, и здѣсь въ первый разъ дѣсятилѣтній Шиллеръ былъ въ театрѣ. Онъ говоривалъ самъ, что не можетъ выразить силы впечатлѣнія, какое произвела на него театральная сцена. Возвратясь домой, онъ бредилъ драматическими героями и принялъ писать трагедію. Между-тѣмъ онъ учился въ городской школѣ, и казался робкимъ и неловкимъ. Мало успѣвая въ урокахъ, которымъ мучилъ его воспитатель, грубый, угрюмый педантъ, Шиллеръ отличался только познаніями въ языкахъ. Нѣжно-любившій его отецъ не препятствовалъ желанію сына посвятить себѣ духовному званію, и Шиллеръ выдержалъ въ Стутгартѣ испытаніе, которымъ обратилъ на себя вниманіе герцога Карла, изъявившаго отцу его непремѣнную волю, чтобы юнаго Шиллера помѣстили въ заведенную тогда герцогомъ знаменитую штутгартскую академію (*Carls-schule*). И отецъ и сынъ услышали съ прискорбиемъ о желаніи герцога, хотя это надобно было почесть

знакомъ особеннаго благоволенія. Мечты Шиллера разрушились новымъ назначеніемъ. Ослушаться не смѣли и въ 1773 году Шиллеръ записанъ былъ въ юридическое отдѣленіе академіи. Отсюда началась борьба поэта съ міромъ, имѣвшая важное вліяніе на его дарование и даже на самую жизнь его.

По-неволѣ пред назначаемый въ юристы, Шиллеръ изрѣдка, украдкою могъ удѣлять часы своимъ любимымъ занятіямъ и положеніе его сдѣлалось еще тягостнѣе, когда въ 1773 году перевели его въ медицинское отдѣленіе академіи. Какъ-будто желая поскорѣе свергнуть съ себя иго несроднаго ему ученія, Шиллеръ оказывалъ прилежаніе и успѣхи необыкновенные. Сочиненія его: „Философія физіології“, на латинскомъ языкѣ, и другое: Ueber den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, заслуживали похвалу наставниковъ и будущій творецъ „Валленштейна“ и „Вильгельма Теля“, былъ выпущенъ изъ академіи съ званіемъ лекаря, опредѣленъ, какъ Regiments - Medicus, въ полкъ, и принужденъ дежурить въ военномъ госпиталѣ. Знавшіе тогда Шиллера рассказывали, что въ медицинской практикѣ показывалъ онъ „много ума и смѣлости, но лечиль неудачно“. Вѣримъ. Больному плохо, когда лекарь приходитъ къ нему съ планомъ трагедіи въ головѣ, съ мечтами о поэмѣ въ душѣ.

Шиллеръ родился поэтомъ и, какъ говорится, лепеталъ стихами въ колыбели. Думая сначала вступить въ духовное званіе, семь лѣтъ пробывъ потомъ въ академіи и принужденный читать Гораціевъ и Томазіевъ, или

слушать лекціи объ анатоміи и фармацевтике, онъ отдыхалъ только за твореніями древнихъ, жадно перечитывалъ Клопштока, Лессинга, Гете, Герштенберга, Лейзевица, волновавшихъ Германію реформою нѣмецкой поэзіи вообще и особенно драмы. Принужденное стараніе скрыть свои занятія, усиливали страсть Шиллера. Въ 1773 году онъ уже началъ эпическую поэму „Моисей“; потомъ трагедію „Козьма Медичи,“ что-то въ родѣ Лейзевица, „Юлія Таренскаго“, и наконецъ драму: „Студентъ Нассаускій.“ Все было брошено и сожжено. Поэтъ страдалъ, чувствуя бѣдность своихъ опытовъ, искалъ идей, составлялъ и не могъ составить плана, и „за хороший планъ трагедіи готовъ былъ отдать свой послѣдній талеръ,“ какъ говорилъ онъ впослѣдствіи. Нѣкоторыя бездѣлки безъ имени Шиллера, были тогда напечатаны въ „Швабскомъ Магазинѣ.« Шиллеръ тщательно изучалъ нѣмецкій языкъ въ лютеровомъ переводѣ библіи, и приходилъ въ восторгъ отъ героевъ Плутарха; оставляя ихъ, принимался онъ за Гарве и Гердера, и читалъ и не понималъ Шекспира, съ которымъ начали знакомить Германію Лессингъ и Гердеръ. Наконецъ тогда Шиллеръ вышелъ изъ академіи; все тогдашнее состояніе души, всѣ мечты, все свое образованіе высказалъ онъ въ „Разбойникахъ,“ явившихся съ эпиграфомъ изъ Иппократа: *Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.* (Когда лекарства не излечаютъ—лечи *желѣзомъ*, когда желѣзо не излечаетъ—лечи *огнемъ*).

Юные друзья Шиллера слушали трагедію его и во-

схищались, но онъ не зналъ, куда съ ней дѣваться. Никто изъ книгопродавцевъ не брался печатать страннаго произведенія молодаго лекаря. Онъ напечаталъ его на собственный счетъ, и съ радостю получилъ приглашеніе мангеймскаго книгопродавца Швана поставить ее на сцену на тамошнемъ театрѣ по распоряженію директора, барона Дальберга. Требовали исключений, перемѣня; Шиллеръ на все согласился и въ январѣ 1782 года „Разбойники“ были даны въ первый разъ.

Успѣхъ трагедіи былъ необыкновенный; восторгъ жителей походилъ на изступленіе. Шиллеръ присутствовалъ самъ при первомъ представлениі, и до того увлекся игрою Иффланда въ роли Франца Моора, что хотѣлъ вступить въ труппу. Дальбергъ, Шванъ, самъ Иффландъ отговорили его. „Вы должны составить славу нѣмецкаго театра, но какъ авторъ, а не какъ актеръ,“ говорилъ ему актеръ Бейль. „Клянусь въ томъ!“ отвѣчалъ восторженный поэтъ.

Съ горящею, исполненою мечтаній и плановъ головою возвратился Шиллеръ въ Штутгартъ. Здѣсь горячуку его охладилъ двухъ-недѣльный арестъ, потому что онъ ѻздилъ въ Мангеймъ, не взявши надлежащаго отпуска. Поэта могло утѣшить всеобщее вниманіе. Молодежь бредила его Карломъ Мооромъ; впечатлѣніе было такъ сильно, что въ университетахъ и училищахъ составлялись даже братства освободителей человѣчества, и клялись преслѣдовывать злодѣйства и несправедливость.

Разумѣется, такого направленія неизѣя было ни одобрить, ни позволить. „Освободителѣ человѣчества“

запирали въ карцеры, и имя Шиллера съ негодованіемъ произносили люди благочестивые. Желчные критики послѣдовали за успѣхомъ. Наконецъ послѣдовала и формальная жалоба отъ жителей Граубиндена, которыхъ въ „Разбойникахъ“ назвали „промышленниками большихъ дорогъ.“ Напрасно поэтъ оправдывался, что это говорятъ *разбойники*, и странно почитать его собственнымъ мнѣніемъ то, что влагается въ уста сценическихъ злодѣевъ. Именнымъ повелѣніемъ герцога запрещено было Шиллеру печатать что-либо другое, кромѣ медицинскихъ сочиненій.

Поэтъ не смѣлъ противорѣчить, хотя не могъ скрыть своего негодованія и не думалъ слушать приказа. Многіе біографы Шиллера старались представить отношенія виртембергскаго герцога къ Шиллеру какими-то деспотическими мѣрами. Они забыли, что герцогъ былъ тогда добродѣтельный, просвѣщенный, желавшій добра и счастья поданныхъ, Карль Евгеній, умѣвшій предохранить свое государство отъ бѣдствій Семилѣтней Войны, ничего не щадившій для науки и просвѣщенія, и покровитель родителей Шиллера. Достойный дядя нашей незабвенной благодѣтельницы сиротъ, Императрицы Маріи, онъ не думалъ преслѣдовать Шиллера, восхищался его дарованіями, но не могъ ни одобрить направленія сочиненій юнаго поэта, ни даже позволить ихъ официально. Вспомнимъ одно, что на лѣвомъ берегу Рейна уже начиналось тогда гибельное движение умовъ. „Разбойники“ казались искрою, брошенную въ молодые безрасудные головы. Герцогъ скоро узналъ, что вопреки его запрещенію

Шиллеръ вступилъ въ участіе по изданію газеты, начатой профессоромъ Абелемъ и библіотекаремъ Петерсеномъ, подъ названіемъ Виртембергскаго литературнаго реперторія (*Würtembergishes Repertorium der Literatur*), гдѣ помѣщены были, безъ имени автора, Шиллера, статьи: *Ueber das gegenwärtige deutsche Theater; der Spaziergang unter den Linden; eine grossmüthige Handlung der neuesten Geschichte*, и нѣсколько рецензій. Тогда-же онъ издавалъ съ Шейдлицомъ Антологію, написавши къ ней предисловіе отъ „Тобольскаго жителя,“ и посвятивъ его Смерти. Всѣ эти шалости поэта произвели только то, что добродушный герцогъ, не снимая запрещенія, велѣлъ Шиллеру прежде печатанія представлять стихи и прозу на его собственное разсмотрѣніе, потому-что, говорилъ герцогъ, онъ „находитъ ихъ писанными въ дурномъ вкусѣ,“ (*fand häufige Verstosse gegen den bessern Geschmack in Schillers Producten*). Это совершенно разсердило поэта, и онъ рѣшился навсегда оставить отчизну, гдѣ не было свободы его гenю. Сначала вздумалъ-было онъ просить увольненія, но получилъ отказъ. Герцогъ не хотѣлъ съ нимъ разстаться. Во время пребыванія Великаго Князя Павла Петровича въ Штутгартѣ, въ октябрѣ 1782 года всѣ заняты были праздниками; Шиллеръ ушелъ ночью пѣшкомъ изъ столицы, съ нѣсколькими талерами въ карманѣ, и подъ чужимъ именемъ онъ укрылся въ Майнингенѣ. Герцогъ не думалъ его преслѣдовать, изъявилъ искреннее сожалѣніе отцу Шиллера, что сынъ его, одаренный необыкновеннымъ талантомъ, увлекается юно-

шескою пылкостью. Все, что было потомъ писано Шиллеромъ, герцогъ всегда читалъ съ особеннымъ участіемъ, и продолжалъ покровительство отцу его, который напрасно звалъ своего сына, увѣряя, что все давно забыто. До самой кончины герцога, въ 1793 году, Шиллеръ не смѣлъ явиться въ Штутгардъ и тогда только стариkъ отецъ, со слезами радости, обнялъ своего сына, уже знаменитаго литератора въ Германіи, уже отца семейства, уже страдальца жизни по другимъ отношеніямъ, которыхъ не могъ понять добрый стариkъ. Восхищенный славою сына, онъ записалъ тогда въ своемъ молитвеннике слѣдующія трогательныя слова: *Und du Wesen aller Wesen! Dich hab'ich nach der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, dass Du demselben an Geisten Kräften zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte, und Du hast mich erhört. Dank Dir, gütiges Wesen, dass Du auf die Bitten der Sterblichen achtest.*

Бурны и тревожны были эти десять лѣтъ, про текшія со времени бѣгства Шиллера изъ отчизны. Душа его перекипала въ страстяхъ, наслажденіяхъ, лишеніяхъ, торжествахъ, паденіяхъ, и когда имя его съ почтеніемъ произносили другіе, самъ поэтъ готовъ былъ предаться отчаянію отъ сознанія своего ничтожества. Таковъ поэтъ.

Мы сказали, что Шиллеръ укрылся въ Майнингенѣ. Не желая требовать ничьей помощи, онъ нанялся въ учители дѣтей баронессы Вольцогенъ, съ старшимъ сыномъ которой былъ знакомъ въ Штутгардѣ. Безза-

ботно, съ мечтами и восторгами, прожилъ онъ цѣлый годъ въ Бауербахѣ, помѣстьѣ баронессы, написалъ Заговоръ Фіески, республиканскую трагедію (*ein republicanisches Trauerspiel*) и „Коварство и Любовь“, „мѣщанскую трагедію“ (*ein bürgerliches Trauerspiel*). Съ ними спѣшилъ онъ въ Мангеймъ—опять съ мечтами, которыя не могли осуществиться....

Таково было и на всегда осталось свойство души Шиллера; онъ не умѣль ничего ни чувствовать, ни любить въ половину. Всего себя отдавалъ онъ увлекающей его идеѣ, и съ дѣтскою довѣренностию на людей и на свои силы, принимался онъ за то, что поражало его, создавая цѣлый міръ идей, которыя мечталъ осуществить. Слѣдствіемъ такого безотчетнаго и безграничнаго стремленія всегда было разочарованіе, уныніе, упадокъ духа, даже отвращеніе отъ того, чему предавался онъ, не говоря о неровности характера и самыхъ дѣйствій. Иногда изумляя своею дѣятельностью, Шиллеръ вдругъ дѣлался беспечнымъ, невнимательнымъ. Изъ восторженной радости переходилъ онъ въ грусть, даже въ отчаяніе. То бросался къ людямъ, какъ братьямъ, видѣлъ въ знатныхъ и сильныхъ особахъ благодѣтелей, покровителей, то, разочарованный людьми, смотрѣлъ на нихъ, какъ на чудовищъ эгоизма, рабовъ суеты, и въ прежнихъ покровителяхъ и благодѣтеляхъ находилъ притѣснителей ума, угнетателей всякаго свободнаго порыва. Но разлюбить людей никогда не могла пламенная душа Шиллера, и весь упрекъ, вся тяжесть взыскательности за обманъ и разочарованіе обращались на него самого.

Онъ считалъ себя во всемъ виноватымъ, не довѣрялъ даже ни своей добродѣти, ни своему гenю. Такъ съ восторгомъ принимаясь за трудъ, онъ терялъ силы на половинѣ пути, ужасался предложавшаго подвига, готовъ былъ разрушить все уже созданное, и плакать на развалинахъ творенія, въ которое передавалъ всю свою душу, все бытіе свое.

Здѣсь разгадка Шиллера, его жизни, его твореній, перемѣнъ въ образѣ его мыслей. Такихъ людей ми-
ритъ съ свѣтомъ и съ самимъ собою — только мо-
гила....

Съ двумя трагедіями своими, съ планами другихъ, съ мыслию преобразовать театръ нѣмецкій, составить общество драматурговъ, создать актеровъ, авторовъ и публику, явился Шиллеръ въ Мангеймъ. Его при-
няли съ почестью, чтили въ немъ поэта, требовали отъ него трагедій, хотя отложили составленіе драма-
тическаго общества, предполагаемаго Шиллеромъ,
до времени. Онъ началъ тогда изданіе журнала, подъ названіемъ: Рейнская Талія (Rheinische Thalia) и въ объявленіи объ немъ говорилъ: Alle meine Verbin-
dungen sind nun mehr aufgelöst. Das Publicum ist
mir jetzt Alles, mein Studium, mein Souverain, mein
Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Vor die-
sem und keinem andern Tribunal werde ich mich
stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Et-
was Grosses wandelt mich an bei der Vorstellung,
keine andere Fessel zu tragen, als den Ausspruch der
Welt — an keinen andern Thron mehr zu appelliren
als an die menschliche Seele. Den Schriftsteller über-

hüpfe die Nachwelt, der nicht mehr war, als seine Werke.... Дѣвъ новые трагедіи Шиллера и журналъ его встрѣчены были всеобщими похвалами публики, злостью критиковъ, и пересудами благоразумныхъ людей, которые кричали, что Фіеско и Коварство и любовь, обѣ — продолженіе Разбойниковъ. Шиллеръ думалъ только обѣ успѣхахъ своихъ, забывалъ обѣ людяхъ и критикахъ, хотѣлъ оправдываться новыми созданіями, и — ничего не могъ создать. Онъ думалъ тогда писать вторую часть „Разбойниковъ“, которая оправдала бы первую, началъ трагедію Конрадинъ, передѣльвалъ Шекспировыхъ, „Макбета“ и „Тимони“, но бросилъ все, увлеченный идеей Донъ Карлоса. Сцены изъ него были напечатаны въ Таліи и обратили на Шиллера вниманіе гессенъ-дармштадтскаго двора. Онъ долженъ былъ читать „Донъ Карлоса“ при дворѣ, и здѣсь познакомился онъ съ герцогомъ Саксенъ-Веймарскимъ, другомъ и покровителемъ Вилланда и Гердера. Герцогъ пожаловалъ Шиллеру чинъ совѣтника и звалъ его въ Веймаръ. Лелѣемый судьбою, увлекаемый надеждами, Шиллеръ терзался, что ничего не могъ кончить, и рѣшился на время укрыться въ уединеніи. „Тамъ, думалъ онъ, созрѣютъ думы мои“, и уѣхалъ въ Лейпцигъ, но въ Лейпцигѣ окружили Шиллера юные обожатели его; дружбы его искали почтеннѣйшие люди. Лѣто 1785 года проведено было имъ въ веселомъ обществѣ друзей, въ Голисѣ близъ Лейпцига и памятью этого времени жизни Шиллера осталась Пѣсня радости, сдѣлавшаяся народною въ Германіи (*Freude, schöner Götterfunke Tochter aus* •

Elysium), гдѣ поэтъ такъ радостно восклицацъ: Seyd umschlungen, Millionen! Dieser Kuss der ganzen Welt! Осеню уѣхалъ Шиллеръ въ Дрезденъ. Здѣсь передѣлалъ онъ „Донъ Карлоса,“ набросалъ оставшіяся сцены *Мизантропа*, недовольный ни Моллеровы мъ, ни Шекспировы мъ *Мизантропами*. Извѣстность Калюстро, и шумъ, произведенный имъ тогда въ Парижѣ, возбудили въ Шиллерѣ мысль романа: *Духовидецъ*, котораго написалъ онъ одну первую часть. Между-тѣмъ неутомимо работалъ Шиллеръ надъ своимъ журналомъ, и наконецъ рѣшился бросить поэзію. Все сдѣланное имъ казалось ему такъ недостаточно, такъ ничтожно. Не кончивъ „Донъ Карлоса“, Шиллеръ рѣшился заняться положительными *полезными трудами*, и хотѣлъ даже приняться за давно брошенную, прежде столь ненавидимую имъ медицину. Но изысканія, какія долженъ былъ онъ дѣлать, изучая испанскую исторію для своего Донъ Карлоса, увлекли его въ новый міръ: исторія представила ему свою вѣчную драму. Воображеніе его воспламенилось геройскимъ патріотизмомъ, какой оказали въ борьбѣ съ Испаніею Нидерланды и онъ началъ свое сочиненіе: *Исторія освобождёнія Нидерландовъ*. Новый трудъ восхитилъ его. Онъ рѣшился сдѣлаться историкомъ, составилъ планъ описать всѣ важнѣйшія революціи извѣстныхъ государствъ, и спѣшилъ въ Бауербахъ, гдѣ думалъ отдохнуть, собраться съ мыслями, и куда звала его бывшая его благодѣтельница госпожа Вольцогенъ. Тамъ хотѣлъ Шиллеръ обработать планы и новой жизни и новыхъ твореній своихъ.

Бѣдный мечтатель! Неожиданный случай ждалъ его страсти. Остановясь въ Рудольштадтѣ, онъ познакомился съ почтеною дамою, госпожею Ленгфельдъ; увидавъ дватцати-лѣтнюю, прелестную дочь ея Шарлотту, онъ влюбился и забылъ всѣ свои планы. Шарлотта казалась ему ангеломъ-хранителемъ, и была дѣйствительно такова, соединяя нѣжное сердце съ пламенною головою. Она видѣла въ Шиллерѣ идеаль человѣка и поэта. Она требовала отъ него стиховъ. Поэзія отвергнутая неблагодарнымъ поэтомъ, снова воспламенила его. Новыя, прелестныя, исполненные жизни созданія поэтическія рождались по волѣ Шарлотты. Но мечта быть положительнымъ человѣкомъ соединялась тогда у Шиллера съ новымъ желаніемъ—быть супругомъ Шарлотты. Семейная жизнь казалась ему идеаломъ семейнаго счастія. Ich bin jetzt ein isolirter fremder Mensch, писалъ онъ одному изъ друзей, in der Natur herumgeirrt und habe nichts als Eigenthum besessen. Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und h auslichen Existenz. Ich habe seit vielen Jahren kein ganzes Glück gef uhlt, und nicht sowohl, weil mir die Gegenst nde dazu fehlten, sondern darum, weil ich die Freuden mehr nahte, als genoss, weil es mir immer an gleicher und sanfter Empf anglichkeit mangelte, die nur die Ruhe des Familiensleben giebt. Совѣты госпожи Вольцогенъ утвердили Шиллера въ его новомъ рѣшеніи, и онъ отправился въ Веймаръ, предполагая получить мѣсто профессора исторіи въ іенскомъ университетѣ, откуда Эйхгорнъ, тогдашній профессоръ исторіи, просилъ увольненія.

Шиллеръ провелъ нѣсколько счастливыхъ дней въ Рудольштадтѣ и спѣшилъ къ цѣли своего путешествія. Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in That schwer geworden, писалъ онъ. Ich habe dort viele schöne Tage gelebt....

Дружескій пріемъ Гердера и Виланда, благосклонность герцога и герцогини Амаліи, незабвенной тѣмъ покровительствомъ наукѣ и просвѣщенію, которое доставила Веймару название германскихъ Афинъ, и всеобщее уваженіе, съ какимъ встрѣтили Шиллера, очаровали его. Онъ потерялъ даже тогда свою всегдашнюю робость и неловкость при сближеніи съ незнакомыми, особенно знатными людьми. Его изумила простота обращенія при герцогскомъ дворѣ. Гёте жилъ уже въ Веймарѣ съ 1776 года, и въ 1779 году получилъ чинъ тайного совѣтника. Гердеръ переселился въ Веймаръ 1775 году, и имѣлъ званіе придворнаго проповѣдника, генераль-суперъ-интенданта, и консисторіального совѣтника. Виландъ, бывшій воспитателемъ двухъ саксенъ-веймарскихъ принцевъ, переселился въ Веймаръ съ 1772 года: Шиллеръ Гёте не засталъ тогда въ Веймарѣ; онъ былъ въ Италіи. Гердеръ и Виландъ приняли Шиллера какъ старого друга. Благоговѣйно смотрѣлъ Шиллеръ на знаменитаго Гердера, но старикъ Виландъ, не смотря на лѣта казался добрымъ ровесникомъ Шиллеру. Wieland ist jung wenn er liebt, говорилъ обѣ немъ Шиллеръ. Дѣятельное участіе принялъ Шиллеръ въ „Нѣмецкомъ Меркуріи“ и напечаталъ въ немъ: die Götter Griechenlands, Художниковъ, отрывки изъ Исторіи осво-

божденія Нидерландовъ, письма о Донъ Карлосѣ и проч. Изъ Оберона Виландова принимался онъ тогда дѣлать оперу. Бесѣды съ Виландомъ увлекли Шиллера въ міръ Греціи. Онъ влюбился въ древнюю Элладу, перевель Эвріпідову *Іфігенію въ Аевиді* и часть его Фінікіанокъ, хотѣль потомъ переводигъ Эсхілова „Агамемнона.“ Съ особыеннымъ удовольствіемъ принято было прошеніе его въ іенскомъ университетѣ. „Мнѣ кажется, что я переселенъ въ Афины,“ писалъ Шиллеръ, живя съ людьми, которыми гордится Германія!“ Испросивъ себѣ годъ времени на приготовленіе къ должности, Шиллеръ поѣхалъ въ Бауербахъ и Рудольштадтъ. Здѣсь неожиданно встрѣтилъ онъ Гёте. Первое свиданіе не было благопріятно. Шиллеръ увидѣлъ господина тайного совѣтника Гёте въ большомъ обществѣ, гдѣ онъ явился блестящимъ, придворнымъ человѣкомъ, и испугалъ бѣднаго, робкаго Шиллера своею свѣтскою любезностью, своимъ живымъ разговоромъ, своими рассказами объ Италіи, откуда Гёте тогда возвращался. „Вообще идея о величії Гёте, какую составилъ я себѣ, не измѣнилась отъ личнаго знакомства моего съ нимъ,“ писалъ Шиллеръ, но сомнѣваюсь, чтобы когда-нибудь могли мы съ нимъ сблизиться. Многое что еще занимаетъ меня, чего я желаю, что я надѣюсь, уже кончилось для Гёте. Онъ не такъ созданъ какъ я. Его свѣтъ не мой свѣтъ, и нашъ образъ воззрѣнія кажется существенно различенъ. Тутъ ничего не можетъ быть ни вѣрнаго, ни основательнаго. Впрочемъ, время покажетъ чего ожидать далѣе.“

Весною 1789 года Шиллеръ занялъ свое профессорское мѣсто. Въ февралѣ 1790 года женился онъ на своей Шарлоттѣ.

Самое счастливое было это время въ жизни Шиллера. Ему совершилось тогда тридцать лѣтъ. Десять лѣтъ прожилъ онъ въ Іенѣ, и здѣсь любовь супруги, рожденіе двухъ сыновей и двухъ дочерей, спокойное занятіе, обѣзпеченное еостояніе, такъ, что онъ могъ купить себѣ домикъ и садъ въ окрестностяхъ Іены, все могло успокоить тревожную душу поэта. Кромѣ поѣздки въ Штутгартъ для свиданія съ отцемъ (который скончался въ 1796 году), и частыхъ поѣздокъ въ Веймаръ, Шиллеръ не оставлялъ Іены, гдѣ окружало его избранное общество друзей, и обожали его многочисленные ученики. Палусъ Шютцъ, Гуфеландъ, Рейнгольдъ, братья Гумбольдты были всегдашними собесѣдниками Шиллера. Его умъ, знаніе, характеръ, дѣлали дружескія связи съ нимъ столь крѣпкими, что, разставаясь съ нимъ, друзья продолжали бесѣдоватъ съ нимъ письменно и потому переписка Шиллера составляетъ драгоцѣнную психологическую и литературную лѣтопись жизни многихъ замѣчательныхъ людей Германіи его времени. Съ сердечною признательностью поддерживалъ Шиллеръ сношенія свои съ тогдашнимъ княземъ — примасомъ гросъ-герцогомъ франкфуртскимъ, и съ благодарностью видѣлъ знакъ особеннаго уваженія, какой оказали ему наслѣдный принцъ гольштейнъ-августенбургскій, и датскій министръ графъ Шиммельманъ, опредѣленіемъ пенсіи, по 1000 талеровъ въ годъ и присылкою ея впередъ за три года. Вотъ что говорилъ Шиллеръ о

своей тогдашней жизни: Jetzt erst geniesse ich die schöne Natur ganz, und lebe in ihr. Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt sich's wieder in meiner Brust. Was für ein schönes Leben führe ich jetzt! Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Herz findet eine immerwährende sanfte Befriedigung auser sich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen mir diese Tage dahin. Meinem künftigen Schicksale sehe ich mit heiterem Muth entgegen; jetzt, da ich um erreichten Ziele stehe, erstaune ich selbst, wie Alles doch über meine Erwartungen gegangen ist. Das Schicksal hat die Schwierigkeiten für mich besiegt, es hat mich zum Ziele gleichsam getragen. Von der Zukunft hoffe ich alles. Wenige Jahre und *ich werde im vollen Genüsse meines Geistes leben*, ja, ich hoffe, *ich werd' wieder zu meiner Jugend zurückkehren*, ein inner Dichterleben giebt mir sie zurück!

Увы! не суждено было сбыться мечтамъ поэта! Ни дружба, ни любовь, ни счастье семейной жизни не спасли его, не возвратили ему его поэтической юности.

Уже съ 1791 года, онъ началъ чувствовать ослабленіе здоровья, часто бывалъ боленъ, и особенно страдалъ грудною болѣзнью. Несмотря на то онъ трудился безпрерывно. Кромѣ лекцій тщательно приготовляемыхъ, Шиллеръ участвовалъ во многихъ предпріятіяхъ литературныхъ; писалъ рецензіи въ ленскія Итературныя

Вѣдомости; занимался изданіемъ „Записокъ“, которыхъ напечаталъ двѣнадцать томовъ, съ 1790 до 1801 года, Паулусъ и Вольтманъ, и Нѣмецкаго Плутарха. Журналъ, начатой имъ подъ именемъ „Рейнской Таліи“, потомъ продолжаемый подъ именемъ просто Таліи, прекратился въ 1791 году. Два слѣдующія года выдавалъ онъ Новую Талію, а въ 1795 году предложилъ Гёте, Гумбольдту, и всѣмъ современнымъ знаменитостямъ, издавать журналъ „лучшій, какой только можно составить“. Подъ именемъ : Часы (Uhren) журналъ этотъ выходилъ до 1797 года. Въ 1797 году Шиллеръ началъ Альманахъ Музъ. Первая часть Духовидца выдана была въ 1789 году; его перепечатывали иѣсколько разъ, но напрасно публика требовала продолженіе романа, и книгопродавцы давали дорогую цѣну за его рукопись:—Шиллеръ не могъ ни продолжать ни кончить его. Такъ не оканчивалъ онъ своей „Исторіи освобожденія Нидерландовъ“, начало которой издано было въ 1788 году. Ревностно взялся онъ за предположеніе написать Исторію Тридцатилѣтней Войны, но написалъ также только начало, помѣщенной въ „Историческомъ Альманахѣ“ 1791 года. Тщетно просили у него продолженія послѣ необыкновенного успѣха начала.

Все это не показываетъ-ли, что перемѣна жизни и общественныхъ отношеній не укротила тревожнаго бурнаго духа Шиллера? Да, онъ не укротился, былъ и остался прежній, тревожный, восторженный, недовольный собою, обвиняющій себя.

Трудъ не убиваетъ, какъ ни былъ бы онъ великъ,

если онъ уравновѣшень съ силами и если духъ человѣка самодоволенъ. У Шиллера не было ни того ни другаго условія.

Онъ убивалъ себя чрезмѣрностью труда, несоразмѣрностью его съ тѣлесными силами и еще болѣе беспорядкомъ своихъ занятій. День Шиллера посвященъ былъ обществу друзей, прогулкѣ, семейству, чтенію, отдыху, съ наступленіемъ ночи онъ садился за работу, просиживалъ до утра, для подкѣплѣнія бодрости силь пилъ шеколадъ, кофе, шампанское. Голова его горѣла, мысли кипѣли, и слабое тѣло сгорало въ огнѣ духа. Сосѣди видали иногда, какъ онъ одинъ, среди ночной тишины, ходилъ, бѣгалъ по комнатѣ, читалъ, декламировалъ, говорилъ и разсуждалъ самъ съ собою, принимался писать, и бросая перо, сидѣлъ въ глубокой задумчивости.

Когда имя его знала вся Европа, когда въ Россіи и во Франціи восхищались его твореніями, даже въ плохихъ переводахъ, когда каждую строчку Шиллера повторяла вся Германія, онъ отчаялся иногда въ своемъ призваніи, утопалъ въ изслѣдованіяхъ, размышленіяхъ, не рѣшалъ ничего, начиналъ и не окончива—стремился къ несбыточнымъ идеаламъ....

Все раздражало его гений. Такъ событія съ 1789 года во Франціи, ужасы революціи, война начавшаяся на благословенныхъ берегахъ Рейна, неудачи союзныхъ государей, гибель, грозившая основаніямъ вѣры и закона, ужасали и воспламеняли Шиллера. Онъ жилъ жизнью человѣчества и страдалъ его страданіями. Съ негодованіемъ услышалъ онъ, что имя его причислили

къ числу кровожадныхъ демагоговъ; съ восторгомъ играли его „Разбойниковъ“ въ Парижѣ въ кровавый 1793 годъ, и народное собраніе опредѣлило послать ему дипломъ на званіе гражданина французской республики. Когда погибель угрожала Людовику Шестнадцатому, Шиллеръ хотѣлъ писать въ защиту его, перевѣсть свое сочиненіе на французскій языкъ, и распространить его во Франціи. „Не образумить-ли свободная, обдуманная рѣчь моя эти безумныя головы? Какаго усовершенствованія требовать человѣку, если избранные будутъ молчать? Бываютъ времена, когда должно говорить и теперь настало это время.“

Но мечтая примирять царей и народы, поэтъ не могъ примириться съ самимъ собою.

Несмотря на рѣшеніе заниматься исторіею, на то, что занятіе ею, составляло даже обязанность его, онъ опять колебался между выборомъ главныхъ своихъ трудовъ, а историческое поприще такъ далеко раздвигалось передъ нимъ, что сдѣлалось наконецъ необъемлемымъ. „У насъ, новѣйшихъ, исторія вышла изъ предѣловъ, какіе назначили ей древніе, ограничиваясь только сочувствіемъ роднаго, говорилъ Шиллеръ. Такъ бываетъ только въ дѣтствѣ народовъ, въ юности обществъ. Совсѣмъ другое представляютъ намъ дѣянія человѣчества. Какой бѣдный, мелкій идеаль—писать для того или другаго народа. Духъ философа переступаетъ тѣсныя границы. Онъ не останавливается на одномъ какомъ-нибудь вопросѣ: (а что другое самые великие народы?) Онъ смотрѣть на нихъ, какъ на части цѣлаго, всеобщаго.“

Опять недостижимый идеалъ! Здѣсь видимъ сильное впечатлѣніе, какое произвело на Шиллера знакомство съ Кантовою философіею. Другъ его Рейнгольдъ, изъяснитель Канта, ввелъ его въ эту, дотолѣ неизвѣстную ему, очарованную страну, область мысленія. Критика Канта разрушила все, что прежде казалось Шиллеру такъ твердо, такъ незыблемо. Увлеченный силою логики кенигсбергскаго мыслителя, Шиллеръ думалъ, что люди, не понимающіе Канта, затрудняются только тяжелымъ изложеніемъ его. Онъ хотѣлъ изложить Канта по-свбему, испытывалъ силы въ философическихъ разсужденіяхъ, и наконецъ рѣшился писать новую Феодицю.

Все это время драма была забыта, хотя отъ поэзіи Шиллеръ не отказывался. Онъ писалъ лирическія произведенія. Чтеніе Гомера сдѣлалось въ одно время его любимымъ чтеніемъ. „Почти ничего не читаю я кроме Гомера“ писалъ онъ. „Чтеніе древнихъ-истинное наслажденіе. Zugleich bedarf ich ihrer im hōchsten Grade, um meinen eigenen Geschmack zu reinigen, der sich durch Spitzfindigkeit, Künstlichkeit und Witzelei sehr von den wahren Simplicität zu entfernen anfing.“ Слѣдствіемъ такого взгляда былъ переводъ изъ Энеиды двухъ отрывковъ, октавами. Нѣмецкій гекзаметръ казался Шиллеру не выражающимъ простоты и прелести гекзаметра древнихъ. Онъ думалъ тогда объ эпопеѣ, уверенный, что новѣйшая эпопея можетъ существовать; предметомъ поэмы избиралъ онъ Фридриха Великаго, и хотѣлъ писать октавами. „Надобно, чтобы поэму пѣли какъ греки пѣли Илліаду, какъ гондолье-

ры венецианскіе поютъ освобожденный Іерусалимъ.“

— „Недавно перечиталъ я снова Неиставаго Орлана, и не могу выразить довольно какъ уладило меня чтеніе его. Тутъ жизнь и движение, краски и чувство; — забывая себя, живешь полною жизнью и опять уладительно возвращаешься въ себя, плаваешь въ нѣдрахъ безконечной стихіи, сбрасываешь съ себя свое я и болѣе сочувствуешь потомъ самому себѣ....“

Но ссоры поэтовъ, съ своимъ главнымъ назначеніемъ, всегда ссоры любовниковъ, начинаемыя только для того, чтобы любить потомъ еще болѣе прежняго. Мирятся, когда думаютъ ненавидѣть другъ друга. Съ жаромъ принявшихъ за исторію Тридцатилѣтней Войны, Шиллеръ плѣнился характеромъ Густава Адольфа. Воображеніе Шиллера облекло тѣнь шведскаго героя въ живые образы, и мысль о трагедіи вспыхнула въ душѣ его. Вскорѣ первая идея измѣнилась, и Валленштейнъ такъ очаровалъ поэта, что въ 1792 году началъ онъ драму изъ его жизни и весь отдался ей. Но никогда прежде не казалось ему созданіе драмы столь труднымъ. Семь лѣтъ употребилъ Шиллеръ на сочиненіе *трилогіи*, какъ назвалъ онъ прологъ (*Лагерь Валленштейна*) и двѣ части своего драматического стихотворенія (*Dramatisches Gedicht*), Пикколомини и Смерть Валленштейна. Что затрудняло поэта?

Съ пылкостью юноши увлеченный предметомъ драмы, онъ не былъ удовлетворенъ тѣмъ, что создавалъ. Думая, что теоретическое изслѣдованіе поведетъ его къ цѣли, бросилъ онъ свое начало, и принялъся за Аристотеля, за исторію, за теорію эстетики, за древнихъ

и новыхъ. Все казалось ему здѣсь такъ просто, такъ понятно, и ничтѣ не мирилось съ исполненіемъ на дѣлѣ. Оставляя теоріи, онъ опять видѣлъ простоту созданія и страшился теоретического воззрѣнія. „Въ Донъ - Карлосъ я хотѣлъ замѣнить идеаломъ прекрасную простую истину, а въ Валленштейнѣ хочу испытать простую истину безъ идеаловъ. Хочу, чтобы мои созданія, моя драма были просто живыя. Формы дасть имъ предметъ — душу вдохну я.“ — „Въ дѣлѣ искусства я чувствую мои силы, но теорія всегда мучитъ меня правилами. Тутъ я только плохой ученикъ, и тогда только, когда дѣло приводить меня къ философіи, охотно перехожу въ теорію.“ — „Этотъ Валленштейнъ заставляетъ меня бояться и трепетать. Какъ поэтъ ничего не могу создавать, а едва начинаю философствовать, проходитъ поэтическій восторгъ. Что мнѣ дѣлать? Созданное мною прежде не ободряетъ меня. Иду по дорогѣ совершенно для меня новой и неизвѣстной. Какъ поэтъ, я сдѣлался въ послѣднее время совершенно другимъ человѣкомъ.“ — „Критика причинила мнѣ много зла. Она лишила меня смѣлости, живаго огня, которые прежде у меня были и замѣнили мнѣ всѣ правила.“ Но сознаніе силы гenія высказывается въ дальнѣйшей мысли Шиллера. Ich sehe mich jetzt *erschaffen* und *bilden*, говорить онъ, ich beobachte das Spiel der Begeisterung, und meine Einbildung betr  gt sich mit minder Freiheit, seitdem sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiss. Bin ich aber erst so weit, das mir Kunstm  ssigkeit zur Natur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen

die Erziehung, so erhält auch die Phantasie ihre Freiheit wieder zurück und setzt sich keine andere als freiwillige Schranken.

И такой периодъ жизни наступилъ для Шиллера. Въ 1796 году кончилъ онъ Валенштейна. Время сомнѣй миновалось. „Искусство сдѣлалось ему природою. Воображение возвратило себѣ прежнюю свободу, и только своею волею опредѣляло границы.“ Это сознаніе отозвалось обиліемъ созданій. Уже не въ неясныхъ пла-нахъ, но въ свѣтлыхъ, полныхъ жизнью образахъ являлись идеи поэта. Онъ узналъ свое прямое назначеніе.

Дорого заплатилъ Шиллеръ за этотъ міръ идеи съ формами, идеаловъ съ сущностью. Здоровье его совершенно разстроилось и возбуждало живыя опасенія семейства и друзей. Онъ долженъ былъ отказаться отъ профессорскаго мѣста потому, что не могъ читать и говорить долго и громко. Здѣсь Гёте показалъ, что съ силою генія соединялъ онъ сердце человѣка. Всегда онъ любилъ Шиллера, какъ сына, какъ дитя. Многимъ былъ Шиллеръ обязанъ Гёте по своему образованію въ послѣдніе годы. Немного книгъ, столь поучительныхъ для воспитанія поэта и художника найдемъ мы, какъ переписку Гёте съ Шиллеромъ, начавшуюся съ 1794 года, и продолжавшуюся до самой смерти Шиллера (она издана въ Штутгартѣ, въ 1829 году, подъ названіемъ: *Briefwechsel zwischen Schiller und Götthe in den Jahren 1796 bis 1805*). Слыша, что стѣсняемый обстоятельствами, Шиллеръ опять рѣшается принять должность профессора въ Тюбенген-

скомъ университетѣ, предлагавшемъ выгодныя условія, Гёте выпросилъ у герцога Веймарскаго значительное жалованье Шиллеру, совершенно обеспечившее его, и звалъ его въ Веймаръ, гдѣ онъ долженъ былъ участвовать только въ устройствѣ театра. Шиллеръ не соглашался, хотѣлъ наконецъ жить въ Веймарѣ только зимою, а лѣто проводить въ своемъ Іенскомъ садикѣ. Убѣдительныя просьбы Гёте и герцога Веймарскаго склонили Шиллера, въ 1799 году, на совершенное переселеніе въ Веймаръ. Здѣсь окружили его всѣми попеченіями дружбы и пособіями медицины. Шиллеръ, казалось, воскресъ духомъ и тѣломъ.

Шесть лѣтъ, прожитыхъ Шиллеромъ въ Веймарѣ, были торжествомъ его. Неразлучный собесѣдникъ Гёте, онъ былъ принятъ въ домашній кругъ герцога, въ 1802 году пожаловавшаго ему дворянское достоинство. Стариkъ Виландъ, добрый и свѣжій, развлекалъ своею бесѣдою тѣлесныя страданія и душевную грусть, терзавшія иногда Шиллера при мысли о близкой разлукѣ съ жизнью, съ милыми ему людьми, съ тѣмъ, чего онъ не успѣлъ высказать. Трудъ былъ также наслажденіемъ и развлеченіемъ поэта, и нельзя не изумляться обилию созданій его въ то время. Въ 1799 году данъ былъ на театрѣ веймарскомъ Валленштейнѣ; въ 1800 году Марія Стuardъ; въ 1801 году Орлеанская Дѣва; въ 1803 году Мессинская Невѣста, а въ 1804 году Вильгельмъ Телль. Они какъ будто не написались, но подобно Минервѣ, вышедшей изъ головы Зевеса, выходили изъ души поэта готовыя.

Каждое изъ этихъ созданій было новымъ вѣнкомъ

10*

Шиллера, но тѣмъ не ограничивались труды его. Переводъ Расиновой Федры, Шекспирова Макбета, Гоцциева Турандота и двухъ комедій Пикара, дополняли рядъ его собственныхъ созданій. Онъ какъ будто спѣшилъ высказать себя, спѣшилъ испытать всѣ разнообразные роды драмы, и геній его свободно обнималъ классическую трагедію и драму Шекспира, італіанскій фарсъ и трагедію древнихъ.

Въ 1797 году Шиллеръ началъ свои баллады, и рядъ прекрасныхъ созданій образовали его: *Пиръ побѣдителей*, *Сѣтованіе Цереры*, *Поликратовъ перстень*, *Ивиковы журавли*, *Геро и Леандръ*, *Кассандра*, *Водолазъ*, *Рыцарь Тогенбургъ*, *Битва съ дракономъ*, *Желѣзный заводъ*, *Графъ Габсбургскій*, *Перчатка*.

Въ 1804 году, по случаю праздниковъ, которыми ознаменовано было прибытие въ Веймаръ супруги наследного принца, великой княгини Маріи Павловны, Шиллеръ написалъ лирическую интермедію: *Благовѣніе искусствъ*, представленную на веймарскомъ театрѣ двѣнадцатаго ноября.

Нѣсколько плановъ и начатыхъ трагедій найдено было въ бумагахъ Шиллера. Отдавши на театръ „Вильгельма Телля“, онъ неутомимо занимался *Дмитріемъ Самозванцемъ*. Двѣ другія драмы были: *Варбекъ* и *Die Kinder des Hauses*, кромѣ Мальтійского рыцаря, начатаго имъ за нѣсколько лѣтъ прежде.

Но уже онъ былъ жилецъ не здѣшняго міра. Несчастная привычка заниматься по ночамъ, отъ которой не могъ онъ отстать, и усиленная душевная дѣятельность, разрушили его. Поѣздка въ Берлинъ, гдѣ самъ

онъ ставилъ на сцену „Вильгельмъ Телля“, усилила болѣзнь. Весна 1805 года была послѣднею для Шиллера. Злокачественная лихорадка быстро вела его ко гробу и превратилась въ горячку. Шиллеръ лишился памяти, бредилъ, говорилъ о своей новой трагедіи, но при послѣднихъ часахъ жизни онъ опамятаился, узналъ всѣхъ окружавшихъ его, былъ тихъ, спокоенъ, говорилъ о жизни за гробомъ, просилъ похоронить его просто. „Какъ ты себя чувствуешь?“ спросили его за нѣсколько минутъ до кончины.—Все „спокойнѣе“, отвѣчалъ онъ, и заснулъ навсегда, утромъ апрѣля двадцать седьмого (старого стиля) 1805 года черезъ два года послѣ Клопштока и Гердера, скончавшихся въ 1803 году. Ему не совершилось еще сорока шести лѣтъ.

Общая печаль сопровождала кончину Шиллера. Оплакивали поэта и человѣка. Театръ веймарскій былъ закрытъ. Ночью на тридцатое апрѣля происходило погребеніе Шиллера. Множество народа шло за его гробомъ. Ночь была бурная; облака закрывали мѣсяцъ; но когда надобно было опускать гробъ въ могилу, мѣсяцъ освѣтилъ его сквозь разорванные облака и снова скрылся въ тучахъ. Такія ночи любилъ Шиллеръ, и нерѣдко выходилъ изъ дома гулять по берегу рѣки— слушать шумъ и гулъ бури. На другой день въ придворной церкви играли Requiem Моцарта. Театръ открылся представлениемъ „Орлеанской Дѣвы.“ Казалось, поэтъ изъ-за гроба говорилъ:

Hinauf — hinauf — die Erde flieht zurück —
Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!

Лицо Шиллера извѣстно по многимъ портретамъ и особенно по бюсту Даннекера — истинный типъ поэта, полное выраженіе жизни и духа его, прекрасное, благородное, съ глазами, исполненными огня, когда взоръ Шиллера оживлялся, но обыкновенно задумчивыми, опущенными къ землѣ. Шиллеръ былъ высокаго росту, но худощавъ, и, ходя, нѣсколько горбился. Неразговорчивый, угрюмый, или лучше сказать, робкій съ людьми мало знакомыми, онъ оживлялся въ кругу близкихъ друзей, въ кругу юношей, съ которыми любилъ говорить и мечтать....

Шарлотта Шиллеръ пережила своего мужа, но мысль соединиться съ нимъ за могилою, была всегда первымъ и единственнымъ ея утѣшеніемъ. Любовь дѣтей услаждала ея жизнь. Она скончалась на рукахъ ихъ, въ Боннѣ, въ юлѣ 1826 года. Сыновья Шиллера были дѣльными, хорошими чиновниками. Одинъ изъ нихъ, нѣсколько лѣтъ тому, находился, кажется, ассесоромъ или совѣтникомъ, въ Кёльнѣ, но ни онъ, ни братъ его не писали стиховъ.

Въ краткомъ очеркѣ старались мы изобразить *англиюю жизнь* Шиллера — дѣло не трудное, кажется, и въ самомъ дѣлѣ легкое, если выписать изъ какой нибудь біографіи: „тогда-то родился, тогда-то былъ тамъ, тогдаѣздила туда, тогда напечаталъ то,“ — и вѣчное окончаніе всѣхъ біографій — умеръ тамъ-то и тогда-то! И что такое жизнь Шиллера? Почти описывать нечего, если не исчислять его сочиненій: сынъ лекаря бѣжалъ изъ отцовскаго дома, переѣзжалъ нѣсколько времени изъ города въ городъ, женился, былъ профессоромъ

въ Іенѣ, умеръ въ Веймарѣ — писалъ стихи и прозу. Но уже и виѣшняя жизнь трудна, если хотимъ въ ней узнать выраженіе *жизни внутренней*, замѣтить выпуклости, такъ сказать, которыми проявляется внутренняя жизнь *человѣка и какою* притомъ человѣка? поэта и мыслителя, у которого вся задача въ жизни невидимой, о которой можно только догадываться по замѣткамъ о виѣшней жизни его. Эту-то „внутреннюю жизнь“ постараемся мы разгадать по выпуклостямъ жизни виѣшней, дополнивъ разсмотрѣніе наше созданіями, гдѣ у немногихъ высказывалась она такъ сильно, какъ у Шиллера. *Sa conscience est sa muse, ses écrits—lui*, говорила обѣ немъ госпожа Сталь, и совершенно справедливо. Тогда можно будетъ сообразить мнѣнія о Шиллерѣ и опредѣлить мѣсто его въ исторіи поэзіи и человѣчества. Любопытное отношеніе Шиллера къ намъ открывается въ томъ вліяніи, какое имѣлъ онъ непосредственно на русскую словесность. Наконецъ, можно и должно коснуться решения особенного вопроса, еще болѣе важнаго для современной литературы. Все это будетъ содержаніемъ нашей второй статьи. Скажутъ, что мы беремся за предметъ, о которомъ было говорено и писано много. Правда, да не у насъ, а если и у насъ говорили много, такъ сказали мало. Мнѣніе иностранцевъ намъ не указъ. Намъ пора дорожить самобытностью нашихъ собственныхъ воззрѣній. Нельзя не пожалѣть, что самобытности намъ и не достаетъ. Германская современная критика хочетъ разрушить величие Шиллера, какъ старается она разбить исподинскій истуканъ Гёте. О

причинахъ такого жалкаго направлениі мы поговоримъ далѣе, а теперь замѣтимъ, что многіе хотятъ дать подобное направлениe и нашему мнѣнію о Шиллерѣ. „Жалко и даже не смѣшно!“ какъ сказа1ъ кто-то. Дѣтское состояніе мысли! Какъ прежде безотчетно, и не зная предмета, мы восхищались, такъ не зная предмета по-прежнему, мы хотимъ теперь порицать. Въ человѣкѣ, если его не облагородила, не вывела изъ звѣриной природы его философія, есть какое-то животное наслажденіе разрушать, безъ соревнованія завидовать великому, безъ злости повторять клевету на умъ и сердце. Самъ Шиллеръ сказалъ:

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen,
Und das Erhabene in den Staub zu ziehn. . .

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

(Тамъ-же, № 3).

Барантъ, столь извѣстный своею „Исторіею герцоговъ Бургундскихъ“, безспорно одинъ изъ первоклассныхъсталантовъ современной Франціи, подарившій соотечественниковъ превосходнымъ переводомъ драматическихъ сочиненій Шиллера, говорить въ жизнеописаніи его, приложеннымъ къ переводу: „Не хочу, приводя произведенія Шиллера къ извѣстнымъ правиламъ, и сравнивая ихъ съ привычными намъ формами, разбирать хороши ли они, или дурны. Такой разборъ дѣло излишнее и бесплодное. Напротивъ, весьма важно изъискать отношенія, какія имѣли творенія Шиллера къ характеру, положенію, мнѣнію его, и къ тому что его окружало. Критический взглядъ съ такой точки зрѣнія не имѣютъ характера столь легкаго, и столь решительного, какой представляетъ намъ критика осуждающая или разрѣшающая, по большему или меньшему сходству предмета съ данными формами, но оно бо-

лѣе приближается къ изученію человѣка, къ наблюденію хода ума человѣческаго, наблюденію самому любопытному и самому полезному.“

Мысль новой критики высказана здѣсь, но не вполнѣ. Именно только вторая критика намъ возможна, и достижима въ настоящемъ состояніи нашего вѣдѣнія, какъ убѣдилъ настъ опытъ. Въ чемъ различается прежняя критика отъ нынѣшней—назовемъ первую *классическою*, другую *романтическою*, не привязываясь къ строгому значенію названій?

Принявъ за высшій идеалъ произведенія Грековъ и Римлянъ, классики предписали опредѣленныя правила искусству, вывели отсюда законы каждого произведенія его, и критика ихъ составила повѣрку всякаго нового произведенія съ догматизмомъ условныхъ правилъ. Вкусъ сдѣлался судьею вдохновенія поэтическаго и думы творческой.

Невѣрность такого уложенія оказывалась по немногу, и кончилась совершеннымъ разрушеніемъ законовъ классицизма.

Точно-ли произведенія древнихъ составляютъ высшій идеалъ совершенства? Точно-ли понимаете вы ихъ вполнѣ? Неужели искусство должно остановиться, и быть неизмѣняемо и вѣчно одинаково, когда все другое измѣнилось—религія, общественность, философія, нравы, обычаи, одежды, все рѣшительно? И почему маленький уголокъ Греціи долженъ быть мѣркою прошедшій, настоящей и будущей дѣятельности человѣчества въ изящномъ? Греки не представляютъ намъ идеала ни религіи, ни общественности, почему

же въ изящномъ они нашъ вѣчный идеалъ? Не должно ли искусство быть проявлениемъ всей жизни того или другаго общества, если не сводить его на пустую потѣху лѣнивой праздности? И неужели надобно осудить на ошибку и заблужденіе весь міръ, кромѣ Греціи, потому что произведенія искусства равнѣялись всюду, хотя міръ древнихъ былъ во-все неизвѣстенъ многимъ предшественникамъ и наслѣдникамъ древняго міра?

Вопросы эти такъ естественны, и отвѣты на нихъ такъ отрицательно рѣшаются противъ классиковъ, что нельзя не удивляться, какъ могли защищаться классики, и какой жестокой и долговременной битвы стоила побѣда надъ ними.

Дѣло наконецъ рѣшилось. Доказано, что классики далеко не вполнѣ знали міръ древнихъ, и произвольно вывели правила, какъ изъ твореній древнихъ, такъ и изъ природы, которую хотѣли они передѣлать по-своему; что, составляя идеалъ изящнаго въ древнемъ мірѣ, древніе не могли быть идеаломъ совершенно измѣненнаго новаго міра. Мы узнали съ другой стороны созданія романтизма, какъ называли мы все принадлежащее къ міру классическому. Увидѣли недостатки созданія, произведенныхъ по законамъ классическимъ, и убѣдились, что недостатки ихъ происходили не отъ скучности силы творцовъ, но отъ ограниченныхъ и ложныхъ правилъ классической теоріи.

Что было слѣдствіемъ? Другая крайность. Теоріи нѣтъ и быть не можетъ, сказали преобразователи.

Каждый творить, какъ ему угодно, презирая всѣ мнимыя условія искусства.

Опять надобно было время опровергнуть новую ошибку, новое заблужденіе. Надобно было убѣдиться, что теорія и практика, идеалъ и олицетвореніе его въ вещественной формѣ, неразрывно связана въ человѣкѣ, и что частные проблески изящнаго суть доказательства высшаго, общаго, недостигаемаго человѣкомъ идеала. Вы отвергаете всѣ правила, всѣ системы, но уже самое *отверженіе* не дѣлается ли вашимъ правиломъ, вашею системою?

И такъ догматизмъ искусства долженъ существовать. Но гдѣ и какой онъ? На какихъ созданіяхъ утвердить его? Гдѣ повѣрка его? Рѣшеній вкуса недостаточно, но неужели строгій умъ долженъ быть судьею изящныхъ созданій, и на чемъ же опереться ему? Гдѣ его повѣрка?

Прежде нежели все это будетъ опредѣлено и решено, человѣку надобно совершить громадный трудъ, и оиъ началъ его, но только-что началь.

Прежде всего должно было ему поставить себя въ міра классического и романтическаго, отвергнуть всѣ личныя, своекорыстныя отношенія соврѣменности, и всѣ заученные пренія. Съ такимъ отвлеченіемъ долженъ человѣкъ ознакомиться со всѣми созданіями искусства человѣческаго. Въ то же время рядъ обширныхъ изученій должно составить теоретическое познаніе законовъ творчества во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ, повѣряемое великою наукой познанія человѣка, отвлеченнаго отъ его частнаго бытія при изу-

ченіи частныхъ условій бытія его и дѣятельности. Тогда лѣтопись жизни человѣческой и художественныхъ созданій его представить намъ его для нашей теоріи.

Мы убѣдимся, что есть истины вѣчныя и неизмѣняемыя, есть законы, которыхъ никогда не перейти человѣку, еслибы онъ и хотѣлъ переступить черезъ нихъ, уничтожить ихъ. Можете разбить ту, или другую форму—идея не гибнетъ. Но съ тѣмъ вмѣстѣ эта идея живетъ только безпрерывнымъ измѣненіемъ формы, и такое измѣненіе составляетъ жизнь ея, сообразно независящимъ отъ нея условіямъ мѣста и времени, гдѣ она является, при безпрерывномъ стремленіи къ недостигаемому идеалу. Тамъ, гдѣ она, ограниченная во времени и пространствѣ, восполняетъ требованія, ей современныя, удовлетворяетъ современному самодовольству человѣка, тамъ она прекрасна, изящна, полна. Она сама себѣ составляетъ условія, предписываетъ законъ творчеству, является въ геніальныхъ творцахъ, вѣнцѣ современного каждому изъ нихъ образованія, хотя несовершенство образованія всегда отражается на каждомъ геніи, которые суть посылки для рѣшенія задачи о жизни цѣлаго человѣчества.

Взглядъ съ этой точки примиряетъ насъ со всѣмъ, что производятъ тотъ или другой вѣкъ, та или другая страна, тотъ или другой геній. Какъ среди сибирскихъ берегахъ Индіи величественной пальмѣ, и на пескахъ Африки громадной адансоніи, такъ благоговѣйно преклоняется вы передъ поэмою Гомера, Данте, Гёте, передъ драмою Эсхила, Корнеля, Шек-

спира, и съ равнымъ наслажденіемъ остановитесь пе-
редъ пѣснею барда минестреля, балладою Германіи,
романсомъ Испаніи и народною песнью каждой страны.
Здѣсь, обратно, вамъ будутъ понятны ошибки въ тво-
реніяхъ искусства, объясняемы условіями бытія его,
недостаткомъ силъ творчества, законами его жизни и
мѣста, или времени и пространства, здѣсь наконецъ
объясняются законы критики и для современныхъ вамъ
созданій искусства, составляется теорія искусства со-
временного, какъ посылка для будущаго, и опредѣ-
ляются достоинства и заслуги писателя, или его тво-
ренія. Сужденіе ваше будетъ несовершенно, потому
что вы также не можете выйти изъ условій вашего
вѣка, но оно будетъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ полно
живете вы жизнью вашего вѣка, какъ продолженія того,
что прежде пережило и передумало человѣчество. Вы
не можете предписывать закона творчеству, но ука-
жете ему ошибку его, сообразно тому состоянію со-
вершенства, которое показали вамъ практическое изу-
ченіе великихъ созданій, и данныя извлеченные изъ
нихъ для теоріи.

Слѣдовательно критика, которую назвали мы *ро-
мантическою* въ противоположность классической,
состоитъ не въ догматической повѣркѣ творимаго съ
условными, неизмѣняемыми правилами, но въ изученіи
того, въ какой степени то или другое твореніе удо-
влетворяетъ современнымъ ему требованіямъ идеала,
въ изысканіи причинъ, почему оно не удовлетворяетъ,
въ указаніи, чѣмъ могло бы оно удовлетворить.

Но такимъ образомъ, возразятъ намъ, вы опять со-

ставляете условія искусству, а каждое условіе не есть ли догматическое требование? — Нѣтъ, отвѣчаемъ мы, не условія, а тѣмъ менѣе неизмѣнныя правила предпи- сываемъ мы, но высказываемъ требования наши, и если мы указываемъ на то, чѣмъ можно было удовлетво- рить насъ, съ тѣмъ вмѣстѣ мы готовы принять всѣ, чѣмъ твореніе искусства превзойдетъ наши требования, принять, какъ дополненіе къ кодексу условій иску- ства. Разница между классиками и нами та, что они указывали предѣлы искусству — мы требуемъ указанія ихъ отъ него. Они хотѣли изъ правилъ извлечь со- зданіе, мы отъ созданія требуемъ правилъ. Но въ та- комъ случаѣ искусство отдается совершенному свое- волію — скажутъ намъ. Да, своеволію генія, которое онъ обязанъ выкупать полнымъ удовлетвореніемъ на- шихъ условій — условій, повторяемъ, не правилъ.

Теорія ваша признаетъ свое безсиліе, скажутъ намъ. Мы и не думаемъ гордиться силою ея, зная по умо- зрѣнію, что вся наша наука есть только стремленіе узнатъ истину, и по опыту, что всѣ мечты о мнимомъ достижениіи истины вполнѣ, чѣмъ гордились тотъ или другой вѣкъ, тотъ или другой мыслитель всегда ока- зывались мечтами. Мы откровенно сознаемся даже въ томъ, что заблужденіе и истина всегда идутъ рядомъ, и всѣ мы вносимъ въ сокровищницу вѣдѣнія человѣ- чества свой участокъ того и другаго; оно отдѣляетъ лигатуру, принимаетъ къ разсчету чистый металлъ, и чеканитъ изъ него монету для общаго обращенія. Когда наполнится сокровищница человѣческаго знанія въ такой степени, что человѣкъ въ состояніи будетъ

купить на него полное познаніе истины — мы не знаемъ.

Но какую богатую добычу человѣку доставляетъ направлениe критики, объясняемой нами! Искусство свободно; генію нѣтъ закона, но всякое искаженіе изящнаго предупреждается; ошибка и неполнота творенія указаны, и указаны не произволомъ, но отчетомъ въ условіи его творчества. Здѣсь опредѣляются подвиги и заслуга каждого дѣятеля, потому что если они оцѣняются мѣрою совершенства, тѣмъ не менѣе онъ отвѣчаетъ только за то, что долженъ былъ произвести. Каждое твореніе, каждый творецъ дѣлается предметомъ отдѣльного изученія, этюдомъ критики. И сколько истинъ открывается намъ, какъ раздвигается нашъ обзоръ, соединяя нравственную физіологію человѣка, психологическую исторію съ истинами, извлеченными изъ теоріи изящнаго, повѣренной опытомъ! Какое дополненіе ко всякому другому изученію является изслѣдованіе мѣра созданій искусства, вмѣстѣ съ изученіемъ ихъ причинъ и условій. Гамлетъ, Фаустъ, Божественная Комедія, соединенные съ исторіею творцовъ ихъ, вѣка ихъ стоятъ изученія лѣтописи какого нибудь общественнаго переворота. Въ этихъ великихъ созданіяхъ отражается жизнь общества, имъ современного, отражается человѣкъ, а какая наука выше его изученія? Здѣсь невольно повторяете слова одного изъ самыхъ прозаическихъ поэтовъ, но слова глубокія: „Нескончаемая, важнѣйшая наука для человѣка есть — человѣкъ.“

И если хотите возвышаться отъ прозы жизни къ

ея поэзіи, если хотите великихъ уроковъ искусства, да будетъ предметомъ изученія вашего великое и изящное человѣчество, тѣ люди, на чьей которыхъ отраженъ божественный свѣтъ неба. Довольно земной суеты, довольно грязи на тропинкѣ, которой идетъ каждый изъ насъ. Войдемъ отдохнуть въ храмъ души избранного, въ область человѣка, освященнаго геніемъ. Не будемъ входить въ эти храмы, эти области, съ чувствомъ иступленного изувѣра, но вступимъ въ нихъ съ любовью сердца и думой ума. Тогда посѣщеніе наше, услаждая душу среди бѣдности нашего бытія, возвыситъ ее, облагородитъ, напомнитъ ей небесную отчизну, укрѣпитъ на борьбу, примирить съ несовершенствомъ нашего жребія....

Просимъ извинить отступленіе отъ предмета насть занимающаго. Оно было необходимо, какъ увидимъ далѣе, потому что мы хотимъ изучить одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій человѣчества въ прошедшемъ вѣкѣ, въ одномъ изъ самыхъ образованыхъ народовъ Европы. Шиллеръ и его творенія суть задачи для теоріи и искусства и исторіи человѣка. Надобно условиться въ образѣ возвѣнія нашего, тѣмъ болѣе, что, можетъ-быть, намъ еще не однажды придется передавать читателямъ нашимъ подобные этюды дѣятелей искусства.

Мы рассказали жизнь Шиллера, какъ гражданина того времени и того общества, когда и гдѣ онъ жилъ. Не предупреждая нашихъ сужденій и нашихъ выводовъ, разсмотримъ жизнь его какъ человѣка и художника.

Неразрѣшимою тайною Прovidѣнія остается намъ навсегда появленіе людей великихъ на всѣхъ поприщахъ дѣятельности человѣческой. Если иногда кажется, что мы понимаемъ необходимость явленія ихъ, сколько случаетъ отрицательныхъ, гдѣ мы готовы сказать, что великій человѣкъ, поэтъ, герой, царь, пришелъ слишкомъ рано, родился слишкомъ поздно. И сколько явленій неконченныхъ, такъ сказать, паденій отъ недостатка силъ, отъ упадка духа, отъ превратнаго стремленія въ жизни! Такъ непостижимо для насъ самое сложеніе нравственныхъ стихій, изъ коихъ созидаются то или другое великое явленіе, и почему изъ окружающаго его устремляется онъ на то, а не на другое отношеніе. Для чего же теряться въ бесполезныхъ догадкахъ? Намъ остается только наблюдать и описывать что, видимъ.

Такъ непостижимою судбою опредѣлено было, въ половинѣ прошедшаго вѣка, сыну полковаго лекаря и немецкой булочницы, въ маленькомъ городкѣ виртембергскомъ, вмѣстить въ душѣ своей стихіи великаго поэта.

Слабое, но пылкое дитя, онъ видѣтъ вокругъ себя доброго отца, благочестивую мать, набожнаго пастора, и все желаніе его стремится быть пасторомъ, поучать ближняго добру, которымъ исполнено сердце его, святой вѣрѣ, которою согрѣта душа его. Мать читаетъ съ нимъ псалмы и басни Геллерта — первое впечатлѣніе стиха шевелитъ въ немъ какое-то созвучіе, какъ будто на слышимые имъ звуки отвѣчаютъ въ душѣ его такие же звуки. Онъ хочетъ вызвать

эти таинственные звуки изъ души своей, и они высказываются *молитвою*: первые стихи Шиллера были написаны имъ послѣ конфирмациі, или первого причащенія. Но вотъ новое впечатлѣніе: Шиллеръ въ театрѣ, и его поражаетъ эта жизнь въ дѣйствіи, гдѣ слово и стихъ являются воплощенными въ видимой дѣйствительности. Вотъ онъ — міръ поэзіи, раскрывшійся передъ взорами ребенка, и вотъ она, жизнь, окружающая его, какъ-будто противоположность міру поэзіи; Шиллеръ въ школѣ, въ академіи, по неволѣ сброшенный съ того пути, которымъ хотѣлъ онъ итти въ мірѣ.

Сколько чувствъ, сомнѣній, страданій, опыта въ должна была испытать душа Шиллера въ борьбѣ съ людьми и съ самимъ собою до двадцати-лѣтнаго возраста, когда кончился первый періодъ его жизни, и въ первой драмѣ своей высказалъ онъ тайну души, и бурю, тревожившія его! Тяжесть борьбы не всегда можно оцѣнить огромностью предметовъ боренія. Наполеонъ, сражавшійся съ Европою, и юный умъ поэта въ борьбѣ съ самимъ собою и съ мелкими отношеніями жизни, говоря собственно, оказываются одинакій подвигъ, если все бытіе ихъ увлечено въ борьбу. Шиллеръ боролся съ общественными отношеніями, въ какія былъ поставленъ, и съ безсознательностью своего демона, и съ ничтожествомъ того, чѣмъ хотѣла и не могла выразиться душа его.

Какъ-будто вознаграждая высокое назначеніе быть мыслителями Европы, Германія лишена гражданской суетливости, лишена живости страстей, тревожащихъ

другія общества. Порядокъ, чинность жизни, холода-
ная нравственность, вмѣсто религіозной поэзіи, уста-
новленныя отношенія общественныя, науки, приве-
денныя въ систему, семейная жизнь, какъ средство
живь спокойно, общественный увеселенія по разчету
и размѣру, и уровень посредственности надъ всѣмъ и
надъ всѣми— такова страна нѣмцевъ, парникъ человѣче-
ства, страна табачного дыму и пива, добрыхъ хозяекъ,
красивыхъ мечтательницъ-дѣвшушекъ, здоровыхъ дѣтей.
Въ жизни нѣмцевъ нѣть средоточія, куда устремля-
лись бы умственная и вещественная дѣятельность ихъ,
и все опредѣлено, начиная съ проповѣди, которую
слушаютъ по воскресеньямъ, до бесѣды въ клубѣ,
которою заключаютъ день, съ чиннаго поздравленія при
купели младенца до траурнаго платья при гробѣ отца,
съ плана, по которому выигрываютъ побѣду, до труб-
ки, которую выкуриваютъ поутру, потому что на
ней вырѣзано: Morgen.

Не отъ такой-ли сущности общей жизни нѣмцевъ
являются исключенія, великие люди Германіи, Гёте,
Гумбольдты, Гердеры, Канты, Шеллинги, путеводи-
тельныя звѣзды человѣчества? Не отъ того-ли бы-
ваютъ великія пробужденія нѣмцевъ, когда все зале-
гавшее въ обществѣ и душахъ ихъ возмущается бу-
рею, времена реформаціи, время битвъ съ Наполеономъ?
Не отъ того-ли, когда минуетъ время такихъ великихъ
волненій, все снова плотно улегается въ душахъ и
обществѣ, и засыпаетъ эпименидовымъ сномъ? Не
отъ того-ли устремленіе въ жизнь духа и созерцанія,
самодовольство самыхъ геніальныхъ германцевъ, и

„универсальность“, такъ-сказать, которая поглощаетъ всѣ, кладеть всѣ въ свое знаніе, какъ ростовщикъ кладеть въ свою кладовую всякіе заклады?

Не бурному духу Шиллера можно было ужиться въ обществѣ нѣмецкомъ, какъ-скоро столкнули его съ пути, который онъ избралъ себѣ. Онъ совлекся условій нѣмца. У него уже не было цѣли въ жизни, не было отечества, котораго лишили его принужденіемъ воли: онъ германецъ и поэтъ, возвѣститель тѣхъ страстей, тѣхъ идей, тѣхъ бурь, которыми полна душа его.

И первой отклика этой пламеной, встревоженной души, не тихая проповѣдь, которую онъ готовилъ нѣкогда собратіямъ, но вопль негодованія, укоръ обществу, насмѣшка надъ его условіями.

Успѣхъ „Разбойниковъ“ произвелъ новый переворотъ въ душѣ поэта. „Слѣдственно есть люди, которые понимаютъ меня: скорѣе къ нимъ, къ этимъ людямъ, имъ всѣ сказать, имъ передавать душу мою, жить съ ними!“ И онъ готовъ записаться въ общество комедіантовъ; онъ называетъ себя гражданиномъ вселенной:—онъ не нѣмецъ и не гражданинъ нѣмецкій—онъ человѣкъ и поэтъ!

Семь лѣтъ, слѣдовавшихъ за побѣгомъ Шиллера изъ отцовскаго дома, представляютъ урокъ поучительный. Бездомный странникъ, вольная птичка, Шиллеръ свергъ съ себя всѣ обязанности. Но здѣсь являются новыя требованія души и жизни. Его покоряютъ страсти; онъ самъ подчиняется обязанностямъ, которыхъ отвергалъ прежде, а недовольство самимъ собою

заступаетъ мѣсто прежней безсознательности требованій его демона.

Требованіе разгадано: онъ поэтъ. Но что же будетъ онъ творить? Его первое созданіе принято съ восторгомъ, но величие души именно сознается неудовольствиемъ успѣха и всѣ могутъ быть довольны созданіемъ, кромѣ его. Умственное зрееніе человѣка великаго тѣмъ болѣе просвѣтляется, тѣмъ дальновиднѣе становится онъ, чѣмъ идетъ онъ далѣе. Только посредственность засыпаетъ на успѣхъ. Успѣхъ для человѣка великаго—одръ Гватимозина, на которомъ самого себя допрашиваетъ онъ о сокровищахъ, сокрытыхъ въ душѣ его и ему самому невѣдомыхъ. Тогда страшно состояніе его, если душа не отвѣчаетъ на вопросъ.

Шиллеръ увѣрился, что онъ долженъ быть поэтомъ драматическимъ. Но драма не можетъ быть вдохновеніемъ мимолетнымъ, вспышкою впечатлѣнія, безотчетнымъ порывомъ, чѣмъ бываетъ иногда лирическое созданіе. Драма требуетъ идеи болѣе окрѣплой, души, болѣе перегорѣвшей, познанія людей и свѣта, познанія жизни. Сказать свое чувство отъ самого себя и пересоздать его въ жизнь, воссоздать его въ видимыхъ образахъ, разница огромная. Шиллеръ искалъ предмета драмы въ исторіи, находилъ, и не могъ воссоздать ни одного.. „Дайте мнѣ планъ и возмите у меня всѣ!“ говорилъ онъ. Онъ обращался къ образцамъ, къ твореніямъ другихъ, но нѣмецкая драма не могла удовлетворить его. Начало нѣмецкаго театра, какъ сценическаго искусства, восходитъ весьма не далеко.

До двадцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія въ Германіи вовсе не было правильнаго театра. Грубые фарсы Гансъ-Сакса и уродливые трагедіи Грифіуса, были разыгрываемы охотниками и бродячими актерами. Готшедъ, Тредьяковскій Германіи, первый завелъ театръ въ Лейпцигѣ, переводилъ французскія трагедіи и заставлялъ зѣвать за своими уродливыми переводами. Илья Шлегель, Кроненкъ и другіе подражали голандцамъ, италіанцамъ, передѣлывая англичанъ по правиламъ трехъ единствъ. Первый возсталъ противъ уродливаго классицизма Лессингъ, человѣкъ ума необыкновеннаго, критикъ остроумный, но умъ односторонній и не поэтическій, говорившій о Шекспирѣ, но не понимавшій его, способный разрушить, но не создать. Онъ хотѣлъ создать теорію и дать образцы, подражалъ реформаторамъ драмы во Франціи, уверенный, что мѣщанская комедія и свобода романтизма въ трагедії суть непремѣнныя условія настоящей драмы. Лессингъ образовалъ великія сценическія дарованія, увлекъ зрителей, породилъ подражателей и послѣдователей, между коими явились Гёте, которому тѣсно было въ драмѣ. Лейзевицъ и Герстенбергъ съ дикими созданіями безотчетнаго воображенія, Энгель съ комедіями. Среди такого броженія и борьбы мнѣній явился Шиллеръ и три первыя драмы его были подражаніемъ твореніямъ Лессинга, Гёте и ихъ товарищей по формѣ. Но чѣмъ были они по сущности? Уродливыми произведеніями ума юнаго, незнающаго ни людей ни жизни, мечтателей о свободѣ, потому что его записали въ военную школу, и наказывали за невыучку уроковъ,

юноши, стѣсненного существенностью, и видящаго въ каждомъ счастливцѣ міра злодѣя, въ каждомъ вельможѣ хитраго тирана. Буршевая жизнь нѣмецкаго студента, кипѣніе умовъ, начинавшееся за Рейномъ, манера Шекспира безъ познанія глубины его, приторная сентиментальность любви, начитанная въ Вертерахъ и Зигвартахъ, студенческая философія, со всѣмъ желаніемъ юноши выражаться вычурно и жеманно — вотъ чѣмъ были созданія Шиллера, при высокой любви къ добру и какомъ-то суевѣріи чести. Довольно для того, чтобы увлечь толпу, но не довольно для самого поэта, если онъ сознаетъ свое высокое призваніе, хоть темно, хоть безотчетно чувствуя, что не здѣсь тайна созданія твореній великихъ. Гдѣ же она? Шиллеръ самъ безжалостно осудилъ своихъ „Разбойниковъ“, когда они сводили съ ума современную молодежь. „Странное недоразумѣніе жребій заставило меня быть поэтомъ, говорилъ онъ, и восемь лѣтъ, назначеніе мое боролось съ мою жизнью. Страсть поэзіи такъ пламенна и бѣшена, какъ первая любовь. То чѣмъ хотятъ затушить, только разжигаетъ ее болѣе. Спасаясь отъ моей жизни, я улеталъ въ міръ идеаловъ, когда міръ дѣйствительный оставался для меня невѣдомымъ, и я былъ отѣленъ отъ него желѣзными затворами. Людей я не зналъ. Женщины были мнѣ неизвѣстны, потому что двери дома, въ которомъ жилъ я, отпирались только для тѣхъ женщинъ, которая еще начинаютъ, или для тѣхъ, которая уже перестали увлекать насть. Не зная ни людей, ни человѣка, моя мысль по-неволѣ должна была перейти, черезъ посредствующую черту между

ангелами и демонами, и я долженъ былъ создать чудовищъ, по счастію не существующихъ въ мірѣ. Желаю имъ здоровья, только для того, чтобы они показывали примѣръ нелѣпости, какая рождается изъ соединенія несообразностей. Мое твореніе явилось передъ людьми, и люди должны были имъ оскорбиться. Извинениемъ меня могутъ быть только обстоятельства, въ какихъ я находился. Изъ всѣхъ обвиненій, какимъ подверглось мое созданіе, съ однимъ я соглашаюсь, съ тѣмъ, что я началъ изображать людей, не знаявши ихъ. Мои „Разбойники“ разлучили меня съ моимъ семействомъ и моимъ отечествомъ. Осудятъ-ли меня? Въ томъ возрастѣ, когда голосъ большинства тревожить нась, и управляетъ нашими чувствами и мыслями, когда кровь кипитъ при рукоплесканіяхъ, когда предчувствіе величія, ожидающаго насъ, тревожитъ душу, когда впереди видимъ мы бессмертіе, среди наслажденія первыхъ похвалъ, неожиданныхъ и не заслуженныхъ, которымъ упоялъ меня со всѣхъ сторонъ Германіи, мнѣ запрещено было писать“....

Мечта юноши! Теперь ему *не запрещаютъ* писать, что же онъ *не пишетъ*? Онъ берется за великія творенія Шекспира и не постигаетъ ихъ! „Когда въ первый разъ читалъ я Шекспира, говорилъ Шиллеръ— меня возмутили холдность и безчувстіе, съ которымъ онъ шутить въ самыя патетическія минуты, портить фарсами самыя раздирающія сцѣны Макбета и Лира, останавливается, когда всѣ чувства мои потрясены, и хладнокровно вырываетъ у меня сердце, едва оно затихло. Я чтиль и изучилъ Шекспира много лѣтъ прежде, нежели со-

гласился съ его гениемъ. Я былъ еще не способенъ тогда схватывать природу съ первого взгляду.“

И такимъ образомъ началась новая борьба поэта съ самимъ собою. Цѣль жизни угадана, но все что указало на нее, отвергнуто, какъ были отвергнуты всѣ первоначальные очерки, которые поэтъ осудилъ до рожденія ихъ. Странное положеніе: чувствовать силы создавать, и не умѣть создавать! Новая драма Шиллера носится передъ нимъ въ неясныхъ образахъ, а между тѣмъ начинается другая драма — дѣйствительной жизни, новое ученіе — наука людей и страстей. Ты говорилъ, что ошибался, представляя людей, изображая ихъ чудовищами, что они не ангелы и не демоны. Изучи же, узнай ихъ, узнай и то, что влечетъ ихъ въ небо и низвергаетъ въ адъ — узнай страсти людскія!

И когда голова Шиллера исполнилась мечтами объ искусствѣ, его окружаютъ люди, съ нимъ знакомятся ихъ отношенія, ихъ злость и дружба. Онъ хотѣлъ удалиться отъ сильныхъ и великихъ міра, но невольно увлеченъ къ нимъ; онъ мечталъ только о похвалахъ, но теперь слышитъ и осужденія, горькія, несправедливыя, клеветы на свой умъ и сердце. Онъ испытываетъ при несправедливости осужденія и лѣкомысленность похвалъ, пустоту сужденій, и бѣгаestъ въ бурныя ночи на берега Эльбы укрыться отъ людей и отъ самого себя....

Да, и отъ самого себя. Міръ принялъ скитальца въ свои объятія, и потребовалъ отъ него, чтобы онъ узналъ и раздѣлилъ всѣ, что терзаетъ и мучитъ этотъ

миръ, онъ облекъ его въ ядовитую одежду Деаниры, и поэтъ, хотѣвши отъ всего отторгнуться, вообразившій себя Геркулесомъ непобѣдимымъ, почувствовалъ всѣ мученія тлетворнаго яда, терзающаго другихъ людей.

Много было говорено противъ критики и за критику. Вопросъ не о пользѣ потому, что она неоспорима. Но критика въ отношеніи къ дарованію великому, судя его, указывая ему, вѣрно или не вѣрно, ошибки его, не поселяеть-ли въ немъ недовѣрчивости къ самому себѣ, не отнимаеть-ли у него той смѣлости, которая необходима для свободныхъ созданій? Нѣтъ, отвѣчаемъ рѣшительно, потому что огромное, великое дарованіе всегда подписывается само себѣ такой строгой приговоръ, какого не подпишетъ никакой, самый угрюмый критикъ. Съ другой стороны поэтъ въ минуту творенія другой человѣкъ, и онъ столько жепомнить тогда о справкахъ съ критикою, сколько о бумагѣ, на которую бросаетъ свою мысль, или о перѣ, о карандашѣ, которыми пишетъ? Но когда прошли эти святые минуты самозабвенія, расчетъ поэта съ самимъ собою конченъ. Онъ безжалостенъ къ самому себѣ. Извѣстно однажды, что ни одинъ изъ тѣхъ, кто презиралъ критикою, кто менѣе всего могъ бояться еї, не могъ однако-жъ безъ какого-то раздраженія браться за листочки рецензіи. Тутъ совсѣмъ другое отношеніе. Самое великое дарованіе не того-ли боится, что высажутъ собственное его мнѣніе объ его созданіи, скажутъ то, чего не смѣеть онъ сказать самому себѣ? Но критики никогда не достигнутъ до такой степени?

Потому Байронъ, петерпѣливо пробѣгавшій всѣ статьи обѣ пемъ англійскихъ Reviews, черезъ минуту бросалъ ихъ съ усмѣшкою, говоря: „Врутъ и ничего не понимаютъ!“ Въ Шиллерѣ возбуждалось еще особенное чувство — прискорбія, и чѣмъ несправедливѣе была рецензія, тѣмъ болѣе — не оскорбляла, но печалила его: онъ страдалъ не за себя, но за глупость и безсъвѣстность людскую....

Переходы отъ труда къ бездѣйствію, отъ надежды къ отчаянію, отъ міра идеаловъ къ міру существенному, истерзали Шиллера. Онъ перепуталъ, перемѣшалъ всѣ свои ученія, мнѣнія, планы, предпріятія — онъ начиналъ наконецъ терять даже свое внутреннее религіозное убѣжденіе. Бѣдствія революціи заставили его съ ужасомъ отвергнуть идеи, какія составляль онъ себѣ якогда о благоденствії людей при новомъ порядкѣ общественномъ. „Германскій поэтъ, говоритъ Барантъ, напитанъ ученіемъ важнымъ и строгимъ, которое переходитъ далеко за время юности его, дѣлается потребностью и привычкою всей остальной жизни, удаленной отъ развлечений свѣта, преданный всѣмъ размышеніямъ, всѣмъ сомнѣніямъ умственнымъ, всѣмъ тревогамъ сердца, живетъ въ мірѣ доступно только тѣмъ, кто хоть иногда возносился размышеніемъ къ жизни созерцательной. Не поэтическія-ли они, эти внутреннія скорби и радости, спокойствіе и тревога, возбуждаемыя въ насъ мыслю о судьбѣ человѣка, будущности, предоставленной ему, свободѣ его, колеблющейся между добромъ и зломъ, времени, мгновенно пролетающемъ, вѣчности, медленно приближающейся, и обѣ идеѣ, въ одно время необхо-

димой и недостижимой, идея Бога? Есть что-то трогательное и высокое въ характерѣ поэта, который со всѣми ощущеніями своимъ соединяетъ такія идеи и такие образы, сливаетъ ихъ съ своею любовью, находить ихъ въ глубинѣ души и въ окружающей его природѣ, не умѣеть ни любить, ни удивляться безъ обращенія къ неисчерпаему источнику всякаго удивленія и всякой любви. Мы во Франціи не знаемъ такой внутренней жизни, мы не понимаемъ людей, бытіе которыхъ протекаетъ въ тяжкихъ душевныхъ переходахъ, въ томлѣніи скептицизма, въ скорбѣ при видѣ ослабляющихъ, или вовсе исчезающихъ убѣждений, и въ беспокойномъ стараніи вновь пріобрѣсти ихъ. Исторія того или другаго нѣмецкаго писателя, жизнь котораго протекла однообразно, который спокойно прожилъ ее въ городкѣ своеемъ и въ семьѣ своей, бываетъ иногда скорбною цѣпью, рядомъ бурь и битвъ внутреннихъ въ его нравственныхъ идеяхъ и въ его вѣрованіи. У насъ, послѣ нѣкотораго времени, умы укладываются въ порядокъ миѣній, котораго держится, или который раздѣляетъ большее или меньшее число людей образованыхъ. Чувствуютъ себя поддержаными въ своемъ убѣженіи, утѣшеными въ сомнѣніяхъ, или развлечеными въ равнодушіи. Не такъ бываетъ, когда люди живутъ среди уединеннаго созерцанія. Глубокіе вопросы овладѣваютъ всѣми способностями, потрясаютъ всю душу ихъ и не даютъ покоя. „Сколько безсонныхъ ночей провелъ я, сколько слезъ пролилъ!“ говорилъ человѣкъ, который далеко не былъ ни столь страстнымъ, ни столь отвлеченнымъ, какъ Шиллеръ. Это говорилъ

Виландъ, рассказывая о томъ времени жизни, когда невѣріе вольнодумцовъ поколебало мистическое направлениe души его“.

Къ довершенню беспорядка, въ душѣ Шиллера присоединилась несчастная любовь. Онъ влюбился въ жену друга своего, былъ любимъ взаимно, считалъ себя преступникомъ предъ дружбою, разрушителемъ священныхъ обязанностей супружества, нашелъ силы пожертвовать любовью долгу, но кровавыми слезами заплатилъ за жертву. Подъ именемъ Лауры, со всѣмъ мистицизмомъ суевѣрной любви воспѣвалъ Шиллеръ свою идеальную Лауру, смышивая риторику школы съ восторгами поэзіи (*Phantasie an Laura, Laura am Klavier, die Entzückung an Laura, Das Geheimniss der Reminiscenz, Melancholie an Laura, der Triumph der Liebe*; сюда можно причислить даже *Семелу*, драматическія сцены, гдѣ любовь Зевеса губить бѣдную любовницу его). „На крыльяхъ любви, восклицалъ Шиллеръ, будущее падаетъ въ объятія прошедшаго, и время преслѣдуетъ въ быстромъ полетѣ супругу свою—вѣчность! Я слышалъ голосъ оракула, говорившаго, что нѣкогда оно догонитъ ее, и когда время соединится съ вѣчностью, и загорѣвшій міръ будетъ ихъ брачнымъ свѣтильникомъ, тогда, Лаура, прекраснѣе заалѣтъ заря для любви нашей, и продолжится во всю брачную ночь ихъ..... Лаура, Лаура! радуйся!“ Но самое замѣчательное стихотвореніе, въ которомъ осталась память несчастной любви его, было *Resignation*, предметъ восторга его современниковъ, одно изъ любимыхъ въ Германіи лирическихъ произведеній, которое тамъ всѣ

знаютъ наизусть. Оно такъ оригинально, такъ хорошо высказываетъ состояніе Шиллера, что передаемъ содеряніе его въ прозаическомъ переводѣ:

„И я также въ Аркадіи родился, и надъ мою колыбелью также природа обѣщала радости! И я также въ Аркадіи родился, но мимолетная весна отдала мнѣ только слезы.

„Однажды цвѣтеть, и не возвращается май жизни; онъ для меня отцвѣлъ. Богъ молчанія—плачьте, братья—Богъ молчанія обращаеть къ землѣ факель свой—и огонь его погасъ.

„Здѣсь стою я на мрачномъ прагѣ твоемъ, обильная страхомъ Вѣчность! Возьми росписку свою на счастье—я приношу ее нераспечатанную: я не зналъ счастья.

„Передъ тронъ твой несу мои сѣтованія, безвѣстная богиня! На землѣ есть утѣшительное преданіе, будто ты царствуешь здѣсь съ всами правосудія, и награждаешь по достоинству.

„Здѣсь, говорятъ, страхъ ожидаетъ зло, и радости суждены добрымъ. Ты раскроешь покрывало сердца, изъяснишь мнѣ загадку судьбы, и зачешь мнѣ мои страданья.

„Здѣсь найдутъ убѣжище изгнаники, здѣсь кончится терновый путь терпѣнія. Дочь боговъ, которую мнѣ называли Истиною, которой большее число убѣгаешь, которую знаютъ немногіе, связала жизнь мою тяжкими узами. .

„Я заплачу тебѣ въ другой жизни—отдай мнѣ твою юность. Ничего не могу я дать тебѣ, кроме такого

объщанія.“ Я взялъ у нея обѣщаніе на другую жизнь, и отдалъ ей юношескія радости.

„Отдай мнѣ женщину, столь дорогую твоему сердцу, отдай мнѣ твою Лауру. Скорбь твою награжу я за гробомъ.“ Я вырвалъ ее изъ разстерзанного, окровавленного сердца, рыдалъ и отдалъ ее.

„Требуй уплаты по распискѣ у смерти!“ насмѣшилово говорилъ мнѣ свѣтъ. „Ложь, подкупленная самовластіемъ, выдала тебѣ привидѣніе за истину, и ты ничто, едва привидѣніе исчезнетъ.

„Ядовитая насмѣшка преслѣдовала меня. Передъ предразсудкомъ, освященнымъ годами, трепещешь ты? Что такое твои боги, если не хитрая и произвольная развязка міра, которую умъ человѣческій придумалъ для человѣка?

„Что называешь ты будущимъ, которое закрыто гробомъ, вѣчностью, о которой столько говорять? Почтенная, потому что закрыта, исполинская тѣнь нашего страха, отразившаяся въ зеркалѣ нашей тревожной совѣсти!

„Ложное изображеніе жизни, мумія времени, сохранившая бальзамировкой надежды въ могильномъ холодѣ.

„А надежда — разрушеніе обличаетъ ложь. И ты отдаешь за нее вѣрныя блага? Шесть тысячъ лѣтъ молчать смерть, и пришелъ ли кто изъ могилы увѣрить въ воздаяніи?

„Я видѣлъ время улетающимъ на берега твои. Цвѣтущая природа осталась послѣ него обезображенными трупомъ, ни одинъ мертвѣцъ не приходилъ ко

мнѣ изъ могилы, но — твердо вѣриль я священному обѣщанію.

„Всѣми радостями пожертвовалъ я, и теперь повѣргаюсь передъ твоимъ правосуднымъ престоломъ. Я презрѣлъ насмѣшки толпы, и только твои блага считалъ сокровищами. Ты, обѣщавшая воздаяніе! я требую награды!

„Равною любовью люблю я дѣтей моихъ,“ говорить мнѣ незримый геній, „и два цвѣтка, внимайте, сыны земли, два цвѣтка есть для мудраго искателя — они называются: Надежда и Наслажденіе.

„У кого одинъ изъ нихъ, не требуй другаго. Наслаждайся, кто не можетъ вѣрить. Это ученіе вѣчно, какъ міръ. Жертвуй, кто можетъ вѣрить. Исторія міра есть судъ міра.

„Ты надѣялся, и ты получилъ плату; твоя вѣра была твоимъ счастіемъ. Спроси вашихъ мудрецовъ. Чего не заплатило мгновеніе, того не возвратить Вѣчность.“

Въ этотъ тревожный періодъ жизни, Шиллеръ перенесъ всѣ роды зянятій, отъ лирической бездѣлки до обширной трагедіи; начиналъ романъ, принимался за драму, писалъ исторію, переводилъ Шекспира, брался за комедію, и все бросалъ неконченное, едва начатое. Послѣ долгаго размышенія надъ своими „Разбойниками,“ которыхъ хотѣлъ онъ то дополнить, то передѣлать, онъ оставилъ ихъ, какъ они были. „Они похожи на шалуна, у котораго добрыя качества зависятъ, можетъ-быть, отъ его шалостей, а исправляя его, мы только уничтожимъ въ немъ хо-

рошее, не сдѣлавши его добрымъ, говорилъ Шиллеръ. Какъ легко могла тогда погибнуть пламенная, младенческая, всѣмъ увлекаемая душа поэта! Его спасло чувство, которое прежде доводило его до безумія — любовь. Чѣмъ пожертвовалъ Шиллеръ Лаурѣ, то возвратила ему Шарлотта, милое, доброе созданіе, съ любовью кроткою и нѣжною, съ душою доступною всему прекрасному. Она увлекла его подъ тихій кровъ семейнаго счастія — онъ не пѣлъ ее въ стихахъ своихъ:

Счастливцы вѣчно молчаливы,
Одно несчастіе крикунъ!

Но онъ любилъ ее и былъ счастливъ. За то изъ прежняго міра своего, кромѣ любви вынесъ только одно — убѣженіе въ святомъ чувствѣ неба. Остальное все было потеряно. Онъ разочаровался даже въ мечтѣ быть поэтомъ, убѣдился въ недоступности тайнъ неба, человѣка и природы, рѣшился быть только семьяниномъ и полезнымъ трудами своими членомъ общества. Онъ примирился съ людьми, какъ съ избалованными несчастными дѣтьми — онъ научился прощать имъ, жалѣть обѣихъ. — Его звали ко двору — онъ отказался, какъ отказался отъ двора Клопштокъ, мирно доживавшій вѣкъ свой съ своею Миною. Шиллеръ, супругъ и отецъ, профессоръ Іенскаго университета, издатель книгъ и альманаховъ, счастливый въ своемъ садикѣ послѣ лекцій, добрый бурггеръ за рюмкою рейнвейна. Не троньте его, ни судьба, ни люди. Дозвольте ему довольствоваться тихимъ пріютомъ на

землѣ съ надеждою неба за могилой. Люди и оставили, даже почили Шиллера. Судьба лелѣть его, но самъ себя оставитъ ли онъ въ покоѣ? Удовольствуется ли его бурная душа мнимымъ спокойствіемъ и забвеніемъ своего призванія? Отчего-же странная жизнь его? Для чего тяжка, безпрерывная работа его? Откуда и грусть о прежнемъ, тревожномъ состояніи своеемъ, выражаемая въ унылыхъ звукахъ, какъ-будто онъ жалѣть объ немъ?

Изъ всѣхъ сочиненій Шиллера того времени самая замѣтальная, по отношенію къ поэту, создавшему ихъ, два. Одно изъ нихъ—*Идеалы* (die Ideale). Оно переведено Жуковскимъ въ прелестныхъ стихахъ, хотя въ нихъ не сохранены рѣзкія черты подлинника и его *образности*, такъ-сказать, или пластики, о чёмъ поговоримъ мы далѣе, прилагая здѣсь переводъ Жуковскаго, потому что, при всѣхъ недостаткахъ, онъ вполнѣ сохраняетъ мысль подлинника, и можетъ служить намъ примѣромъ для сужденій обо всемъ, что переводилъ изъ Шиллера Жуковскій. Вотъ переводъ *Идеаловъ*.

Зачѣмъ такъ рано измѣнила? . . .

Съ мечтами, радостью, тоской,
Куда полетѣ свой устремила?
Неумолимая! постой!
О, дней моихъ весна златая,
Постой! Тебѣ возврату нѣтъ!
Летитъ, молитвѣ не внимая,
И все за ней помчалось въ-слѣдъ.

О, гдѣ ты, лучъ-путеводитель
Веселыхъ юношескихъ дней?
Гдѣ ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей (*)?
Ужъ нѣтъ ея, сей вѣры милой
Къ твореньямъ пламенной мечты,—
Добыча истинѣ унылой,
Призраковъ прежнихъ красоты.

Какъ древле рукъ своихъ созданье
Боготворилъ Пигмаліонъ,
И мраморъ внялъ любви стечанье,
И мертвый былъ одушевленъ,
Такъ пламенно объята мною
Природа хладная была,
И полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

• (*) Здѣсь въ первомъ изданіи „Идеаловъ“ были еще восемь стиховъ, которые потомъ исключилъ Шиллеръ, но они замѣчательны, особенно четыре послѣдніе.

Die sch ne Frucht, die kaum zu keimen
Begann, da liegt sie schon erstarrt,
Mich weckt aus meinen frohen Trumen
Mit rauhem Arm die Gegenwart.

Die Wirklichkeit mit ihren Schranken
Umlagert den gebund'nen Geist,
Sie st rzt die Sch pfung der Gedanken,
Der Dichtung sch nes Flor zerreisst.

И юноши дѣля желанье,
Нѣмая обрѣла языкъ,
Мнѣ отвѣчала на лобзанье,
И сердца гласъ въ нее проникъ;
Тогда и древо жизнь пріяло,
И чувство ощутилъ ручей,
И мертвое отзывомъ стало
Пылающей души моей.

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ,
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть.
И въ нѣжномъ сѣмени сокрытой,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ!
• Но, ахъ! сколь мало въ немъ развито,
И малое—сколь бѣдный цвѣтъ! (*)

(*) Здѣсь въ первомъ изданіи слѣдовало живописное сравненіе стремленія поэта къ природѣ съ стремленіемъ водъ въ океанѣ.

Wie aus des Berges stillen Quellen
Ein Strom die Urne langsam füllt,
Und jetzt mit königlichen Wellen
Die hohen Ufern überschwillt;
Es werfen Steine, Felsenstein
Und Wälder sich in seine Kahn,
Er aber stürzt mit stolzen Masten
Sich rauschend in den Ocean!

Далѣе, какъ въ послѣдовавшихъ потомъ изданіяхъ. Всѣ такія измѣненія любопытны для умнаго наблюдателя.

Какъ бодро, слѣдомъ за мечтою,
Волшебнымъ очарованъ сномъ,
Заботъ несвязанный уздою,
Я жизни полетѣлъ путемъ.
Желанье было—исполненье!
Успѣхъ отвагу пламенилъ—
Ни высота, ни отдаленіе
Не ужасали смѣлыхъ крыль.

И быстро жизни колесница
Стезею младости текла;
Ея воздушная станица
Веселыхъ призраковъ влекла:
Любовь съ прелестными дарами,
Съ алмазнымъ Счастіе ключемъ,
И Слава съ звѣздными вѣнцами,
И съ яркимъ Истины лучемъ.

Но, ахъ! еще съ полу-дороги,
Наскучивъ рѣзою игрой,
Вожди отстали быстроноги—
За роемъ вслѣдъ умчался рой.
Украдкой Счастіе скрылось,
Измѣнной Знаніе ушло,
Сомнѣнья тучей обложилось
Священной Истины чело.

Я зрѣлъ, какъ дерзкою рукою
Презрѣнныи Славу похищалъ

И быстро съ быстрою весною
Прелестный цвѣтъ любви увялъ.
И все пустынно, тихо стало,
Окрестъ меня и предо мной,
Едва Надежды лишь сіяло
Свѣтило надъ моей тропой.

Но кто-жъ изъ сей толпы крылатой
Одинъ съ любовью мнѣ во слѣдъ,
Мой до могилы провожатой,
Участникъ радостей и бѣдъ?
Ты, узъ житейскихъ облегчитель,
Въ душевномъ мракѣ милый свѣтъ,
Ты, дружба, сердца исцѣлитель,
Мой добрый гений съ юныхъ лѣтъ!

И ты, товарищъ мой любимый,
Души хранитель, какъ она,
Другъ вѣрный, трудъ неутомимый,
Кому святая власть дана
Всегда творить, не разрушая,
Мирить печального съ судьбой,
И силу въ сердцѣ водворяя,
Беречь въ немъ яспость и покой.

Другое стихотвореніе показываетъ взглядъ Шиллера
въ то время на знаніе. Это — Закрытый Истуканъ въ
Саисѣ (das verschleierte Bild zu Sais). Поэтъ раз-
13*

сказываетъ известную легенду о погибели дерзаго, осмѣлившагося заглянуть подъ покрывало, которымъ закрыть былъ истуканъ Изиды въ египетскомъ саискомъ храмѣ:

Юноша жаждой познаній влекомый въ Египетъ,
Въ храмъ Саискій пришелъ, у жрецовъ изучаться желая
Тайнамъ премудрости. Много онъ степеней быстро и
скоро

Пылкимъ умомъ пролетѣль, но всегда испытывающимъ
духомъ

Рвался впередъ: іерофанты едва за нимъ успѣвали.
Въ нетерпѣливомъ стремленьи:— „что я знаю, скажите,
Если *всего* я не знаю?“ такъ восклицалъ въ нетерпѣніи:
„Или и въ мудрости также найду я немного и много?
Или и мудрость земная, какъ счастье неполно земное,
Есть собранье познаній, которымъ и больше и меньше
Можемъ мы обладать, и всегда къ обладанью стремиться?
Развѣ мудрость не есть единое вѣчного духа?
Звукъ одинъ уничтожить — и разрушить гармонію
звуковъ;

Цвѣтъ единый изъ радуги вынь — и все остальное
Хаось нестройный, если прекрасное *все* не дополнить
Вновь полнотою небесной гармоніи, цвѣта и звука!“
Такъ говорилъ онъ съ жрецомъ, и въ храмъ отдаленный
вступаетъ.

Тихо было въ храмѣ, и жадные юноши взоры
Вдругъ засверкали: предъ ними гигантскій, закрыть
покрываломъ,
Въ мракѣ стоять истуканъ. Въ изумленіи юноша пылкій.

Онъ вопрошаетъ вожатаго: „что это? что здѣсь закрыто?
— Истина — такъ іерафантъ отвѣчаетъ. „Что слышу?
что внемлю?“

Юноша быстро воскликнулъ: — „Истина! къ ней я стремлюся —

Здѣсь предо мною она, и ее оть меня закрываютъ!“
— Такъ судьбамъ всевышнимъ угодно — жрецъ отвѣчаетъ.
Смертный никто, да не смѣеть — изрекъ оракула голосъ —
Вскрыть покрывало, доколѣ я самъ его не открою.
Кто-жъ святотатской, преступной рукою посмѣеть до-
толѣ

Тайное вскрыть покрывало, безумной волей ведомый,
Тотъ — окончи скорѣ! Увидить истины образъ....

„Странный оракулъ! Ты мнѣ повѣдай: ужели донынѣ,
Ты никогда не дерзнулъ поднять, открыть покрывало?“
Я никогда не дерзнулъ и помыслить, и смѣю-ль помы-
слить....

„Буду смѣлѣе тебя, и могу-ль удѣржаться: предъ мною
Истина съ легкой завѣсой!“ — Но вспомни прощеніе
Бога —

Такъ возразилъ ему жрецъ — и помысли, о сынъ мой,
помысли:

Если бременемъ легкимъ рукѣ твоей будетъ завѣса —
Тяжко на землю падаетъ преступленье божественной
воли! —

Полной думы тяжелой, юноша въ домъ возвратился.
Жажда палящая знанія сонъ похищаетъ спокойный,
Онъ на одрѣ не находитъ покоя, горитъ нетерпѣньемъ...
Въ часъ полуночи оставилъ онъ одръ свой. Къ храму
влечется

Робкимъ и косвеннымъ шагомъ, невольно робѣя во мракѣ,
Безъ затрудненія онъ переходитъ оградѣ храма,
И — въ средину храма заноситъ дерзкую ногу....
Свершилось!

Вотъ опъ одинъ, посреди, окруженній мертвымъ мол-
чаньемъ,
Въ сумракѣ храма; все тихо вокругъ; только въ сво-
дахъ высокихъ
Шорохъ шаговъ его вторится въ звукахъ глухихъ
и неясныхъ,

Храма безмолвіе онъ нарушаетъ, и тихнитъ мгновенно.
Сверху сводовъ, въ окно, свѣтить мѣсяцъ ту-
манный, неясно,

Блѣднымъ лучемъ серебрится помостъ обширнаго
храма, —

Ужасъ вселая, какъ Богъ преступленія мститель, во
мракѣ,

Длиннымъ закрытъ покрываломъ, стоитъ истуканъ
исполинскій.

Робкой стопой подошелъ къ нему юноша тихо;
онъ хочетъ
Дерзкой рукой вопросить неиспытнаго страшную тайну;
Холодъ и жаръ протекли по костямъ его — будто без-
вѣстной

Онъ отодвинутъ десницей — и съ трепетомъ вспять
отстѣпаетъ!

„Что ты дерзаешь? Куда, несчастный безумецъ?“
Такъ громко
Тайный въ душѣ его голосъ ему вопіетъ — „не трепе-
щешь

Ты испытать непостижную тайну? Но вспомни глаголы, —

Рекъ ихъ оракулъ священный: смертный никто, да не смѣеть

Вскрыть покрывала, пока я самъ покрывала не вскрою!
„Но не тотъ-ли оракулъ прибавилъ глаголь вдохновенный:

Если осмѣится смертный — онъ истину узрѣть? Довольно! —

О! что не будетъ за сею завѣсой — я вскрою, увижу!“
Громкимъ воскликнулъ онъ голосомъ: „*Видѣть* хочу я!“ И — „*Видѣть!*“

Глухо отгрянуло въ сводахъ, и долго гулъ не утихнулъ....

Рекъ, приблизился смѣло, и — вскрылъ покрывало заѣта....

Что онъ увидѣлъ? вы спросите. — Что онъ нашелъ?
— Я не знаю.

Слабый, бесь чувствъ, онъ найденъ былъ заутра во храмѣ,

Близъ истукана Изиды повергнутъ во прахъ на помостъ.

Что онъ видѣлъ? Что онъ нашелъ? Никому не побѣдалъ

Косный языкъ его. Онъ навсегда погубилъ свою младость:

Мрачный, погасшій, онъ скорбью увлекся къ раннему гробу.

„Горе,“ такъ онъ изрекъ въ минуту кончины правдиво: —

„Горе тому, кто мудрость купилъ преступленьемъ за-
кона:
Онъ нерадостной, страшной, погибельной тайной вла-
дѣєгъ....“(*)

Но дерзкій ученикъ египетскихъ іерофантовъ ку-
пилъ познаніе цѣною преступленія. Тотъ не погибнетъ,
кто ищетъ его трудомъ, наукою, вѣрою во все пре-
красное, доброе, великое. Онъ можетъ-быть запла-
тить за него жизнью, но за то умретъ съ сознаніемъ,
что исполнилъ приваніе свое, съ надеждой тамъ, гдѣ
отчаяніе терзаетъ счастливца міра. Такъ сбылось съ
Шиллеромъ.

Съ переселеніемъ въ Іену начался третій періодъ
жизни его, время самое счастливоѣ. Услаждаемый
любовью, онъ былъ утѣшенъ всеобщимъ уваженіемъ.
Онъ увидѣлъ и узналъ любовь, дружбу и славу. Надобно было судьбѣ соединить окрестъ него столько
счастливыхъ обстоятельствъ: милую жену, добрыхъ
друзей, тихое довольство, людей высокаго образо-
ванія, страстныхъ просвѣщенія и образованности, и
даже дворъ, напоминавшій что-то патріархальное, до-
бродушно-германское, гдѣ новая драма была госу-
дарственнымъ событиемъ, новое произведеніе искусства
дѣломъ всѣхъ занимавшимъ. Не роскошествуя на со-
браніе мертвыхъ драгоцѣнностей, какъ дѣлали въ
Дрезденѣ, не покупая античныхъ обломковъ, какъ въ
Мюнхенѣ, герцогиня Амалія, и добродѣтельный про-

(*) См. наше изданіе Сочиненій Губера, т. I. стр. 218—224.

свѣщенный сынъ ея, герцогъ Карлъ Августъ, искали живой бесѣды мудрыхъ, собирали около себя поэтовъ, любили германскихъ музъ, и покровительствовали имъ не тѣмъ только, что давали имъ пенсіи и награды. Дворскій этикетъ былъ забытъ: любимые собесѣдники герцога Веймарскаго и матери его были ученые и литераторы, когда Гёте былъ министромъ ихъ, Ви-ландъ воспитателемъ дѣтей герцога, Гердеръ придвор-нымъ проповѣдникомъ.

Мы говорили обь обществѣ, въ которомъ жилъ Шиллеръ, о занятіяхъ и образѣ жизни его въ Іенѣ; здѣсь обратимъ вниманіе только на тѣ отношенія, какія имѣли на него сильнѣйшее вліяніе съ 1780 по 1799 годъ, когда онъ переселился въ Веймаръ, и которыхъ выработали, такъ сказать, изъ него то, чѣмъ является онъ при концѣ земнаго поприща.

Конечно, первымъ должно поставить вліяніе кантовой философіи на Шиллера, потому что трудно себѣ вообразить важность переворота, произведенаго на умы германцевъ и отразившагося на всю Европу отъ новыхъ, живительныхъ идей кёнигсбергскаго мудреца. Что-же должна была чувствовать впечатльная душа Шиллера? Мы не будемъ здѣсь стоять ни за нѣмецкую философію, ни за философію вообще, тѣмъ болѣе что кантова философія была только критикой философическихъ идей. Мы сравнимъ только занятіе философіею съ наслажденіемъ купанья въ морѣ и укажемъ на поэзію самого подвига кантова, которая увлекла Шиллера въ неизвѣстный ему міръ. Она не рѣшила ему сомнѣній религіозныхъ, не опре-

дѣлила его направлениѣ художническаго, но она раз-
двинула объемъ идей его, убѣдила въ нелѣпости
скептицизма, показала благородное направлениѣ ума
человѣческаго въ трудѣ, которымъ долженъ купить
познаніе, покорить науку. Она возвысила передъ
Шиллеромъ нравственное достоинство человѣка, убѣ-
ждая его силою ума въ небесномъ происхожденіи
его, не доказывая этой высокой истины отверженiemъ
перваго и единственнаго отличія человѣка отъ жи-
вотныхъ, ума, не связывая воли его безусловнымъ по-
виновенiemъ угрюмому догмату, прежде всякаго из-
слѣдованія.

Но то, чего могъ лишить поэта философъ Кантъ,
съ избыткомъ вознаграждалъ ему нѣкогда ученикъ,
тогда противникъ Канта — явленіе высокое и утѣши-
тельное въ мірѣ мысленія, отрадное въ мірѣ поэзіи:
мы говоримъ о *Гердерѣ*. Зная имя его, въ Россіи
весьма мало знаютъ его многочисленныя, разнообраз-
ныя творенія. Уступая въ силѣ мысли Канту, слу-
житель религіи, онъ шелъ въ философію изъ противо-
положной точки зрѣнія, радужными цвѣтами поэзіи
облекалъ уроки исторіи, и тамъ, гдѣ неумолимый
Кантъ обращался къ силлогизму ума, онъ извлекалъ
доказательства изъ вѣры сердца, можетъ-быть еще
больше убѣдительной, нежели доказательства логики,
если она освѣщена свѣтомъ ума. Необъятная ученость
философа Канта замѣнилась у Гердера энциклопеди-
ческимъ образованіемъ поэта, и приводя къ единству
идей историческія, также къ единству приводилъ
безчисленные звуки, которыми отозвалась въ мірѣ

поэзія. Гердеръ знакомилъ Германію съ Шекспиромъ и Кальдерономъ, съ востокомъ и сѣверомъ. Какъ чловѣкъ, въ противоположность Канту, уединенному, суровому, своеуравненному, Гердеръ былъ весь любовь, весь чувство.

Къ Канту и Гердеру присоединился еще одинъ чловѣкъ необыкновенный, мистикъ въ сердцѣ, эпикуреецъ въ твореніяхъ, стоикъ въ жизни, роскошный любимецъ грацій, германецъ душою и житель Аенінъ по образованію, сохранившій до глубокой старости беззаботную веселость младенца.— Виландъ, бывшій двадцать-пятью годами старше, и осемью годами пережившій Шиллера. Его остроумная насмѣшливость, его страсть къ міру древнихъ, его критическое наблюденіе увлекали Шиллера въ поэтическую область искусства древнихъ, знакомили съ изученіемъ пластического взгляда ихъ на природу. Если Кантъ указывалъ поэту на бесконечную область вѣдѣнія, Гердеръ наполнялъ его идеями, Виландъ уводилъ Шиллера къ юности человѣчества.

Обращаемся наконецъ къ тому, кто болѣе всѣхъ другихъ споспѣществовалъ перевоспитанію Шиллера: — то былъ Гёте.

Не мѣсто здѣсь изображать исполинскій образъ человѣка, втеченіе шестидесяти лѣтъ пережившаго и перечувствовавшаго всѣ идеи, всѣ впечатленія своего времени. Не замѣчательно-ли, что если Гёте не понравился Шиллеру при первомъ свиданіи, Шиллеръ также не понравился Гёте, считавшимъ его безрасуднымъ мечтателемъ? Уже въ бытность Шиллера въ

Іенъ, нечаянный разговоръ послѣ засѣданія ученаго общества сблизилъ ихъ. Съ тѣхъ поръ дружба ихъ продолжалась до кончины Шиллера, и едва-ли Шиллеръ не былъ единственнымъ исключеніемъ, для котораго Гёте нарушилъ доступность сердца, и безстрастіе, въ чемъ полагалъ высшую степень силы человѣческой. Гёте съ восторгомъ смотрѣлъ на Шиллера, какъ на истинный идеалъ поэта, изучалъ въ немъ святое чувство поэзіи и самъ оживалъ новою жизнью въ бесѣдѣ съ нимъ. Въ 1794 году писаль онъ Шиллеру: „Всегда удивлялся я той прямодушной и столь рѣдкой добросовѣстности, которая видна во всемъ, что вы пишите, дѣлаете, и отъ васъ самихъ хочу я узнать переходы вашего духа, особенно въ послѣдніе годы.“ Черезъ четыре года потомъ, Гёте говорилъ Шиллеру: „Если я былъ для васъ представителемъ виѣшняго, вы отвлекли меня отъ виѣшняго къ внутреннему изученію самого себя, — вы создали мнѣ вторую юность — снова сдѣлали меня поэтомъ.“ Все, что писалъ Гёте, посыпалъ онъ Шиллеру, руководствовался его совѣтами, сообщалъ ему свои планы, идеи, мысли, чувства, сочинялъ съ нимъ вмѣстѣ, и вдохновеній сердца его слушался болѣе рѣшеній собственнаго ума. Но за то онъ показалъ Шиллеру дѣтское мелочничество современаго искусства, научилъ его презирать то, что „всѣ хвалятъ кроиѣ самаго художника“, научилъ его „не жалѣть о томъ, чего у насъ нѣтъ, и цѣнить то, что мы имѣемъ“, дорожить мыслью, и предоставлять все остальное случаю и времени. Гёте открылъ Шиллеру великую тайну простоты тво-

ренія при самознаніи, и тайну самобытности духа среди виѣшнихъ впечатлѣній. Онъ показалъ ему сущность изящного, видимую въ твореніяхъ древнихъ, чего не могли объяснить ни Виландъ, ни эстетики.

И среди столь различныхъ элементовъ изученія, при неусыпномъ трудѣ, созрѣлъ гений Шиллера.

Тихою грустью сердца сдѣлались его прежніе порывы скорби, мирнымъ весельемъ души стали его необузданые восторги. Онъ нашелъ миръ между идеалами и существенностью въ разнообразныхъ явленіяхъ жизни, хотя иногда прорывалась невольная жалоба изъ его болѣющей груди. Вотъ замѣчательное стихотвореніе, которымъ встрѣтилъ онъ новый, столь много обѣщавшій, столь мало исполнившій, девятнадцатый вѣкъ:

„Благородный другъ! гдѣ найдутъ себѣ убѣжище миръ и свобода? Въ буряхъ кончился вѣкъ протекшій, и смертью являетъ себя новый вѣкъ.

Разорваны связи между народами, сокрушились прежнія формы и бѣшенство войны не смирили ни Океанъ, ни богъ Нила, ни древній Рейнъ.

Два могучіе народа спорятъ о владычествѣ надъ міромъ, и двигаютъ молніями и трезубцомъ, уничтожая свободу всѣхъ другихъ народовъ.

Всѣ должны нести имъ золото и, какъ древле Брени, франкъ кладетъ булатный мечъ свой на вѣсы справедливости.

Торговые флоты свои простираетъ повсюду британецъ, какъ многорукій поліпъ, и область свободной Амфитриды хочетъ замкнуть, какъ замкнуло свое царство.

До безвѣстныхъ звѣздъ южнаго полюса простираеть онъ набѣгъ, захватываеть острова и пребрежья, и— нигдѣ не находитъ рая.

Ахъ! тщетно на картѣ земли будешь ты искать счастливой страны, гдѣ были бы вѣчно зеленѣющіе сады радости и продолжалась прекрасная юность че-ловѣчества.

Безконечно разстилается передъ тобою міръ и едва можетъ самое мореплаваніе измѣрять его; но на его неизмѣримой поверхности нѣтъ мѣста и десяти счастливымъ.

Въ святое уединеніе сердца долженъ ты бѣжать отъ волненій міра! Радость осталась только въ области меч-таній, а прекрасное цвѣтеть только въ пѣснопѣніяхъ“.

Руководимый Гёте, Шиллеръ перенесъ многостороннюю дѣятельность науки въ единство труда, и всеобъем-лемость духа въ созданія поэтическія. Не въ идеалахъ искалъ онъ теперь жизни, . но научился въ формахъ жизни открывать идеалы и возсоздавать могучею фан-тазіею поэта живые образы ея. Валленштейнъ его былъ плодомъ мысли, возведенной въ художественное твореніе. *Марія Стюартъ, Орлеанская Дѣва, Мессин-ская Невѣста*, были твореніемъ генія, созиавшаго себя и жизнь. *Вильгельмъ Телль* явился послѣднимъ выраженіемъ плодотворной мысли поэта, который понялъ тогда Шекспира. Такимъ долженствовалъ быть его *Дмитрий Самозванецъ*, котораго хотѣлъ дописать Гёте по смерти друга своего.

Гёте не присутствовалъ при смертномъ одрѣ Шил-лера. Онъ самъ былъ тогда боленъ, и отъ него

скрывали опасность и смерть Шиллера, которого встрѣтилъ онъ за нѣсколько дней, выйдя подышать свѣжимъ воздухомъ весны. Шиллеръ, уже больной, шелъ въ театръ. „Я потерялъ друга,“ писалъ Гёте черезъ мѣсяцъ по смерти Шиллера, „и въ немъ потерялъ половину моего бытія. Мнѣ надобно бы теперь начать новый образъ жизни, но въ мои годы это невозможно. Смотрю на грядущіе дни, не думая о себѣ, дѣлаю что ближе ко мнѣ, и ничего не предполагаю для завтра... Мнѣ предлагаютъ торжествовать память умершаго театральнымъ праздникомъ: люди изъ всякой потери и всякого несчастія дѣлають себѣ забаву (*einen Spass herauszubilden suchen*)...“

Заключимъ указаніемъ на одно изъ послѣднихъ стихотвореній Шиллера—„*Прощаніе со читателемъ*“, которое начинаетъ онъ словами: „Умолкла музы и съ дѣвственnoю стыдливостью ждетъ приговора, который чтитъ она, но котораго не боится. Она чувствуетъ себя достойною вѣнка изъ рукъ того, въ чьей груди бьется сердце для изящнаго“.

„Не долго хотятъ жить мои пѣсни“, говорилъ унылый поэтъ, „не долго—пусть порадуется ими чувствующее сердце, которое окружать они созданіями фантазіи и побудять къ высокимъ сочувствіямъ. Не хотятъ они устремляться къ отдаленному потомству. Мгновенно рожденныя, они улетаютъ съ полетомъ времени, окруженныя легкимъ хороводомъ часовъ.“

„Пробуждалась весна, и на согрѣтыхъ солицемъ лугахъ возбуждена свѣжая жизнь; жадно пьетъ ее прозиabenіе, и подъ небесами раздаются веселые хоры

пѣвцовъ; старецъ, юноша сѣмѣнѣть наслаждаться вѣ-
яньемъ весны и веселить слухъ и взоръ.

Der Lenz entflieht! Die Blume schiesst in Samen,
Und keine bleibt von allen, welche kamen....

„Пролетѣла весна; цветы превратились въ сѣмена,
и никто не остается изъ тѣхъ, которые приходили“.

Какія сѣмена привнесла человѣчеству весна поэти-
ческой жизни Шиллера? Что осталось отъ него въ
сокровищницахъ поэзіи? Переходимъ къ его твореніямъ.
Поэта мы теперь знаемъ. (*)

(*) Слѣдующихъ статей этой монографіи Губеромъ не было
напечатано.—A. T.

ЛОМОНОСОВЪ.

(Библ. д. Чт. 1840 г., XLII, 75—106 стр.).

Сегодня; не далъе какъ сегодня по утру, принесли ко мнѣ изъ книжной лавки, куда я посыпалъ за „новостями“, кипу книгъ, завернутую въ листъ розовой бумаги и очень красиво завязанную. Я былъ увѣренъ, что это чудные плоды нашего современаго гenія. Съ любопытствомъ разрѣзываю снурокъ, срываю розовую завертку.... Ломоносовъ! Новое изданіе Ломоносова!...

Кто могъ ожидать такой нечаянности? И сколько мыслей должно было родиться въ умѣ, сколько воспоминаний взволноваться въ душѣ, при видѣ этихъ обновленныхъ *incunabula* нашего книжнаго величія!

Когда въ жизни народа совершаются тѣ умственные перевороты, которые имѣютъ въ ней то же самое значеніе, какое имѣютъ различные возрасты въ жизни каждого отдельнаго человѣка, тогда сподвижниками этой внутренней реформаціи являются люди съ пылкими страстями, съ твердою волею и чудными характерами. И на этихъ избранниковъ міра, на этихъ дви-

гателей человѣческой мысли падаетъ вся тяжелая ноша переворота; на нихъ ложится томительная забота о новыхъ потребностяхъ; въ нихъ совершается страшная и кровавая борьба старого времени и нового вѣка; ихъ преслѣдуетъ своимъ глупымъ проклятіемъ современный предразсудокъ: они отрекаются отъ милыхъ привычекъ старины для того, чтобы замѣнить закоренѣлые болѣзни новымъ, но еще невѣрнымъ здоровьемъ. Не много дней дано этимъ людямъ на совершение великихъ обязанностей: судьба скучится временемъ для своихъ избранниковъ. Тревожныя заботы съ зарей разбудятъ ихъ отъ краткаго отдыха, а вѣчные мысли, въ позднюю ночь, снова убаюкаютъ на минутный и беспокойный сонъ. Безпрерывная дѣятельность изнуряетъ бѣдное, ломкое тѣло, и скоро оно износится подъ бременемъ своего тяжелаго назначенія. Толпа съ любопытнымъ недовѣріемъ смотритъ на эти странныя, рѣдкія явленія, слѣдуетъ за ними завистливымъ глазомъ, клеветой или равнодушіемъ заграждаетъ пути, и наконецъ съ досадой именуетъ своими *геніями*. И вотъ печальная награда бѣдныхъ мучениковъ добра: вѣчная борьба съ недоразумѣніями времени, недовѣріе и ненависть при жизни, а за могилой — слабый отголосокъ въ исторіи вѣковъ, безполезная слава.

Таково назначеніе, таковъ и характеръ этихъ людей. Ихъ волнуютъ благородныя страсти; новые угаданныя потребности вѣка вызываютъ бурную дѣятельность, и смѣлые силы дробятся въ многостороннемъ назначеніи. Не ищете между ними холодныхъ умовъ, ко-

торые съ неизмѣннымъ терпѣніемъ роются въ пыли застарѣлыхъ понятій и согрѣваютъ чужимъ огнемъ свои бездушныя созданія. Далеко этимъ покойнымъ, самодовольнымъ труженикамъ до пылкаго генія, который творить и разрушаетъ, въ вѣчномъ движеніи борется съ массами новыхъ понятій и съ мозолями труда, на подмосткахъ своего своебытнаго созданія, проклинаетъ съ ужаснымъ недовѣріемъ къ самому себѣ нищету своихъ неполныхъ начинаній. Недовольный собой, недовольный другими, съ полнымъ сознаніемъ нуждъ и съ недовѣріемъ къ силѣ, неутомимый и гордый, несправедливый и благородный онъ останется вѣчною загадкою для современниковъ и яркимъ свѣтиломъ для будущихъ поколѣй. Онъ кладетъ богатое сѣмя въ необработанную землю, жадными руками роется въ тощихъ пескахъ бесплодной нивы, и можетъ-быть никогда не дождется исходу того, что самъ онъ посыпалъ въ потѣ лица, въ слезахъ надежды и съ горькимъ недовѣріемъ.

И вотъ печальная участъ безсмертнаго генія! Вотъ жалкая доля великаго избранника судьбы!

А слава?....

Да! можетъ-быть онъ и доживеть до этой славы, дотянеть какъ-нибудь изнуренное тѣло до золотаго преддверія къ храму безсмертія, и въ прахъ разсыплется на этомъ блестательномъ порогѣ, какъ Торквато Тассо на порогѣ Капитолія. Можетъ-быть, онъ за-живо еще узнаетъ всѣ утѣшенія этой славы, этихъ звонкихъ погремушекъ, этого глупаго удивленія толпы и этой благосклонной, снисходительной улыбки

гордецовъ. Нечего сказать, завидная доля, завидная слава!

Не мудрено, ежели онъ въ вѣчной борьбѣ съ клеветой и съ недовѣріемъ ожесточается противъ людей; немудрено, что онъ раздражителенъ, непреклоненъ и даже несправедливъ къ тому или другому; передъ нимъ одна высокая цѣль, которой онъ жертвуетъ собой и другими, священная цѣль общаго блага, общаго добра. Онъ зоркимъ глазомъ слѣдить эту цѣль и только видить и ненавидить тѣ, что ей мѣшаютъ.

Таковъ былъ и Ломоносовъ.

Прошелъ огромный вѣкъ, прошла великая пора,
„Когда Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ гениемъ Петра.“

Поле, застяяное рукою державнаго съятеля уже приносило богатые плоды. Россія, обновленная могу-
чую волею исполина — Петра, заняла свое высокое мѣсто въ политическихъ дѣлахъ Европы, которая смотрѣла на нее съ трепетнымъ удивлениемъ. Но, въ этомъ быстромъ преобразованіи, умственное развитіе народа не могло идти рука обь руку съ политическимъ развитіемъ страны. Тысячи новыхъ понятій со всѣхъ сторонъ обогащали Россію, и языкъ не успѣвалъ за понятіями. Съянна науки, брошенныя рукою Петра въ родную землю, готовили богатую жатву, но это обширное поле ожидало своихъ земледѣльцовъ. И бѣдный рыбакъ изъ Холмогоръ сильными руками принялъся за это трудное дѣло. Съ твердою волею, съ желѣзнымъ характеромъ, съ пламеннымъ воображе-

ніемъ, онъ вышелъ изъ своей далекой родины на скользкое поприще огромнаго труда. Онъ былъ проникуть духомъ великаго преобразователя Россіи; на немъ покоилось благословеніе Петра.

На ледяныхъ берегахъ Бѣлого Моря, въ дымной хижинѣ бѣднаго рыбака, родился чудный младенецъ, котораго судьба избрала своимъ орудіемъ. Угрюмая природа далекаго сѣвера встрѣтила первое развитіе будущаго генія, приняла его первый младенческій лепетъ.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ томила Ломоносова неизвѣстная жажда знанія; и небо, покрытое пожаромъ сѣвернаго сіянія, и долгія ночи, украшенныя міріадами звѣздъ, все подстрекало эту неодолимую жажду, все говорило ему о чудесахъ природы, все волновало, все тревожило эту пылкую душу, котрая даже не умѣла давать себѣ отчета въ своихъ ощущеніяхъ. И ребенокъ принялъся за книги; дни и ночи проводилъ за ними; но какія пособія могли развить его способности въ этой темной и бѣдной землѣ? Старики-отецъ косился на мудреныя занятія сына; его первые успѣхи встрѣтили угрозами и побоями; отъ него прятали книги и онъ наконецъ укралъ у сосѣда мудреную грамматику Смотрицкаго, да безтолковую ариѳметику Магницкаго: онъ выучилъ наизусть грамматику; онъ затвердилъ на память ариѳметику: и вотъ первые источники всей мудрости нашего Ломоносова! Но эти источники не удовлетворяли пылкаго юношу, который чувствовалъ, что не на нихъ остановилось человѣческое знаніе. Тайный голосъ вызывалъ его впередъ,

изъ тѣсной хаты отца, на шумное поприще новой, еще незнакомой дѣятельности. И Ломоносовъ жаднымъ ухомъ приникъ къ таинственному голосу, впился въ свою любимую мечту; темная шестимѣсячная ночь холодной родины пугала и гнала его отъ себя,—и онъ рѣшился. Но на что же рѣшился онъ? Кто его прійметъ, кто прокормитъ, кто наконецъ будетъ учить семнадцатилѣтняго мужика, который такъ далеко отсталъ отъ своихъ грамотныхъ сверстниковъ? Но объ этомъ Ломоносовъ и не думалъ и не беспокоился. Онъ зналъ одно: что ему не сдобровать на родинѣ, что можетъ-быть въ Москвѣ онъ выучится тому, чего нѣть ни въ бѣдной грамматикѣ его, ни въ жалкой ариѳметикѣ.

Наступила ночь, зимняя, холодная; тихо въ хатѣ; спить отецъ; Ломоносовъ, дрожа и молясь, встаетъ съ постели, съ горькими угрызеніями совѣсти глядитъ на спящаго отца: онъ чувствуетъ весь ужасъ своего преступленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всю его необходимость. Тихо отворилъ онъ двери, тихо вышелъ на дворъ, на улицу, и побѣжалъ по бѣлой дорогѣ вслѣдъ за обозомъ, который съ рыбой пошелъ торговатъ въ Москву.

Куда идетъ этотъ бѣдный безумецъ, безъ друзей и безъ денегъ, противъ воли отца, безъ роднаго благословенія? О! не останавливайте его! Не держите орла на привязи! Пускай идетъ! У него хороший провожатый: его судьба. Пускай идетъ! Это—шествіе генія къ его далекой, невѣдомой цѣли. И кто разгадаетъ это таинственное шествіе, кто пойметъ эту не-

видимую силу, которая такъ неодолимо влечеть из-браника судьбы?

Ломоносовъ въ Москвѣ. Не люди, а судьба заботится о немъ. Первый шагъ сдѣланъ: его опредѣлили въ заиконоспасское училище. Съ жаромъ принялся онъ за книги, побѣжалъ препятствія, боролся съ нуждой, и все съ одной надеждой на будущее. Гдѣ та страница, на которой впослѣдствіи онъ самъ писалъ объ этомъ къ Шувалову? Вотъ она!

„Не ради тщеславія, но ради моего оправданія, позвольте мнѣ сказать, что отецъ мой по натурѣ былъ добрый человѣкъ, и въ крайнемъ невѣжествѣ воспитанный, а злая и завистливая мачиха всячески старалась произвестъ гнѣвъ въ отцѣ моемъ, представляя, что я сижу попустому за книгами. Отчего многократно принужденъ я былъ читать и учиться, чему только могъ, въ уединенныхъ мѣстахъ и терпѣль стужу и голодъ, пока ушелъ въ Спасскія школы. Тамъ обучась, имѣль я со всѣхъ сторонъ отвращающіе отъ наукъ пресильныя стремленія, которые въ тогдашнія мои лѣта почти неопреодолѣнную имѣли силу. Съ одной стороны отецъ, у которого дѣтей кроме меня не было, говорилъ, что бывши я единственный сынъ, оставилъ его, оставилъ все довольство, которое онъ кровавымъ пѣтомъ нажилъ и которое послѣ его смерти чужіе расхитять. Съ другой стороны несказанная бѣдность; имѣя одинъ алтынъ жалованья въ день, нельзя было имѣть въ день пропитанія болѣе какъ на денежку хлѣба и на денежку квасу, а прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Съ одной стороны

пишутъ, что зная достатки моего отца, хорошие люди дочерей своихъ за меня выдадуть; съ другой, школьники, малые ребята, кричать и перстами указываютъ. „Смотри, какой болванъ, лѣтъ въ двадцать пришелъ Латини учиться!“ Такимъ образомъ жилъ я лѣтъ пять, а наукъ не оставилъ.“

Нѣтъ, онъ и тогда не оставлялъ ихъ, когда убѣдился, что не того искала душа его, чѣмъ предлагали ей на школьныхъ скамейкахъ училища. Но кто опишеть тревогу неудовлетвореннаго, ненасыщенаго стремленія, которое наконецъ заставило Ломоносова упросить своихъ наставниковъ, чтобы его послали въ Кіевъ для изученія математики, физики и философіи? Его послали! — и вотъ Ломоносовъ въ Кіевѣ. Съ прежнимъ жаромъ онъ принимается за новыя науки, роется въ старинныхъ лѣтописяхъ, сидитъ за Аристотелемъ, и снова убѣждается, что не того искала душа его. И опять повторяются тѣ же внутреннія мученія, и опять тайный голосъ нудить, зоветъ, гонить его впередъ, впередъ, къ далекой цѣли. Но гдѣ же она, эта далекая цѣль, эта невидимая граница гenія? И грустенъ и веселъ этотъ невѣдомый путь, и только немногіе ходятъ по немъ, не боясь преградъ, не зная усталости.

Черезъ годъ Ломоносовъ возвратился въ Москву, онъ былъ по прежнему недоволенъ собой, между-тѣмъ какъ другіе удивлялись его успѣхамъ. Вместо живаго знанія онъ встрѣтилъ мертвую науку, и понялъ всю неполноту этой условной мудрости. Проницательный умъ Феофана отличалъ Ломоносова и можетъ-быть

предугадывалъ его будущую судьбу. Въ это время петербургская академія требовала изъ Москвы нѣсколькихъ семинаристовъ для дальнѣйшаго образованія. Въ числѣ избраниковъ отправили и Ломоносова. Это назначеніе оживило его, и онъ готовился съ гордыми надеждами на новые труды.

Передъ нимъ молодая столица съвера, гранитное дитя Петровой мысли, передъ нимъ — академія съ своими Эйлерами, Бильфингерами, Байерами. Теперь онъ, кажется, у цѣли; теперь наконецъ насытится эта безграничнаѧ жажда знанія. Математика, философія, химія, физика, минералогія: сколько громкихъ наукъ! сколько новыхъ предметовъ! Но два года прошло въ безпрерывныхъ и неутомимыхъ занятіяхъ; Ломоносовъ зналъ уже все, что только могъ узнать въ академической гимназії: и можетъ быть онъ наконецъ доволенъ своими трудами? Нѣть, старая знакомая, тоска нашла его и здѣсь; томительные мысли не отстаютъ отъ него; онъ съ горькимъ уныніемъ качаетъ головой: нѣть, не того искали душа его! Ему дали ту же грамматику Смотрицкаго, только въ другомъ переплетѣ, въ другихъ размѣрахъ. Тайный голосъ по-прежнему зоветъ Ломоносова, и академія отправляетъ его въ Германію.

Но чѣдь была Германія въ то время?

Она находилась подъ вліяніемъ постороннихъ начальствъ. Внѣшнія сношенія съ другими державами ознакомили ее съ новыми понятіями и съ новыми языками, которые испестрили германскую литературу своими фразами, своими словами. Одичалая Германія заимствова-

Ф

ла у Франції трудную науку обхожденія, и дивилась произведеніямъ ея литературы. Отсюда явились грубые подражанія, безъ всякой самостоятельности, и многочисленные французскіе обороты, которые препятствовали прямому развитію нѣмецкаго языка. Но и въ то время жили люди съ свѣтлыми умами, которые далеко опередили вѣкъ своими твореніями, жили Лейбницъ и Вольфъ, его ученикъ, толкователь и соперникъ. Къ Вольфу академія отправила и нашего Ломоносова. Критика хромала; поэзія спала; сочиненія Готшеда давали только историческое понятіе о различныхъ родахъ поэзіи. Въ нихъ излагались застарѣлые правила и холодныя сентенціи. Идеи Брейтингера и Бодмера противорѣчили сухому Готшеду. Они требовали картинъ отъ поэта, и требовали подражанія природѣ. Но они не опредѣляли этого подражанія, освободили поэзію отъ оковъ, а не знали чѣмъ и какъ наполнить выигранное мѣсто. Теорія путалась; бездарная посредственность тѣшилась своей бездарной крѣпкостью; обыкновенные дарованія погибали безъ вѣрныхъ путеводителей: только сатира говорила колкимъ языкомъ умнаго Рабенера. Въ литературѣ господствовала пустота и отсутствіе всякаго поэтическаго одушевленія; вся поэзія Германіи въ это время имѣла только одного истиннаго поэта,—буйнаго, развратнаго Гюнтера. Любопытно мнѣніе Гёте объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ:

„Поэзіи этого времени недоставало національнаго содержанія, но въ дарованіяхъ она не нуждалась. Стоитъ указать на одного только Гюнтера, который

былъ поэтъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Рѣши-
тельный талантъ, исполненный чувственности, вообра-
женія, памяти и способности представленія; онъ былъ
плодороденъ въ высшей степени, легко владѣть ри-
мою, былъ уменъ, остеръ, и получилъ многосторон-
нее образованіе; словомъ сказать, онъ обладалъ всѣмъ,
что даетъ поэзіи силу одушевить новою, второю
жизнію ежедневный ходъ обыкновенной нашей жизни.
Мы удивляемся той легкости, съ которой онъ согрѣ-
валъ свои заказныя стихотворенія на разные случаи
высокими чувствами, и украшалъ ихъ приличными
размышленіями, картинами, историческими и басно-
словными преданіями. Что было грубаго и дикаго въ
этихъ стихахъ, то принадлежитъ духу времени, образу
жизни поэта и въ особенности его характеру или,
вѣрнѣе, его безхарактерности. Онъ не умѣлъ управлять
собою и жизнь его разлетѣлась вмѣстѣ съ его поэзіей“.

Ломоносовъ съ жаромъ учился у извѣстнаго Вольфа.
Новыя идеи тѣснились въ пламенную голову; новыя
страсти закипѣли въ груди и пылкое воображеніе за-
горѣлось новымъ огнемъ. Теперь уже и слава издали
манила его и яснѣе выказывалась далекая цѣль. Фило-
софія и естественные науки, Вольфъ, Генкель и Кра-
меръ, вотъ его руководители и наставники. Въ то же
время онъ изучаетъ германскую литературу, которая
открываетъ ему новый міръ поэзіи. Онъ съ жадностю
прислушивается къ стройной гармоніи германскаго сти-
ха и съ робкимъ недовѣріемъ примѣняетъ его размѣ-
ры къ громкимъ и сладостнымъ звукамъ роднаго язы-
ка. Онъ избираетъ Гюнтера своимъ образцомъ и въ

этихъ несмѣлыхъ попыткахъ, почти самъ того не зная, совершаеть великое дѣло, великий переворотъ русской поэзіи и русскаго слова. Его устами впервые заговорила наша муга въ стройныхъ размѣрахъ новаго стиха. Въ это время доходитъ до него извѣстіе о взятіи Хотинъ: русская побѣда вдохновляетъ русскаго поэта; перо не успѣваетъ за мыслями, стихи выливаются живымъ потокомъ на мертвую бумагу, и вотъ первая русская ода, написанная ямбическими стихами:

Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ,
Ведеть на верхъ горы высокой,
Гдѣ вѣтеръ въ лѣсахъ шумѣть забылъ;
Въ долинѣ тишина глубокой.
Внимая нѣчто, ключъ молчитъ,
Который завсегда журчить,
И съ шумомъ внизъ холмовъ стремится;
Лавровы вьются тамъ вѣнцы,
Тамъ слухъ спѣшить во всѣ концы;
Далече дымъ въ поляхъ клубится.

Не Пиндъ ли подъ ногами зрю?
Я слушу чистыхъ сестръ музыку;
Пермесскимъ жаромъ я горю,
Теку поспѣшно къ оныхъ лицу,
Врачебной дали мнѣ воды:
Испей и всѣ забудь труды;
Умой росой каstальской очи,
Чрезъ степь и горы взоръ простри,
И духъ свой къ тѣмъ странамъ впери,
Гдѣ всходить день по темной ночи.

Карабль какъ ярыхъ волнъ среди,
Которыя хотятъ покрыти,
Бѣжитъ, срыва съ нихъ верыхи,
Претитъ съ пути себя склонити:
Сѣдая пѣна вокругъ шумитъ;
Въ пучинѣ слѣдъ его горитъ,
Къ россійской силѣ такъ стремятся,
Кругомъ объѣхавъ тьмы Татаръ;
Скрываетъ небо конскій паръ!
Что-жъ въ томъ? — стремглавъ безъ душъ валятся.

Крѣпить отечества любовь
Сыновъ россійскихъ духъ и руку;
Желаетъ всякъ пролить всю кровь,
Отъ грознаго бодрится звуку,
Какъ сильный левъ стада волковъ,
Что кажутъ острыхъ рядъ зубовъ,
Очей горящихъ гонитъ страхомъ;
Отъ реву лѣсь и брегъ дрожитъ,
И хвостъ песокъ и пыль мутитъ,
Разить, извившись сильнымъ махомъ.

Не мѣдь ли въ чревѣ Этны ржетъ,
И съ сѣрою кипя, клокочеть?
Не адъ ли тяжки узы рветъ
И челюсти разинуть хочетъ?
То родъ отверженной рабы,
Въ горахъ огнемъ наполнивъ рвы,

Металлъ и пламень въ долъ бросаетъ,
Гдѣ въ трудъ избранный нашъ народъ
Среди враговъ, среди болотъ,
Чрезъ быстрый токъ на огнь дерзаетъ.

За холмы, гдѣ паляща хлябъ,
Дымъ, пепель, пламень, смерть рыгаетъ,
За Тигръ, Стамбулъ, своихъ заграбъ,
Что камни съ береговъ сдираетъ:
Но чтобъ орловъ сдержать полетъ,
Такихъ препонъ на свѣтѣ нѣтъ;
Имъ воды, лѣсъ, бугры, стремнины,
Глухія степи, равенъ путь:
Гдѣ только вѣтры могутъ дуть,
Проступять тамъ полки орлины.

Пускай земля какъ Понтъ трясеть,
Пускай вездѣ громады стонутъ,
Премрачный дымъ покроетъ свѣтъ,
Въ крови молдавски горы тонутъ:
Но вамъ не можетъ то вредить,
О Россы, васъ самъ рокъ покрыть
Желаетъ для счастливой Анны.
Уже вашъ къ Ней усердный жаръ,
Быстро проходитъ сквозь татаръ,
И путь отворенъ вашъ пространный.

Скрываетъ лучъ свой въ волны день,
Оставивъ бой ночнымъ пожарамъ;
Мурза упалъ на долгу тѣнь;
Взять купно свѣтъ и духъ Татарамъ;

Изъ лывъ густыхъ выходитъ волкъ
На блѣдный трупъ въ турецкій полкъ.
Иной въ послѣдни видя зорю;
Закрой, кричитъ, багряный видъ,
И купно съ нимъ Магмедовъ стыдъ,
Спустись поспѣшно съ солнцемъ къ морю.

Что такъ тѣснить боязнь мой духъ?
Хладѣютъ жилы, сердце ноетъ!
Что бьетъ за страшный шумъ въ мой слухъ?
Пустыня, лѣсь и воздухъ воетъ!
Въ пещеру скрылъ свирѣпство звѣрь
Небесная отверглась дверь;
Надъ войскомъ облакъ вдругъ развился,
Блеснулъ горящимъ вдругъ лицемъ;
Омытымъ кровю мечемъ
Гоня враговъ, герой открылся.

Не сей ли при донскихъ струяхъ
Разсыпалъ вредны Россамъ стѣны?
И Персы въ жаждущихъ степяхъ
Не симъ ли пали пораженны?
Онъ такъ къ своимъ взиралъ врагамъ,
Какъ къ готѣскимъ приплывалъ брегамъ;
Такъ сильно возносилъ десницу,
Такъ быстрый конь его скакаль,
Когда онъ тѣ поля топталъ,
Гдѣ зримъ всходящу къ намъ десницу.

Кругомъ его изъ облаковъ
Гремящіе перуны блещутъ,
И чувствуя приходъ Петровъ,
Дубравы и поля трепещутъ.
Кто съ нимъ толь грозно зритъ на югъ,
Одѣянъ страшнымъ громомъ вкругъ?
Никакъ смиритель странъ казанскихъ?
Каспийски воды, сей при васъ
Селима гордаго потрясъ,
Наполнилъ степь головъ поганскихъ.

Герою молвилъ тутъ герой:
„Не тщетно я съ тобой трудился,
Не тщетенъ подвигъ мой и твой,
Чтобъ Россовъ цѣлый свѣтъ страшился,
Чрезъ нась предѣль нашъ сталъ широкъ,
На сѣверъ, западъ и востокъ.
На югъ Анна торжествуетъ,
Покрывъ своихъ побѣдой сей.“
Свилася мгла, герои въ ней;
Не зритъ ихъ око, слухъ не чуетъ.

Крутитъ рѣка татарску кровь,
Что протекала между ними;
Не смѣя въ бой пуститься вновь,
Мѣстами врагъ бѣжитъ пустыми,
Забывъ и мечъ, и станъ, и стыдъ,
И представляетъ страшный видъ

Въ крови друзовъ своихъ лежащихъ.
Уже тряхнувшись легкій листъ,
Страшитъ его, какъ ярый свистъ
Быстро сквозь воздухъ ядръ летящихъ.

Шумитъ съ ручьями боръ и долъ:
Побѣда, росская побѣда!
Но врагъ, что отъ мечя ушолъ,
Боится собственного слѣда.
Тогда, увидѣвъ бѣгъ своихъ,
Луна стыдилась сраму ихъ,
И въ мракъ лицо, зардѣвшись, скрыла!
Летаетъ слава въ тымъ ночной,
Звучить во всѣхъ земляхъ трубой:
Коль Росская ужасна сила!

Вливаясь въ понтъ, Дунай реветъ,
И Россовъ плеску отвѣщаетъ,
Ярясь волнами Турка льетъ,
Что стыдъ свой за него скрываетъ.
Онъ рыщетъ какъ произенный звѣрь,
И чаетъ, что уже теперь
Въ послѣдній разъ заносить ногу.
И что земля его носить
Не想要, что не могъ покрыть;
Смущаетъ мракъ и страхъ дорогу.

Гдѣ нынѣ похвальба твоя?
Гдѣ дерзость? гдѣ въ бою упорство?
Гдѣ злость на сѣверны края?
Стамбуль, гдѣ нашихъ войскъ презорство?

Ты лишь своимъ велѣль ступить,
Насъ тотчасъ чаялъ побѣдить;
Янычаръ твой свирѣпо злился,
Какъ тигръ на Россій полкъ скакалъ.
Но что?—внезапно мертвъ упалъ,
Въ крови своей пронзенъ залился.

Цѣлуйте ногу ту въ слезахъ,
Что вaszъ, Агаряне, попрала;
Цѣлуйте руку, что вамъ страхъ
Мечемъ кровавымъ показала.
Великой Анны грозный взоръ
Отраду дать просящимъ скоръ;
По страшной тучѣ возсіяеть,
Къ себѣ повинность вашу зря,
Къ своимъ любовію горя,
Вамъ казнь и милость обѣщаетъ.

Златой уже денница перстъ
Завѣсу свѣта вскрылъ съ звѣздами;
Отъ востока скачетъ по сту верстъ,
Пуская искры конь ноздрями,
Лицемъ сіяеть Фебъ на томъ:
Онъ пламеннымъ потрясъ верхомъ;
Преславно дѣло зря, дивится:
„Я мало таковыхъ видалъ
Побѣдъ, коль долго я блисталь,
Коль долго кругъ вѣковъ катился.“

Какъ въ клубъ змія себя крутитъ,
Шипитъ, подъ камень жало кроетъ,
Орель, когда шумя летитъ,
И тамъ паритъ, гдѣ вѣтръ не воестъ,
Превыше молній, бурь, снѣговъ,
Звѣрей онъ видить, рыбъ, гадовъ.
Предъ Россій такъ дрожитъ орлицей,
Стѣсняетъ внутрь Хотинъ своихъ.
Но что? въ стѣнахъ ли можетъ сихъ
Предъ сильной устоять Царицей?

Коль скоро толь тебя, Калчакъ,
Учпть Россійской вдаться власти,
Ключи вручить въ подданства знакъ,
И большей избѣжать напасти?
Правдивый Аннинъ гнѣвъ велитъ,
Что падшихъ передъ ней щадитъ:
Ея взошли и тамъ оливы,
Гдѣ Вислы токъ, гдѣ славный Ронъ,
Мечемъ противникъ гдѣ смиренъ,
Извергли духъ сердца кичливы.

О какъ красуются мѣста,
Что иго лютос сбросили,
И что на Туркахъ тягота,
Которую отъ нихъ носили!
И варварскія руки тѣ,
Что ихъ держали въ тѣснотѣ,

Въ полонъ уже несуть оковы!
Что ноги узами звучать,
Которы для отгнанья стадъ
Чужи поля топтать готовы!

Не вся твоя тутъ, Порта, казнь,
Нс такъ тебя смирять достойно,
Но большу нанести боязнь,
Что жить намъ не дала спокойно.
Еще высокихъ мыслей страсть
Претитъ тебъ предъ Анной пасть.
Гдѣ можешь ты отъ ней укрыться?
Дамаскъ, Каиръ, Алеппъ сгорить;
Обставятъ Росскимъ флотомъ Критъ;
Евфратъ въ твоей крови смутится.

Чинитъ премѣну что во всемъ?
Что очи блескомъ проницаеть?
Чистѣйшимъ съ неба что лучомъ,
И дневну ясность превышаетъ?
Героевъ слышу веселъ крикъ!
Одѣянъ въ славу Аннинъ ликъ
Надъ звѣздны вѣчность вносить круги;
И правда, взявъ перо злато,
Въ нетлѣнной книгѣ пишетъ то:
Велики коль Ея заслуги!

Витїство, Пиндаръ, усть твоихъ
Тяжчае-бъ Оивы обвинили,

За тѣмъ, что о побѣдахъ сихъ
Они-бѣ громчае возгласили,
Какъ прежде о красѣ Аєинъ:
Россія, какъ прекрасный кринъ,
Цвѣтеть подъ Анниной державой.
Въ китайскихъ чутъ Ея стѣнахъ,
И свѣтъ во всѣхъ своихъ концахъ
Исполненъ храбрыхъ Россовъ славой.

Россія, коль счастія зва ты
Подъ сильнымъ Аннинимъ покровомъ!
Какія видиши красоты
При семъ торжествованыи новомъ!
Военныхъ не страшися бѣдъ:
Бѣжитъ оттуду бранный вредъ,
Народъ гдѣ Анну прославляетъ.
Пусть злоба, зависть ядъ свой льетъ,
Пусть свой языкъ, ярясь, грызетъ,
То наша ярость презираеть.

Казацкихъ полкъ заднѣстрскій татъ,
Разбитъ, прогнанъ, како прахъ разсѣянъ,
Не смѣеть больше ужъ топтать,
Съ пшеницей гдѣ покой насыянъ:
Безбѣдно ёдетъ въ путь купецъ,
И видитъ край волнамъ пловецъ,
Нигдѣ не зналъ, плывя, препятства.
Красуется великъ и малъ;

Жить хочетъ вѣкъ, кто въ гробъ желалъ,
Влекутъ къ тому торжествъ изрядства.

Пастухъ стада гоняетъ въ лугъ,
И лѣсомъ безъ боязни ходитъ,
Пришедъ, овецъ пасетъ гдѣ другъ,
Съ нимъ пѣсню новую заводитъ.
Солдатску храбрость хвалитъ въ ней,
И жизни часть блажитъ своей,
И вѣчно тишины желаєтъ
Мѣстамъ, гдѣ толь спокойно спить;
И ту, что отъ враговъ хранить,
Простынъ усердьемъ прославляетъ.

Любовь Россіи, страхъ враговъ,
Страны полночной героиня,
Среди пространныхъ морь бреговъ,
Надежда, радость и богиня,
Велика Анна! ты добротъ
Сіяешь свѣтомъ и щедротъ!
Прости, что рабъ твой къ громкой славѣ,
Звучить, что крѣпость силъ Твоихъ,
Придать дерзнулъ некрасный стихъ,
Въ подданства знакъ Твоей державѣ.

Но Ломоносовъ, и среди этихъ блистательныхъ занятій, среди этихъ громкихъ успѣховъ, не зналъ спокойствія, не зналъ, что такое счастье. Сначала ему полюбился разгуль студенческой жизни: онъ

привыкъ отыхать отъ умственныхъ трудовъ въ живой и вольной бесѣдѣ своихъ товарищѣй, онъ дѣлилъ съ ними свои мечты, свои огромныя предположенія, и можетъ-быть многіе смѣялись надъ безумнымъ мечтателемъ.

Но среди этого поэтическаго разгула, среди постояннаго труда, его посѣтила еще другая, незнакомая страсть, и бурная душа съ жаркимъ привѣтомъ принялъ нежданнаго гостя.

Что такое любовь? откуда она? гдѣ зарождается? Кто прослѣдить ея развитіе, кто разгадаетъ конецъ? Искра, которую нечаянная встрѣча заронила въ грудь, разгорѣлась пожаромъ, обняла душу, охватила умъ. Нѣтъ было, нѣтъ будущаго; въ цѣломъ мірѣ одно только имя; но это имя горитъ алмазными буквами и въ мірѣ звѣздъ, и въ мірѣ души; съ этимъ именемъ сливаются все благое, все прекрасное. Какое наслажденіе и знать, и чувствовать, и сказать самому себѣ—она моя! завладѣть этимъ жемчугомъ созданія, оградить его собой отъ людей, хранить для себя и любить всѣмъ пламенемъ безумія! А страшныя томленія ревности, этого грознаго близнеца любви, безъ котораго она не существуетъ? Ревновать, завидовать каждой улыбкѣ, каждому мимолетному слову, дрожать при каждомъ взглядѣ, который падаетъ не на меня, плакать кровавыми словами отчаянія, и потомъ можетъ-быть снова блаженствовать въ жаркихъ объятіяхъ возлюбленной. Вотъ любовь!

Ломоносовъ влюбился въ хорошенкую нѣмочку, въ бѣдную дочь своего бѣднаго хозяина. Онъ пишетъ ей стишкы, которыхъ она не понимаетъ; онъ шепчетъ

ей слова любви, клянется безумными клятвами страсти и бѣдная Христина отъ души полюбила бѣшенаго Русскаго. Ломоносовъ женать; у Ломоносова дочь. Но въ это время упоительного счастія горькая нужда стучится въ двери и нищета со впалыми глазами, съ блѣднымъ, избитымъ лицемъ садится возлѣ несчастнаго мечтателя. Нужда и геній — сестра и братъ. Ужели эта внутренняя борьба, вѣчная и страшная тревога ума, не въ состояніи заплатить собой за громкое званіе? Нѣть, судьба испытываетъ своихъ избраниковъ и житейскими мелочами. Нужда всегда почти идетъ обѣруку съ геніемъ. Забота о черствомъ кускѣ хлѣба отрываетъ его отъ высокаго труда, поднимаетъ съ жесткой постели во время мучительного сна. Кредиторы съ безконечными счетами, голодъ, тюрьма, невольные слезы жены, вопли голодныхъ дѣтей... Только тотъ, кто самъ испыталъ всю горечь нищеты, пойметъ всѣ эти ужасы тяжкой и прозаической нужды. Единственный спаситель — терпѣніе; но это невозможная добродѣтель для генія. Терпѣть, склонить покорную голову подъ гнетъ нужды, угодждать хлѣбнику, умолять лавочника, который щетинится своимъ грубымъ торжествомъ надъ подавленнымъ великимъ умомъ, на все это не было ни силъ, ни воли у Ломоносова.. Въ этомъ ужасномъ положеніи онъ рѣшился уѣхать изъ Марбурга въ Россію. Но каково было ему оставить бѣдную жену и малютку дочь, безъ помощи, безъ покровителей, безъ хлѣба. Какія страшныя мысли должны были проходить по бурной его головѣ! Бѣдная Христина, безъ ропоту, безъ слезъ, повиновалась рѣшенію мужа и благословила его на

невѣрный и далекій путь. Она покарялась судьбѣ съ надеждою на лучшее время.

И воть Ломоносовъ снова бѣжитъ, снова перебирается съ мѣста на мѣсто и питается подаяніемъ прохожихъ. Разъ, на ночлегѣ, онъ застаетъ веселую толпу гулякъ, которые съ радушіемъ приглашаютъ его дѣлить съ ними сытный ужинъ и вкусное вино. Ломоносовъ радъ отвести душу, и съ благодарностью принимаетъ ласковое приглашеніе своихъ новыхъ пріятелей; онъ выпиваетъ стаканъ за стаканомъ; лицо проясняется; улыбка бѣжитъ по устамъ; онъ веселъ; онъ снова полнъ надеждъ, и въ сладкихъ грезахъ о будущемъ счастіи засыпаетъ на рукахъ своихъ друзей, между тѣмъ какъ прусскіе вербовщики проворными иголками пришиваютъ красный воротникъ къ его кафтану.

На другой день новаго рекрута отправили въ крѣость Везель. И воть какими путями ведетъ судьба своего безразсудного избранника! Но онъ и тутъ не потеряетъ головы; ему не новость эта борьба съ обстоятельствами; онъ одолѣетъ ихъ; она покорить свою судьбу. Безпечнымъ видомъ, веселыми пѣснями освобождается Ломоносовъ отъ бдительного надзора; кажется, ему полюбился солдатскій бытъ: онъ съ охотой принимается за новое ремесло, и никто не думаетъ обѣ его побѣгѣ въ то время, когда Ломоносовъ въ глухую ночь, уже выходитъ изъ крѣости, крадется мимо стражи, перебирается черезъ валъ, переплываетъ черезъ ровъ и безъ оглядки бѣжитъ къ недалекой границѣ. И воть она передъ нимъ: онъ опять на свободѣ!

Съ трудомъ дотащился Ломоносовъ до Амстердама, явился къ графу Головкину, и съ простодушнымъ довѣріемъ описалъ ему свое положеніе. Головкинъ принялъ радушное участіе въ странной судьбѣ своего соотечественника и, по его стараніямъ, Ломоносовъ возвращается наконецъ въ Россію. Съ новыми силами, съ пламеннымъ желаніемъ добра, онъ садится въ свои академическія кресла.

Но тамъ, гдѣ надѣялся видѣть взаимное соревнованіе, онъ встрѣтилъ холодное равнодушіе. Въ цѣлой академіи нѣтъ никакого одушевленія: каждый хлопочетъ только о себѣ; никто не думаетъ объ общемъ благѣ; Ломоносовъ опять одинъ съ своими неотступными мыслями, съ своими бурными страстями и желаніями. Онъ дорожитъ минутой, а его товарищи откладываютъ все на будущее время. Притомъ, новое положеніе Ломоносова, не успокоило его съ прозападческой стороны жизни: онъ былъ бѣденъ по прежнему и обогатился только новыми заботами. Въ то же время бѣдные рыбаки изъ Холмогоръ приносятъ ему печальную вѣсть о смерти отца. И страшное горе зашло въ душу Ломоносова. Кажется, и люди и судьба вооружились противъ него. Умеръ бѣдный старикъ, котораго онъ покинулъ въ бурные годы безразсудной молодости; умеръ обманутый отецъ, и не оставилъ сыну ни одного слова примиренія. Нѣтъ слезъ у Ломоносова; но нѣмая печаль тяжелѣе громкаго горя. Онъ одинъ безъ отца, безъ жены, безъ участія, одинъ съ своими высокими планами, посреди холодныхъ товарищъ, которые идутъ покойнымъ и медленнымъ ша-

гоми по широкой, утоптанной дорогѣ ежедневности.
Нѣтъ ни одной близкой души, нѣтъ ни одного друга!

Но въ эти страшныя минуты совершенного одиночества, поэзія приноситъ свои вдохновенія и лечить надеждами глубокую рану души. *Переложеніе Іова* доказываетъ, что Ломоносовъ писалъ стихи, не только по заказу, но и по внутреннему вдохновенію. Прочитайте со мною этотъ превосходный памятникъ его истиннаго поэтическаго одушевленія:

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человѣкъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно,
Онъ къ Іову изъ тучи рекъ!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая
И гласомъ громы прерывая,
Словами небо колебалъ,
И такъ его на распрю звалъ:

Сбери свои всѣ силы нынѣ,
Мужайся, стой и дай отвѣтъ.
Гдѣ былъ ты, какъ я въ стройномъ чинѣ
Прекрасный сей устроилъ свѣтъ;
Когда я твердь земли поставилъ,
И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ
Величество и власть мою?
Яви премудрость ты свою!

Гдѣ былъ ты, какъ передо мною
Безчисленны тьмы новыхъ звѣздъ,

Моей возженихъ вдругъ рукою
Въ обширности безмѣрныхъ мѣсть
Мое величество вѣщали;
Когда отъ солица возсияли
Повсюду новые лучи,
Когда взошла луна въ ночи?

Кто море удержалъ брегами
И бездиѣ положилъ предѣль,
И ей свирѣпыми волнами
Стремится далъ не велѣль?
Покрытую пучину мглою
Не я ли сильною рукою
Открылъ и разогналъ туманъ,
И съ суши сдвинула океанъ?

Возмогъ ли ты хотя однажды
Велѣть ранѣе утру быть,
И нивы въ день томящій жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить,
Пловцу способный вѣтръ направить,
Чтобъ къ пристани его поставить,
И тяготу земли тряхнуть,
Дабы безбожныхъ съ ней спихнуть?

Стреминами путей ты разныхъ
Прошелъ ли моря глубину,
И счель ли чудъ многообразныхъ
Стада, ходящія по дну?

Отверзлись ли передъ тобою
Всегдашнею покрыты тьмою
Со страхомъ смертныя врата?
Ты сперъ ли адовы уста?

Стѣснія вихремъ облакъ мрачный,
Ты солнце можешь ли закрыть,
И воздухъ огустить прозрачный,
И молнию въ дождѣ родить,
И вдругъ быстротекущимъ блескомъ
И горъ сердца трясущимъ трескомъ
Концы вселенной колебать
И смертнымъ гнѣвъ свой возвѣщать?

Твоей ли хитростью взлетаетъ
Орель, на высоту паря,
По вѣтру крила простираетъ
И смотритъ въ рѣки и моря?
Отъ облакъ видитъ онъ высокихъ
Въ водахъ и пропастяхъ глубокихъ,
Что я ему на пищу далъ,—
Толь быстро око ты ль создалъ?

Воззри въ лѣса на бегемота,
Что мною сотворенъ съ тобой;
Колючій тернъ его охота
Безвредно попирать ногой,
Какъ верви сплетены въ немъ жилы.
Отвѣдай ты своей съ нимъ силы!

Въ немъ ребра, какъ литая мѣдь;
Кто можетъ рогъ его сотрѣть?

Ты можешь ли Левіаѳана
На удѣ вытянуть на брегъ,
Въ самой срединѣ океана
Онъ быстрый простираеть бѣгъ;
Свѣтящимися чешуями
Покрытъ, какъ мѣдными щитами,
Копье и мечъ и молотъ твой
Считаетъ за тростникъ гнилой.

Какъ жерновъ сердце онъ имѣеть,
И зубы—страшный рядъ серповъ:
Кто руку въ нихъ вложить посмѣеть?
Всегда къ сраженью онъ готовъ;
На острыхъ камняхъ возлегаетъ,
И твердость оныхъ презираеть.
Для крѣпости великихъ силъ,
Считаетъ ихъ за мягкий иль.

Когда ко браны устремится,
То море какъ котелъ кипитъ,
Какъ пещь гортань его дымится,
Въ пучинѣ слѣдъ его горитъ;
Сверкаютъ очи раздраженны,
Какъ угль въ горилѣ раскаленный
Всѣхъ сильныхъ онъ страшитъ гоня:
Кто можетъ стать противъ меня?

Обширнаго громаду свѣта
Когда устроить я хотѣль,
Просилъ ли твоего совѣта
Для множества толпихъ дѣль?
Какъ перстъ я взялъ въ началѣ вѣка,
Дабы создать человѣка,
Зачѣмъ тогда ты не сказалъ,
Чтобъ видѣ иной тебѣ я далъ?

Sie, о смертный, разсуждая,
Представь Зиждителеву власть,
Святую волю почитая;
Имѣй свою въ терпѣнїи часть.
Онъ все на пользу нашу строитъ,
Казнитъ кого или поконитъ.
Въ надеждѣ тяготы сноси,
И безъ роптанія проси.

Наконецъ дѣла Ломоносова позволяютъ ему выпи-
сать жену изъ Германіи, эту бѣдную жену, которая
съ кроткимъ смиреніемъ, безъ ропоту, ожидала пере-
ворота своей печальной судьбы. Съ какою радостью
обнялъ поэтъ милую подругу, которая дѣлила ни-
щету и горе его студенческой жизни, а теперь про-
сила дѣлить съ нимъ новыя заботы, новыя печали его
академической дѣятельности! Это свиданіе казалось
ему улыбкой судьбы и, можетъ-быть, предвестникомъ
лучшаго времени. Но академики уже отдѣлялись мо-
ло-по-малу отъ своего запальчиваго товарища, кото-

рый только и думалъ объ улучшенияхъ и переворотахъ, только и бредилъ перемѣнами. Они не хотѣли нарушать своего привычного спокойствія для какой-нибудь далекой и невѣрной цѣли. Ломоносовъ спорить, требуетъ, горячится, пишетъ планы за планами; академія прозябаетъ по прежнему и ни одинъ отголосокъ не отвѣчаетъ на громкій вызовъ Ломоносова. Онъ ожидалъ живаго участья, пламеншаго содѣйствія, а встрѣтилъ совершенное равнодушіе. И душа его ожесточилась, озлобилась, заключилась въ самой себѣ. Онъ начинаетъ смотрѣть съ подозрѣніемъ на людей, которые его окружаютъ: его довѣріе убили, уничтожили; онъ хотѣлъ добра и трудовъ, а ему говорили: мы хотимъ спокойствія! Страшный неодолимый недугъ отравляетъ его существованіе. Онъ возненавидѣлъ людей и унизился до несправедливости къ нимъ. Не будемъ обвинять съ излишнею строгостью ослѣпленного Ломоносова: онъ хотѣлъ одного добра, а его оттѣкнули; у него не было личной цѣли: онъ дѣйствовалъ по убѣждѣнію страстей и подъ вліяніемъ страшнаго, но благороднаго гнѣва. Я вижу въ письмѣ къ Теплову состояніе его души:

„Я пишу нынѣ къ вамъ въ послѣдній разъ, и только въ той надеждѣ, что примѣчаль въ васъ и добрыя о пользѣ россійскихъ наукъ мнѣнія. Еще уповаю, что вы не будете больше одобрять недоброхотовъ россійскимъ ученымъ. Богъ совѣсти моей свидѣтель, что я самъ ничего не ищу иного, какъ только, чтобы закоренѣлое несчастіе Академіи пре-сѣклось. Бude-жъ еще такъ все останется и мои пра-

ведныя представления уничтожены отъ васъ будуть, то я забуду вовсе, что вы мнѣ нѣкоторыя одолженія дѣлали. За нихъ готовъ я вамъ благодарить приватно по моей возможности. За общую пользу, а особливо за утвержденіе наукъ въ отечествѣ и противъ отца своего роднова возстать за грѣхъ не ставлю. И такъ нынѣ изберите любое. Или одобряйте явныхъ недоброхотовъ не токмо учащемуся россійскому юношеству, но и тѣмъ сынамъ отечства, кои уже имѣютъ знатныя въ наукахъ и всему свѣту извѣстныя заслуги, одобряйте, чтобы Академіи черезъ ихъ противоборство никогда не быватъ въ цвѣтующемъ состояніи, и за то ожидайте отъ всѣхъ честныхъ людей и роптанія и презрѣнія; или внимайте единствено дѣйствительной пользѣ Академіи, откиньте льщенія опасныхъ противоборниковъ наукъ россійскихъ, не употребляйте Божіего дѣла для своихъ пристрастій, дайте возрастать свободно насажденію Петра Великаго. Тѣмъ заслужите не только въ прежнемъ прощеніе, но и не малую похвалу, что вы могли себя принудить къ полезному наукамъ постоянству.

Что жъ до меня надлежитъ, то я къ сему себя посвятиль, чтобы до гроба моего съ непріятелями наукъ россійскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ: стоялъ за нихъ смолоду, на старость не покину."

Но образованные и благомыслящіе люди и просвѣщенные вельможи уважали Ломоносова за прямоту и благородную гордость, съ которой онъ выступалъ передъ ними. Это непривычное явленіе обратило на

нега вниманіе людей, которые по образцу какого-нибудь профессора элоквенціи смотрѣли на поэта и ученаго съ комической стороны, какъ на наемнаго потѣшника своихъ своенравныхъ прихотей. Между этими вельможами И. И. Шуваловъ отъ всей души полюбилъ Ломоносова: съ усердіемъ друга выслушивалъ онъ всѣ его жалобы, дѣлилъ его огорченія, заботился и помогалъ словомъ и дѣломъ. Онъ ободрялъ Ломоносова въ минуты отчаянія, оживлялъ его дѣятельность, подстрекалъ самолюбіе, и Ломоносовъ трудился, работалъ, создавалъ граматику, писалъ исторію, преподавалъ химію, вмѣстѣ съ Франкліномъ изобрѣталъ громовые отводы. Близкія сношенія съ вельможами имѣли въ тоже время и свою непріятную сторону. Бояры по-своему смотрѣли на поэта: при каждомъ случаѣ пользовались они его поэтическимъ дарованіемъ. Не проходило маскарада, не было иллюминаціи безъ торжественной оды. Ломоносовъ писалъ стихотворенія на заказъ; поэзія сдѣлалась для него ремесломъ. Не трудно понять послѣ этого, почему мы не находимъ въ этихъ стихотвореніяхъ никакого поэтическаго одушевленія. Ломоносовъ проклиналъ свое дарованіе, униженное до званія наемнаго ремесла. Щѣлый день онъ занимался составленіемъ мозаической картины, работалъ въ химической лабараторіи, писалъ свои огромные планы; подъ вечеръ наблюдалъ за теченіемъ звѣздъ; приходитъ ночь, и онъ садится за сочиненіе торжественной оды, съ отчаяніемъ грызетъ перо, и пишетъ громкія слова и портить бумагу заказаннымъ стихомъ. И среди этого ужаснаго положе-

нія, недовѣріе къ самому себѣ, недовѣріе къ другимъ, вѣчныя неудачи, борьба съ врагами, сознаніе собственныи немощи противъ общаго потока! Нѣтъ, не будемъ осуждать Ломоносова за его несправедливость къ Миллеру и Шлѣцеру!

Миллеръ доказывалъ, что Русы происходили отъ Скандинавовъ. Въ то время это мнѣніе оскорбляло національную гордость, которая не хотѣла признать враждебную Швецію своей родоначальницей. Запальчивый Ломоносовъ съ жалкимъ ослѣпленіемъ схватился за эту страшную пружину, и написалъ свою грозную филиппику противъ Миллера, котораго за полезный ученый трудъ наказали лишеніемъ чина и уничтоженіемъ его диссертациі, оскорбляющей русскую народность. Еще неосновательнѣе поступилъ Ломоносовъ въ отношеніи къ Шлѣцеру, который съ многосторонними филологическими свѣденіями принялъся за изученіе русскаго языка. Вотъ какъ онъ разбиралъ граматику Шлѣцера:

„1. Хотя всякъ российскому языку искусствой легко усмотрѣть можетъ, колѣ много нестерпимыхъ погрѣшностей въ сей печатающейся беспорядочной грамматикѣ находится, показующихъ сочинителевы великие недостатки въ таковомъ дѣлѣ; но больше удивится его неразсудной наглости, что зная свою слабость и вѣдая искусство, труды и успѣхи въ словесныхъ наукахъ природныхъ Россіянъ, не обинулся приступить къ оному, и какъ бы нѣкоторой пигмей поднялъ антійскія горы.

2. Но больше всего оказывается не то́кмо незнание, но и сумасбродство въ произведениі словъ российскихъ. Кромѣ многаго, что развратно и здравому разсудку противно, внесены еще ругательныя чести и святости разсуждениія, что видно изъ слѣдующихъ примѣровъ:

Стр. 58. Бояринъ, производится 1) отъ дурака, 2) отъ барана.

Стр. 38. Слово *Король* производится отъ слова Kerl.

Стр. 89. Напечатано ругательнымъ образомъ: высочайший степень российского дворянства, князь кажется быть тоже, что по иѣмецки Knecht (холопъ).

3. Изъ сего заключить должно, какихъ гнусныхъ пакостей не наколобродить въ российскихъ древностяхъ такая допущенная въ нихъ скотина.“

Я съ умысломъ не говорю о томъ, откуда этотъ безбожный Шлѣцеръ производилъ нашу идеальную поэтическую *дѣву*. У него были на это различные способы; но вѣкъ нашъ всѣ ихъ отвергаетъ съ ужасомъ, и я въ этомъ единственномъ случаѣ отъ всей души подписываю жестокое обвиненіе Ломоносова, который отъ себя прибавляетъ слѣдующее замѣчаніе къ объясненію Шлѣцера:

„Дивно, что сумазброду не пришло въ голову слово Deufel; оно ближе будетъ по его мечтаниемъ къ дѣвѣ, Dieb и прочіа.“

Междудѣйствиѣ Императрица обратила вниманіе свое на Ломоносова, одобрила многія идеи его и покровительствовала имъ. Счастіе, кажется, улыбнулось

наконецъ Ломоносову; онъ въ чинахъ, онъ профессоръ; онъ даже богатъ. Его любить дворъ, ласкаютъ вельможи. Стокгольмская академія посылаетъ ему свои дипломы; Болонія избираетъ своимъ академикомъ. Слава его распространилась не по одной Россії: и Европа отличала Ломоносова. Слава—громкое слово, написанное огненными буквами человѣческаго самолюбія. Слава—награда генія за всѣ его борьбы и лишнія. Но она не радуетъ Ломоносова, не утѣшаетъ его, не наполняетъ души. Онъ искалъ не славы, не похвалъ, а добра и участія. И осуществились ли его планы? исполнились ли его начинанія? Онъ только бросиль сѣмя раздору, только разшевелилъ страсти, только разбудилъ ненависть къ себѣ. А труды его не принесли плодовъ. Они созрѣютъ со временемъ; но онъ уже не увидитъ ихъ, не утѣшится ими. Одна только женщина во всей Россіи вполнѣ поняла Ломоносова; эта женщина была Екатерина. Она оцѣнила его бурную дѣятельность, его предположенія, его вѣчныя, неотступныя требованія перемѣнъ и улучшеній. Она озарила послѣдніе годы его тревожной жизни своими милостями. Она сама посѣтила скромный домикъ Ломоносова, и онъ съ умиленіемъ любовался на державную гостью и дрожащими устами шепталъ снова вдохновенные стихи:

Геройство съ кротостью, съ премудростью щедроты,
Соединенные монаршеской доброты;
Въ благоговѣніи, въ восторгѣ зритъ сей домъ,
Рожденнымъ отъ наукъ усердствуя плодомъ.

Блаженства новаго и дней златыхъ причина,
Великому Петру во слѣдь Екатерина
Величествомъ своимъ снисходитъ до наукъ
И славы праведной усугубляетъ звукъ.
Коль счастливъ, что могу быть въ вѣчности свидѣтель,
Богиня, коль твоя высока добродѣтель!“

Посѣщеніе великой женщины одушевило Ломоносова новымъ огнемъ; онъ готовился благодарить ее новыми трудами, но не такъ опредѣляла судьба. Онъ былъ уже ненуженъ ей; онъ совершилъ свое назначеніе; онъ разбудилъ русскій умъ отъ дремоты; преобразовалъ языкъ, бросилъ наукѣ новые вопросы, разрѣшилъ старые, разшевелилъ страсти и дѣятельность, подвинулъ Россію. Онъ кончилъ свое дѣло, и судьба не спрашиваетъ, доволенъ ли онъ собой, таятся ли въ немъ зародыши новыхъ трудовъ: она довольна имъ; онъ совершилъ ея предначертанія, исполнилъ ея желѣзную волю. Теперь онъ слабъ, старъ и хиль; теперь онъ уже ей ненуженъ и она бросаетъ своего избранника, пока смерть не сжалится надъ нимъ, не приметъ усталаго странника въ свои холодныя объятія.

Велика и торжественна кончина генія. Безсмертная душа отходить отъ бренного тѣла; совершается таинственное разстленіе двухъ міровъ, міра духовнаго и міра тѣлеснаго. Но чѣмъ занята предсмертная дума Ломоносова? Кто разгадаетъ послѣдніе безмолвные порывы этой могучей души? А ежели она оставляетъ его, какой была и при жизни, недовольная, неудовлетворенная? А ежели и онъ умираетъ съ горькимъ

отчияніемъ, зачѣмъ не совершились несбыточныя мечты его?.....

Печальная процессія тянется къ Невскому монастырю. За гробомъ идетъ вся столица, идетъ весь изящный свѣтъ. Чей это гробъ? Кого хоронятъ? Разступись, любопытная толпа! поклонись съ обнаженной головой! То гробъ великаго человѣка! То хоронятъ Ломоносова! А вы откуда, блистательные спутники смиренного гроба? Васъ не было при жизни поэта, когда онъ нуждался, когда боролся, когда страдалъ. Васъ не было и у одра болѣзни, когда отходила великая душа. Откуда вы и зачѣмъ? Вамъ здѣсь не мѣсто. Вы замараетесь обѣ засаленный тулупъ какаго-нибудь холмогорского родственника Ломоносова. Только одинъ между вами идетъ по праву за гробомъ мертваго друга. Но этотъ не скрываетъ горя, не ханжитъ, а плачетъ откровенными слезами: онъ понялъ свою потерю, понимаетъ потерю Россіи! Да, плачь благородный Шуваловъ! ты идешь за гробомъ великаго человѣка, которой удостоилъ тебя имени друга!

Литературная и ученая дѣятельность Ломоносова обнимаетъ почти всѣ отрасли человѣческаго знанія. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которыхъ многостороннія дарованія не удовлетворяются однимъ предметомъ, одной наукой. Такіе энциклопедическіе умы никогда не прослѣдятъ какой нибудь отдѣльной науки во всей ея полнотѣ, никогда не ограничатся предѣлами одинокого изслѣдованія: они обнимаютъ всѣ явленія умственнаго міра, творятъ по всемъ отраслямъ

знанія, и оставляютъ огромный запасъ неконченныхъ трудовъ. Такіе умы необходимы при началѣ умственнаго развитія каждого народа; необходимы потому, что они своими попытками возбуждаютъ общую дѣятельность по всѣмъ частямъ, по всѣмъ направленіямъ. И въ этомъ состоить ихъ главное назначеніе. Они никогда не будутъ тѣми свѣтилами науки, которыя озаряютъ ее своими лучами во всей полнотѣ и на долгое время подвигаютъ впередъ; но безъ нихъ не объясните явленія такихъ свѣтиль; безъ нихъ нѣтъ движенія и нѣтъ успѣху. Эти многосторонніе умы необходимы для общаго переворота науки, для общей образованности цѣлаго народа. Они готовятъ дороги, прокладываютъ пути, возбуждаютъ умственную дѣятельность и соревнованіе.

Такимъ явился и Ломоносовъ. Россія стоитъ на порогѣ европейской образованности. Ея могущественная политика утвердилаась на прочныхъ началахъ, и народъ кипитъ живыми, свѣжими силами, и спаханное поле ждетъ могучаго посѣву. Молодая академія славится европейскими учеными. Тамъ работаютъ Бернульи и Эйлеръ. Но ихъ труды, ихъ дѣятельность, принадлежать одной наукѣ, а не народу; они трудятся для цѣлаго міра, а не для отдельной націи, которая требуетъ непосредственнаго вліянія и прямаго развитія. И вотъ изъ бѣдной хижины холмогорскаго рыбака выходитъ Ломоносовъ, съ этой всеобъемлющей головой, непреклонной волей, съ этимъ пламеннымъ воображеніемъ, полный представитель народа, который почувствовалъ необходимость образования. Ломо-

носовъ съ жаромъ принимается за книги, изучаетъ все, обнимаетъ цѣлый міръ науки, торопится, какъ будто боится, что у него не станетъ ни силъ, ни времени на исполненіе своей высокой цѣли. Онъ нападаетъ на предразсудки вѣка, ломаетъ преграды, разбиваетъ цѣли, борется съ препятствіями, и передаетъ своей землѣ въ наслѣдіе жажду знанія и потребность умственнаго развитія, необходимыя условія образованности. Грубый языкъ мѣшаетъ изложению новыхъ идей: Ломоносовъ становится его преобразователемъ; онъ даетъ русской поэзіи новую форму, новые размѣры, даетъ языку грамматику, въ то время необходимую, пишетъ риторику. Онъ не поэтъ въ тѣсномъ значеніи слова; но языкъ его поэзіи ближе къ намъ, чѣмъ языкъ Державина; въ его стихотвореніяхъ попадаются такія строки, которая кажется произведениемъ одного изъ самыхъ новыхъ и свѣжихъ нашихъ поэтовъ. Прочтите только эти четыре строки:

„Возмогъ ли ты хотя однажды
Велѣть ранѣе утру быть,
И нивы въ день томящей жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить?“

Вы почти не вѣрите, что онъ уже сто лѣтъ прожили въ нашей литературѣ. Проза его устарѣла болѣе, можетъ-быть потому, что для нея онъ заимствовалъ образцы у Цицерона, у Плинія, а латинскіе periodы не въ духѣ нашего языка. Но дѣло шло тогда не о послѣднемъ, крайнемъ, развитіи языка, а только о

совершенномъ переворотѣ, и этотъ переворотъ сдѣланъ Ломоносовымъ. Сличите только какое-нибудь изъ его сочиненій съ книгами его современниковъ, и вы увидите разницу.

Ломоносовъ создалъ себѣ языкъ и началъ писать. Мы знаемъ его многосторонюю дѣятельность: онъ былъ и химикъ, и физикъ, и астрономъ, писалъ исторію и дѣлалъ мозаїческія картины. Онъ написалъ разсужденіе о воздушныхъ явленіяхъ, создалъ новую теорію свѣта, и въ одно время съ Франкліномъ думалъ о громовыхъ отводахъ. Много ли осталось отъ этихъ трудовъ? Много ли перешло отъ нихъ въ неотъемлемое наслѣдіе, въ постоянное владѣніе науки? Существенаго, быть-можетъ, ничего. Наука пошла своимъ путемъ; старыя идеи смѣнились новыми, границы разступились, надъ ней совершились непреложныя законы общаго развитія. Но въ этомъ отношеніи дорого для насъ имя Ломоносова и его вліяніе.

Онъ занималъ почетное мѣсто между знаменитѣшими учеными своего времени. Въ этомъ удостовѣряетъ безпристрастное мнѣніе Эйлера о трудахъ Ломоносова:

Toutes ses pi ces sont non seulement bonnes, mais tr s excellentes, car il traite les mati res de la physique et de la chimie les plus interessantes, et qui sont tout- -fait inconnues et inexplicables aux plus grands genies, avec tant de solidit  que je suis tout- -fait convaincu de la justesse de ses explications. A cette occasion je dois faire justice   Mr. Lomonosoff qu'il poss de le plus heureux g nie pour decouvrir les

phenoménes de la physique et de la chimie; et il seroit à souhaiter que toutes les autres académies fussent en état de produire des découvertes semblables à celle que monsieur Lomonosoff vient de faire.

Н. М. ЯЗЫКОВЪ.

(С.-Пет. Вѣд. 1847 г. № 5).

Языковъ умеръ. Время идетъ, не останавливалось, и въ какія нибудь двадцать лѣтъ рождается, живетъ и вымираетъ цѣлая эпоха нашей литературы. Баратынскій, Дельвигъ и Языковъ были сподвижниками Пушкина, яркими спутниками великаго свѣтила; они трудились вмѣстѣ съ нимъ, строили одно и тоже зданіе и вознесли Русскую поэзію на новыя, до нихъ не тронутыя ступени ея развитія. И вотъ немного лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Русская земля впервые огласилась ихъ новыми, не слыханными пѣснями, съ тѣхъ поръ какъ Русское ухо полюбило стройные звуки этихъ пѣсенъ; а между тѣмъ въ эти не многіе годы цѣлая, блестательная эпоха нашей литературы уже совершила свою судьбу; родилась, развились и умерла; она бросила могучее сѣмя на богатую землю и это сѣмя разрослось, принесло плодъ, и вымерло.

Другіе вопросы волнуютъ и двигаютъ молодое поколѣніе, другіе имена вытѣсняютъ старыя. И что же мы скажемъ теперь надъ могилою послѣдняго поэта этой блистательной эпохи, которая такъ близка по времени и такъ уже далека отъ насть по содержанію? Добромъ или зломъ помянемъ мы эту поэзію; благословимъ ли ея дѣятелей, или отвернемся отъ нихъ равнодушно и холодно?

Намъ нечего дѣлать съ мертвѣцами; намъ некогда помнить; мы идемъ впередъ и не хотимъ опоздать въ общемъ дѣлѣ жизни и движенія. Въ этой тяжбѣ прошедшаго мы не примемъ участія и лучше грязью закидаемъ имена, которыхъ намъ мѣшаютъ. Что нужды, если мы сами ничего не создадимъ, если мы сами плохие работники, бѣдные строители? Что нужды, если мы не выведемъ новаго зданія, не замѣнимъ имъ старого, разбитаго дома? Что нужды, если между опрокинутыми кумирами незаслужившихъ знаменитостей ляжетъ и дорогое имя и благородный трудъ? Намъ некогда разбирать; мы дѣлаемъ свое дѣло, совершаемъ свое призваніе. Но грустно и жалко то призваніе, которому дана только власть отрицанія, которому суждено только разрушать и осмѣивать. Горька эта доля и въ жизни и для искусства, тяжело это время попытокъ и начинаній, для которыхъ еще не отыскалось мѣсто въ дѣйствительной жизни, не созрѣла общество, не приготовился и не укрѣпился народъ.

Страшно и больно слѣдить за положеніемъ художника, поэта, литератора, который носитъ въ груди великия, пророческія мысли и силится перелить ихъ

въ звуки, краски и слова, въ такое время, когда его народъ еще не способенъ понимать этого новаго создания и равнодушно и холодно отвернется отъ чуждаго міра художника. Суетень и бесплоденъ его благородный трудъ, худо примется съмя плодотворное, но не принаролленное къ землѣ, куда оно брошено. Бѣденъ и жалокъ поэтъ или художникъ, который натягиваетъ нужды своего поколѣнія на колодку старыхъ потребностей, или зоветъ его назадъ и останавливаетъ на вѣчномъ пути движенія и развитія; онъ изъ зрелага мужа дѣлаетъ ребенка, на плеча взрослаго человѣка накидываютъ дѣтскую куртку. Но смѣшень и тотъ, кто перескакиваетъ однимъ прыжкомъ чрезъ цѣлыхъ столѣтія, рядитъ татарина въ платье француза, надѣваетъ на ребенка маску старика и самодовольно тѣшится надъ несбыточными мечтами. Пусть каждый стоитъ на своемъ мѣстѣ, вѣренъ себѣ и времени, въ которомъ онъ живеть, въ борбѣ съ его предразсудками и нуждами, вѣчно совершенствуясь, вѣчно развиваясь; пускай поэтъ двигаетъ и волнуетъ свое поколѣніе, предугадывая его потребности, горькой правдой подстрекая лѣни, смѣлой укоризной подстрекая общественные недуги; но если онъ потребуетъ невозможнаго, если задушить зародышъ или приневолить его къ насильственному развитию, — его назначеніе пропадетъ, его призваніе ложно, его трудъ отвергнется и будетъ смѣшень и бесполезенъ, тѣшится ли онъ въ прошедшемъ, донъ-кихотствуетъ-ли въ будущемъ.

Если вы молоды и чувствуете призваніе, не только литераторствовать, но и быть литераторомъ въ луч-

шемъ значеніи слова, — идите смѣло и гордо по тому пути, который вы избрали по сердцу и совѣсти; говорите слово правды, стойте за убѣжденія свои; но не смотрите съ презрѣніемъ на того, кто идетъ своей дорогой, кто стоитъ за свое мнѣніе, столько же добросовѣстное, какъ и ваше. Уважайте заслугу и тамъ, гдѣ она трудится не для васъ, а противъ васъ; иначе вы будете жалки и слабы, вы не подвинете дѣла вашего мелкими средствами мелкаго самолюбія, но вы очерните его празднословнымъ ругательствомъ, вы унизите его до литературнаго гаерства.

На всѣ эти грустныя мысли навела меня кончина Языкова, одного изъ замѣчательныхъ сподвижниковъ Пушкина. При насъ и передъ нами мало-по-малу проходила вся эта блистательная эпоха русской литературы, все тише и тише раздавались ея предсмертныя пѣсни, и она еще не успѣла доказать своего послѣдняго слова, какъ уже поднялись крики и обвиненія, посыпались насмѣшки и понизились ея забытыя заслуги. Мало заботились о томъ, что совершила эта литературная эпоха, а выставили на показъ только то, что она не сдѣлала; никто не спрашивалъ, выражала ли она нужды своего времени, но обвинили ее за то, что она не угадала нашихъ потребностей и нашего направленія. Она обогатила нашъ языкъ, разширила его и очистила; она первая заговорила сильно, гордо и просто; она установила звучный русскій стихъ и переполнила въ него могучее чувство; она отразила въ своихъ произведеніяхъ время и общество, которому принадлежала; она сдѣлала все то, что и мы теперь дѣлаемъ,

согласно съ условіями нашего времени, и что будетъ дѣлать всякая новая литературная эпоха. Что нужды и что пользы? Ея направленія было невѣрно; вопросы, которые ее волновали, были ложны, ея намѣренія мелочны, ея желанія безсмысленны; мы бранимъ ее, и нась будутъ бранить; мы смѣемся надъ ней, и надъ нами будутъ смѣяться; мы презираемъ ее, потому что она осмѣлилась думать по своему, а не по-нашему.... дай-то Богъ, чтобы надъ нами когда нибудь не произнесли такого же суда!

Межу всѣми литературными знаменитостями этой эпохи, имя Языкова въ особенности навлекло на себя строгій судъ этихъ призванныхъ и непризванныхъ цѣнителей искусства. Его лирическое дарованіе было осмѣяно и перетолковано: и буйные пѣсни его молодости, и болѣе строгія вдохновенія зрѣлаго возраста равно осуждены предъ этимъ неумолимымъ ареопагомъ: даже звучный и энергический стихъ его не всегда находилъ пощаду предъ высокомѣріемъ заносчивыхъ судей. Къ счастію, всѣ эти приговоры не безъ аппеляціи, и дарованіе Языкова не пострадало подъ дѣтскими ударами; оно осталось въ литературѣ и въ общемъ мнѣніи на томъ же мѣстѣ, на какое поставлено собственною силою; стихи его читаются по прежнему и имя его произносится на ряду съ другими, громкими и дорогими именами нашей поэзіи. Талантъ Языкова имѣеть свои достоинства и свои недостатки; но трудно говорить о нихъ въ эту минуту холодно; тяжело надъ свѣжею могилою поэта строго и беспристрастно судить его произведенія. Можетъ быть найдутся охотники на по-

добные подвиги: я не изъ ихъ числа. Друзья поэта, безъ всякаго сомнѣнія издадутъ со временемъ полное собраніе его сочиненій: тогда и сужденіе о нихъ будетъ умѣстнѣе, чѣмъ теперь.

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА
изъ переписки съ друзьями
НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ.

(С.-Пет. Вѣд. 1847 г. № 35).

Литераторъ съ огромнымъ дарованіемъ, съ мѣткимъ, наблюдательнымъ взглядомъ, съ рѣшительнымъ направленіемъ и съ твердыми убѣжденіями, шелъ по дорогѣ, на которую ему указывала внутреннее призваніе; знаніе жизни и людей, умѣніе находить смѣшную сторону въ самыхъ мелочныхъ вещахъ, неровный, неправильный, но оригиналъный языкъ и рѣзкое, неожиданное остроуміе наложили на всѣ его произведенія особенный, странный, но самостоятельный характеръ. Нѣсколько книгъ, написанныхъ этимъ человѣкомъ, дали ему громкое имя, вѣрныхъ друзей, пламенныхъ поклонниковъ и неумолимыхъ враговъ; его хвалили до нелѣпости, его брали съ ожесточеніемъ; вся Россія читала его повѣсти; цѣлая школа пошла по его направленію и подражала его пріемамъ; каждое новое произведеніе, неконченный отрывокъ, маленькая повѣсть дѣлались

событіемъ въ литературѣ, возбуждали общее вниманіе и пораждали споры. Кажется, все, что только можетъ требовать самое взыскательное самолюбіе, было удовлетворено; всѣ почести и волненія, которыя иногда выпадаютъ на долю литератора, были и его удѣломъ. Но вдругъ этотъ человѣкъ издаетъ новую книгу, печатаетъ нѣсколько писемъ и нѣсколько отдѣльныхъ статей, въ которыхъ онъ съ ожесточеніемъ возстаетъ противъ собственного направленія, уничтожаетъ свои произведенія и ругается надъ самимъ собой. Въ этой страшной, удивительной книгѣ, литераторъ съ огромнымъ и признаннымъ дарованіемъ, отрекается отъ самого себя, казнить съ непостижимымъ самоотверженіемъ всю свою прежнюю дѣятельность, опровергаетъ и осмѣиваетъ все то, чѣмъ восхищались его поклонники, что съ удовольствіемъ читала вся Россія. Послѣ этого литературного ауто-да-фе слѣдуютъ великколѣпныя обѣщанія на будущее время: новые великия созданія замѣняютъ старыя, ничтожныя произведенія; гордо, испытанное дарованіе развернется съ новыми силами, поднимется и пойдетъ по своему пути; Россія услышитъ великое слово своего учителя, который при самомъ непостижимомъ смиреніи, все-таки признаетъ себя оружіемъ судьбы, призваннымъ для исполненія ея таинственныхъ велѣній. Но пока исполняются всѣ эти великколѣпныя обѣщанія, пока явятся эти новые, бессмертныя созданія, литераторъ въ задатокъ будущихъ благъ и въ искупленіе грѣховъ своей молодости издаетъ нѣсколько ничтожныхъ писемъ и нѣсколько странныхъ, замысловатыхъ статей.

Нападая на вкусъ своихъ читателей, издѣваясь надъ похвалами своихъ друзей и отзываясь съ презрѣніемъ о сочиненіяхъ, признанныхъ и одобренныхъ публикой, г. Гоголь поступилъ во всякомъ случаѣ очень невѣжливо, не говоря уже о томъ, что судъ и приговоръ надъ произведеніемъ, изданнымъ для публики, принадлежить ей, а не литератору; его книга—достояніе читателей; они рѣшаютъ ея достоинство; ихъ сочувствія опредѣляютъ вѣсъ и мѣсто, какое оно должно занимать въ литературѣ. И если общий голосъ читателей опредѣлилъ значеніе этой книги, если публика, по убѣженію и сочувствію, дала ей высокое мѣсто, собственное мнѣніе литератора не измѣняетъ этого рѣшенія. Значеніе книги зависитъ отъ вліянія ея на читателей, а не отъ болѣзниенной хандры, не отъ разстроеннаго воображенія литератора.

Г. Гогольувѣряетъ, что всѣ его прежнія произведенія никуда не годятся; читатели говорятъ, что онъ хороши; и бѣдный литераторъ, не смотря на всѣ свои болѣзниенные усилія, по-неволѣ сохраняетъ свое прежнее мѣсто въ литературѣ. Но г. Гоголь не остановился на этомъ уничтоженіи собственного дарованія; онъ говоритъ, что для него наступилъ новый, блестательный періодъ, что отнынѣ сочиненія его примутъ другое, великое направленіе, что вся Россія услышитъ въ нихъ плодотворное слово мудрости: а между тѣмъ первая же книга, которая обозначаетъ этотъ переходъ къ новому періоду его литературной дѣятельности, поражаетъ и самого неопытнаго читателя ничтожнымъ содержаніемъ, пустыми общими мѣстами и нестерпি-

мыть самолюбіемъ, худо прикрытымъ подъ маской ложнаго, натянутаго смиренія. Много было поэтовъ и литераторовъ, которые въ благородномъ сознаніи собственныхъ силъ смѣло говорили о себѣ; и Державинъ, и Пушкинъ гордъ произносили во всеуслышаніе свое *monumentum sibi exegi*; но никто еще не воздвигалъ такого страннаго памятника своему самолюбію, какъ Гоголь: никто еще подъ видомъ смиренія не расточалъ себѣ такихъ похвалъ и не говорилъ своимъ читателямъ такихъ грубостей, какъ онъ.

Случалось, что человѣкъ, постигнутый болѣзнями, у двери гроба, съ ужасомъ оглядывается назадъ на пройденную дорогу. Вся прошедшая жизнь выдвигалась предъ нимъ въ страшной отвратительной наготѣ; онъ смотрѣлъ съ отчаяніемъ на длинную цѣпь ничтожныхъ и суетныхъ ощущеній, которымъ подчинялись лучшія движенія его души, на грязную картину страстей и разврата, которыя изнурили его молодость и погубили его назначеніе. Случалось, что этотъ человѣкъ искалъ и находилъ успокоеніе въ объятіяхъ религіи, что грустная молитва утѣшала его страждущую душу и онъ съ обновленными силами отрекался отъ всей своей прежней жизни. Тогда душа его смирялась предъ величиемъ этого внутренняго переворота; тихо и стыдливо выражались ея убѣжденія; обращеніе такого человѣка совершалось въ тишинѣ, не раздражая никого, но вынуждая невольно то уваженіе, въ которомъ никогда не отказываютъ твердому и искреннему убѣжденію. Но тамъ, гдѣ нестерпимое самолюбіе выглядываетъ изъ-подъ маски мнимаго смиренія, гдѣ оно

выставляетъ наконецъ это внутреннее обращеніе и хвастасть будущими подвигами, тамъ оно не возбуждаетъ ни довѣрія, ни сочувствія. Безпристранный человѣкъ холодно отвернется отъ непріятнаго зрелища натянутаго смиренія и болѣзненныхъ усилий. Самый процессъ подобнаго обращенія, которое совершается передъ публикой, гласно и театрально, равно хвастая старыми грѣхами и новыми добродѣтелями, страненъ и подозителенъ.

Въ этой новой книгѣ, о которой идетъ рѣчь, господинъ Гоголь принимаетъ важный докторальный тонъ; онъ бесѣдуетъ съ читателями, или вѣриѣ сказать со всей Россіей, какъ строгій учитель съ маленькими учениками. Онъ оставляетъ намъ свое духовное завѣщаніе, въ которомъ требуетъ, чтобы люди богатые покупали его новыя сочиненія въ числѣ многихъ экземпляровъ и раздавали ихъ тѣмъ, которые не имѣютъ денегъ на приобрѣтеніе этихъ великихъ и необходимыхъ произведеній. Онъ распоряжается своимъ портретомъ и велитъ покупать только тотъ, который гравировалъ г. Іорданъ. Онъ просить не воздвигать ему народныхъ монументовъ, а лучше остановиться, въ память его, на пути грѣха, окрѣпнуть мыслю и *вырости духомъ*. Въ этой книгѣ есть цѣлый рядъ писемъ, въ которыхъ онъ просить, уговариваетъ, убеждаетъ, бранить и наказываетъ своихъ читателей самымъ домашнимъ образомъ. Въ этой бесѣдѣ учителя съ учениками иѣстами попадаются и похвалы за хорошее поведеніе и успѣхи въ наукахъ. Въ числѣ этихъ примѣрныхъ учениковъ встречаются имена Жу-

ковского и Языкова. Вся книга наполнена наставлениями всякого рода, болѣе или менѣе неосновательными. Понятія г. Гоголя о назначеніи русской литературы и мнѣнія объ Одиссѣ выказываютъ необыкновенное состояніе его ума и воображенія. Направленіе, которое онъ, повидимому, избираетъ на будущее время, рѣзко противорѣчить хвастливому смиренію, съ которымъ онъ говорить о самомъ себѣ и о великомъ значеніи будущихъ своихъ произведеній. На слово вѣрить ему въ этомъ случаѣ нельзя, тѣмъ болѣе, что первой неудачный опытъ не можетъ служить залогомъ на будущее время. Если человѣкъ, съ такимъ дарованіемъ какъ Гоголь, захочетъ возбудить довѣріе къ новымъ своимъ убѣжденіямъ, онъ долженъ говорить объ этомъ съ меньшимъ самолюбиемъ и съ большею искренностию. Истинное христіанское смиреніе — великое дѣло; но оно выражается просто и скромно, не хвастаетъ собою, не щеголяетъ своими подвигами. Впечатлѣніе, которое производитъ на читателя новая книга Гоголя, для него невыгодно; оно тяжело и грустно, а не отрадно, не утѣшительно. Въ этой книжѣ слишкомъ мало искренности и слишкомъ много самолюбія, которое рѣзко задѣваетъ читателя, не убѣждая его.

Если Гоголь навсегда сохранить это болѣзненное направленіе, литературная дѣятельность его ограничится такими произведеніями, которые не будутъ уже принадлежать искусству. Пушкинъ яснѣе всѣхъ понялъ и опредѣлилъ его дарованіе. Гоголь слышалъ это мнѣніе отъ самого поэта и выражаетъ его слѣдую-

щимъ образомъ: „Онъ мнѣ всегда говорилъ, что „еще ни у одного писателя не было этого дара вы- „ставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить „въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобъ „вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мель- „кнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное „свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго точно „нѣтъ у другихъ писателей. Оно впослѣдствіи углу- „билось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ „пѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я „не въ состояніи былъ открыть тогда и самому „Пушкину.“

Стало быть, вотъ ясное опредѣленіе дорованія Го-
голя. Измѣнить ему — значитъ, измѣнить своему назна-
ченію, идти наперекоръ своей природѣ и противо-
рѣчить внутреннему призванію. На этомъ широкомъ
пути вліяніе Гоголя было сильно и благодѣтельно.
Обнаруживая безъ жалости всѣ смѣшныя стороны
русскаго человѣка, онъ казнилъ Ѣдкимъ словомъ всѣ
его пошлыя и мелочныя побужденія; самый ничтожный
читатель видѣлъ себя въ этомъ неподкупномъ зеркалѣ
художника, узнавалъ въ этихъ крупныхъ чертахъ свою
уродливую физіономію и отучалъ себя, изъ одного са-
молюбія, отъ своихъ жалкихъ привычекъ, обнаружен-
ныхъ съ жестокимъ хладнокровіемъ и выставленныхъ
на позоръ и посмѣяніе. И въ этомъ неотступномъ
преслѣдованіи всего мелочнаго и жалкаго въ натурѣ
русскаго человѣка, заключалось истинное назначеніе
Гоголя, прекрасное и художественное по своему ис-
полненію, важное и благодѣтельное по своему вліянію

на читателей. Гоголь измѣнилъ ему добровольно, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнилъ и призванию своему, и искусству. Онъ пошелъ по другой дорогѣ: онъ принялъ на себя роль наставника, забывая, что не всѣ наставленія выслушиваются терпѣливо, когда ихъ произносить человѣкъ, призванный для другаго, не менѣе важнаго дѣла. Русская литература и русская публика ожидали отъ Гоголя не назидательныхъ поученій, а смѣлыхъ и вѣрныхъ картинъ нашей мелкой и пошлой жизни. Русскіе читатели уполномочили его на осмыленіе своей собственной ничтожности и въ этомъ видѣ терпѣливо выслушивали полезные и горькіе уроки. Но для исполненія другихъ обязанностей строгаго религіознаго поученія, на Руси всегда были и безъ сомнѣнія будуть другіе призванные наставники, которые не нуждаются въ содѣйствіи г. Гоголя, проповѣдя слово истины передъ набожнымъ собраніемъ благоговѣющіхъ слушателей.

Э. И. ГУБЕРЪ.

БИОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

А. Г. ТИХМЕНЕВА.

З. И. ГУБЕРЪ.

Средняго, почти высокаго роста, съ широкими плечами, крупными чертами лица, толстымъ носомъ, такими-же губами, съ длинными темно-русыми волосами, беспорядочно разбросанными на головѣ, съ проницательными и выразительными глазами, навицшими бровями, густыми черными бакенбардами, смуглымъ, желтоватымъ цвѣтомъ лица, въ платьѣ, небрежно надѣтомъ,—вотъ какимъ помнятъ Губера друзья его. Они помнятъ его оригинальный способъ выражаться, рѣзкій тонъ, мѣткость рѣчи, его югровость, прерывавшуюся самыми школьническими выходками и рѣзвыми шалостями, его беззаботность; они съ любовью вспоминаютъ о теплотѣ его души, о его художественной натурѣ, которая страннымъ образомъ была прикрыта жосткой, небрежной оболочкой, объ этомъ пла мени, который непрестанно горѣлъ въ его груди, объ этой тоскѣ, которая выражалась болѣзненно-жолчно, но не тяжело, не колко, о тѣхъ увлеченіяхъ, къ которымъ была такъ способна душа поэта и которыхъ свели его въ раннюю могилу, раннюю для множества преданныхъ ему друзей, до такой степени раннюю

для его литературной славы, что ему приходится только теперь, черезъ *дев'ятнадцать* лѣтъ послѣ смерти своей, въ первый разъ предстать на судъ критики такимъ, какимъ онъ былъ. Мы говоримъ это потому, что немного знаемъ поэтовъ, которые при жизни печатали-бы такъ мало, какъ Губеръ: въ немъ было много недовѣрія къ самому себѣ, понятнаго въ такомъ возрастѣ, въ какомъ онъ кончилъ свою жизнь и при той обстановкѣ, при которой онъ провелъ ее. Въ послѣдніе годы своей жизни, талантъ его мужалъ съ каждымъ часомъ; все, написанное имъ въ это время, рукается за справедливость нашихъ словъ. Укажемъ на стихотворенія, помѣщенные нами на 179—190 стр. I тома, на поэму Вѣчный жидъ и пр. Очевидно, что онъ писалъ ихъ въ минуту рѣшительнаго перехода къ самостоятельной зрѣлости своего дарованія, въ минуту знаменательнаго сближенія своего съ жизнью, когда онъ дѣлался законнымъ, а слѣдовательно необходимымъ и вѣрнымъ проявленіемъ ея. Есть что-то сознательно-вдохновенное, могучее въ слѣдующихъ стихахъ его:

Свободенъ я! царей гробница
Не плата мнѣ за пѣсни мои,
За небо божіе какъ птица,
За божій воздухъ я цою.
Съ дворцовъ высокихъ не гляжу я
На иноземные края,
Какъ птичка въ гнѣздышкѣ живу я,
Мое богатство—пѣснь моя!

Это уже не юношеский разладъ съ жизнью, не тотъ разладъ, которымъ онъ страдалъ на первыхъ порахъ своей поэтической дѣятельности, когда онъ говорилъ, что „сочувствіе толпы—укоръ поэту“, что „онъ не снесетъ привѣта ея“, что „не для ея крика создана его лира“: это, напротивъ того, такое сознаніе, которое даетъ вѣрное и законное положеніе поэту и его дѣятельности относительно жизни и общества, это такое сознаніе, которое представляетъ намъ совершенно въ новомъ свѣтѣ вѣчную неопределѣленную тоску, безпрерывно-грустный тонъ, отличавшій поэзію Губера. Окружающая жизнь не удовлетворяла его, жолчъ и ненависть къ неправдѣ кипѣли въ немъ, но, подчиняясь одностороннему пониманію искусства, выражались въ общихъ, неопределѣленныхъ формахъ, съ примѣсью мистицизма, отъ которого высвободиться стоило ему большаго труда. Этотъ трудъ былъ тяжело-нравственный и мѣшалъ какъ жизни, такъ и творчеству; этотъ вѣчный, непрерывный трудъ образовалъ въ его характерѣ ту странную смѣсь непосредственности съ тяжелыми, угловатыми проявленіями, которая нерѣдко поражала даже друзей его. Отъ этого эти вѣчно-задумчивые взоры, эта небрежность ко всему виѣшнему, эта беспредѣльная беззаботность, эта оригинальная рѣзкость манеръ виѣстѣ съ тонкимъ чутьемъ дружбы, вмѣстѣ съ потребностью любви, отъ этого—жолчная блѣдность лица, болѣзnenность организма, все то, чѣмъ отличался все-таки незабвенный, всѣми любимый Губеръ.

Къ несчастью, мы не имѣемъ большаго запаса ма-

теріаловъ для біографії покойного поэта: объ немъ такъ мало говорилось и писалось, его жизнь была слишкомъ сосредоточна съ одной стороны и слишкомъ несложна съ другой, чтобы была возможность извлечь откуда-нибудь эти материа́лы. Но мы передадимъ то немногое, что знаемъ, и наши мнѣнія о покойномъ поэте постараемся подкрѣпить авторитетомъ его собственныхъ произведеній и писемъ, которыхъ, къ сожалѣнію, у насъ не болѣе двадцати.

Эдуардъ Губеръ родился 1 мая 1814 года въ нѣмецкой колоніи Усть-Залихъ саратовской губерніи, гдѣ отецъ его былъ пасторомъ лютеранской церкви. Вотъ какъ описывается онъ мѣсто своего рожденія въ поэмѣ „Антоній,“ которая есть до нѣкоторой степени его автобіографія, какъ мы это ясно увидимъ изъ всего предлагаемаго разсказа.

На Волгѣ бурной и широкой
Лежать богатыя поля,
Луга шумятъ травой высокой,
Въ цвѣтахъ красуется земля.
Прибрежныхъ горъ сѣдое темя
Кругомъ на стражѣ возлегло;
На тѣ поля чужое племя
Свои пенаты принесло.
Сыновъ Германіи разумной
Сюда Россія созвала
И на долинахъ Волги шумной
Имъ лѣсь и поле отвела.
Тамъ есть село; я помню живо,

Какъ на зеленыхъ берегахъ
Оно раскинулось красиво
И отражается въ волнахъ:
И въ томъ селъ, въ иные годы,
На берегу, гдѣ плещутъ воды,
Былъ домикъ.... (*).

Отецъ его былъ человѣкъ въ высшей степени религиозный и начитанный; кроме предметовъ чисто-богословскихъ, чтеніе латинскихъ, греческихъ и нѣмецкихъ классиковъ составляло любимое его занятіе среди мирной и тихой жизни, которую проводилъ онъ въ кругу своего семейства. Оно при рожденіи Эдуарда состояло изъ четырехъ личностей: жены и троихъ дѣтей.

Восемь лѣтъ, прожитыя Эдуардомъ въ своей семье, оставили глубокое впечатлѣніе на его душѣ. Первые уроки чтенія и письма, конечно, на нѣмецкомъ языкѣ, на которомъ исключительно говорилось въ домѣ, получилъ онъ отъ своей матери. Отецъ помогалъ ей въ дѣлѣ воспитанія и вечерними бесѣдами развивалъ ребяческія головки дѣтей своихъ, которые преисполнены были теплымъ уваженіемъ къ нему.

Онъ былъ еще не старъ годами,
• • • • •
Онъ даже молодъ былъ мечтами
И свѣтлымъ взглядомъ на людей;
Онъ вѣровалъ, какъ въ наши годы

(*) См. Т. I. стр. 261—262.

Уже не въруетъ никто;
Въ могучемъ образѣ природы
Ему являлось божество.
Онъ былъ ученъ, какъ всѣ пасторы,
Онъ много жилъ и много зналъ,
Любилъ классическія споры
И комментаріи писалъ
Ему и книгою настольной
Служилъ божественный Гомеръ;
Поклонникъ греческаго неба,
Цѣнитель строгой красоты,
Онъ не у вынѣшняго Феба
Искалъ восторженной мечты. (*)

На сколько Эдуардъ уважалъ отца, на столько-же
страстно любилъ онъ свою мать. О ней осталось у
него на всю жизнь множество теплыхъ воспоминаній;
ея свѣтлый образъ утѣшительно рисовался ему среди
темныхъ видѣній. Въ своемъ „Антоніи“ онъ изобра-
жаетъ ее скромной и благородной семьянинкой, забо-
тящейся о домашнемъ хозяйствѣ, какой она и до сихъ
поръ осталась, не смотря на свои старческіе годы.
Въ своихъ поэтическихъ воспоминаніяхъ о матери,
Губеръ почти постоянно называетъ ее умершей и
всѣмъ сердечнымъ недугамъ своимъ находить утѣ-
шеніе на могилѣ матери, соединяя съ ней воспоми-
нанье о чистотѣ дѣтства, которое оплакивалъ, какъ
прекрасное, но уже исчезнувшее прошлое. Въ этомъ

(*) См. поэму „Антоній“. Т. I стр. 263.

образъ умершой матери, его поэзіи представлялось болѣе возможности выражать свои чувства и грустить о разлукѣ съ ней. Въ поэтъ-лирикѣ, въ поэтъ-автобіографѣ, если можно такъ выразиться, такой приемъ кажется намъ весьма понятнымъ.

Теплая, искрення любовь выражается въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ гробу матери; даже прахъ ея „дѣлится съ нимъ тоской“, „грустить съ нимъ вмѣстѣ“, „замѣняетъ друга“; „ему онъ повѣряетъ свои мечты, „муки тяжкаго недуга и боль обидной нищеты.“ (Т. I. стр. 16).

Я помню (говорить онъ) заботы твои!
Ты мною жила и дышала,
Ты въ стужу снимала лахмотья свои
И ими меня одѣвала.
Ты жесткое ложе травой устлала,
Малютку на немъ уложила;
Ты цѣлыми ночи надъ нимъ не спала,
За нимъ и больная ходила. (*)

Въ письмахъ своихъ къ матери, онъ всегда давалъ ей самая нѣжныя эпитеты, называя ее *безподобной, Herzens-Mutter* и т. д. Вотъ, напримѣръ, какъ выразилась эта любовь въ письмѣ его отъ 1837 года:

„Благодарю, тысячу разъ благодарю за вашу нѣжную любовь. Я прочиталъ ваши строки съ истинно-сладостнымъ чувствомъ. Ваша заботливость вызвала

(*) См. Т. I стр. 46.

„слезы на мои глаза, а я, право, не плаксивой на-
штуры. Много сокровищъ хранить человѣческая память;
но самое драгоцѣнное, самое прекрасное изъ этихъ
сокровищъ есть святое воспоминаніе о добрыхъ ро-
дителяхъ. Я наслаждаюсь этимъ счастіемъ въ выс-
шей полнотѣ его...“

.... „ Съ радостнымъ убѣжденіемъ говорю (писалъ
онъ въ 1840 г.), что горжусь моими родителями и
душевно благодарю Господа, даровавшаго мнѣ та-
кого отца и такую мать. Дѣти составляютъ радость
родителей; дѣти должны гордиться родителями.“ . . . (*)

.... Не говоря уже о томъ (пишетъ онъ отцу
своему въ 1835 г.), что я люблю и почитаю васъ,
какъ отца, — я не знаю человѣка, котораго я могъ-
бы любить и уважать наравнѣ съ вами. И кто бы
могъ отказать въ высокомъ уваженіи силѣ вашего ха-
рактера, величию вашей вѣры, сохранившейся непр-
мѣнно при самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ жизни.
Это не лесть и не можетъ быть лестью: отецъ не
долженъ ожидать ея отъ сына; что я пишу, то пишу
отъ души, то чувствую искренно и правдиво. Чудное,
горделивое чувство, и я не знаю ему подобнаго — имѣть
возможность гордиться своими родителями: я въ пол-
ной мѣрѣ надѣленъ этимъ счастьемъ. Взвѣшивая ирав-
ственныя достоинства моихъ родителей и предковъ,
я отъ души дѣлаюсь ревностнѣйшимъ аристократомъ
т. е. почитателемъ своего рода.....“

(*) См. С.-Пет. Вѣд. 1847 г. № 157.

Можно сказать, что нѣтъ ни одного письма, въ которомъ Губеръ, хоть невольно, не высказывалъ бы своей любви и благоговѣнія къ родителямъ; онъ повѣрялъ имъ въ подробности всѣ мелочи своей жизни, ея обстановки, свои ощущенія, занятія, планы; съ самой тѣлой искренностью испрашивалъ онъ ихъ съвѣтовъ. Его отношенія къ семье были до такой степени тѣсно и живо связаны со всѣмъ существомъ его, что, не ограничиваясь видимостью, вошли какъ непосредственный элементъ въ его поэзію.

По четвертому году маленькой Эдуардѣ по собственной охотѣ началъ учиться читать и часто читалъ вслухъ. „Особенно нравились ему рифмы, говорить отецъ Губера въ своей біографической замѣткѣ о сынѣ, помѣщенной въ 157 № С.-Пб. Вѣд. за 1847 г. — „напримѣръ, когда ему читали „Заколдованныго Принца“, то при слѣдующемъ стихѣ:

Er sitzt im Thurn
Und blässt in's Horn,

„онъ невольно и досадуя на то, что тутъ нѣтъ „рифмы, исправлялъ этотъ стихъ и говорилъ:

Er sitzt im Thorn
Und blässt in's Horn.

„Слушая чтеніе латинскихъ стиховъ, продолжаетъ разсказывать отецъ: онъ спросилъ однажды, когда „ему минуло только-что пять лѣтъ:

- Папенька, развѣ это тоже стихи?
- Конечно, и даже прекрасные,
- Отчего-же рифмы нѣтъ?

— Латиняне, и преимущественно Виргилій избѣгали рифмъ.

— А кто это Виргилій?

— Это человѣкъ, съ раннихъ лѣтъ говорившій уже стихами и написавшій въ послѣдствіи прекраснѣйшія и благозвучнѣйшія стихотворенія.

— Вотъ какъ!... возразилъ Эдуардъ серьезно и задумался.“

И въ самомъ дѣлѣ, чуткость уха Губера относительно риѳмъ замѣтно помогали звучности его стиховъ. У него попадаются риѳмы, достойныя Пушкина, что очень важно, если вспомнимъ, что русскій языкъ былъ для Губера все-таки не природнымъ.

Но не одной любовью къ риѳмамъ ограничилась у маленькаго Эдуарда страсть къ стихамъ: на седьмомъ году онъ самъ сталъ сочинять ихъ и записывать въ особую тетрадку. Стихи эти были писаны на латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а тетрадь носила заглавіе: „*Полное собраніе сочиненій Эдуарда Губера, издать послѣ моей смерти.*“ Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ подъ руками этой тетради, но, по свидѣтельству его отца, въ ней заключались разные рассказы, басни, комедіи, трагедіи и пр., и между прочимъ очень нелупыя стихотворенія, какъ напримѣръ: Осень и Левъ; Скуность; Бѣдность и др.

Въ началѣ 1823 г., когда Эдуарду пошелъ 9-й годъ, отецъ его былъ переведенъ изъ колоніи въ Саратовъ въ званіи пастора и ассессора евангелическо-лютеранской консисторіи. Здѣсь онъ сталъ серьезнѣе заниматься уроками, учился латинскому и греческому

языку у своего отца; но тихая, семейная жизнь все еще продолжала образовывать подъ своимъ вліяніемъ дѣтское сердце Эдуарда. Только одно лицо присоединилось къ тѣсному кружку близкихъ къ нему людей. Это былъ *Иннокентій Фесслеръ*, человѣкъ европейски-замѣчательный по уму и учености. (*)

(*) Не лишнимъ считаемъ привести здѣсь краткія біографическія извѣстія о человѣкѣ, имѣвшемъ большее вліяніе на нашего поэта.

Мать Фесслера, католичка, приготовила своего сына быть монахомъ; 17 лѣтъ онъ поступилъ въ орденъ капуциновъ и черезъ 9 лѣтъ опредѣлился въ вѣнскій монастырь. Императоръ Іосифъ, которому онъ открылъ множество злоупотребленій въ монастыряхъ, за что его возненавидѣли монахи, назначилъ его въ 1784 г. профессоромъ восточныхъ языковъ и ветхозавѣтной герменевтики въ лембергскому университету. Въ это время онъ сдѣлался масономъ и вслѣдствіе того долженъ былъ выйти изъ ордена капуциновъ. Въ 1787 г. онъ поставилъ на лембрискую сцену свою трагедію „Сидней“, которую враги его прославили безбожной. Благодаря различнымъ интригамъ, онъ долженъ былъ маконецъ оставить свою должность и бѣжать въ Шлезію, гдѣ занимался преподаваніемъ наукъ дѣтямъ наслѣдника престола. Въ 1791 г. Фесслеръ сдѣлался протестантомъ и съ 1796 г. сталъ жить въ Берлинѣ. Здѣсь онъ основывалъ разныя благотворительныя общества, занимался виѣстѣ съ Фихте составленіемъ устава для той масонской ложи, къ которой принадлежалъ. Къ этому времени особенно-сильного увлече-пія масонствомъ принадлежать мистические романы Фесслера: „Маркъ Аврелій“, „Аристидъ и Фемистокль“, „Матвій Корвинъ“, „Аттила“, и пр. Но вскорѣ (въ 1802 г.) онъ оставилъ масонство и вслѣдъ за тѣмъ потерялъ мѣсто совѣтника въ польскихъ провинціяхъ Пруссіи, послѣ чего жилъ въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ частью въ Берлинѣ, частью въ

Онъ соединялъ въ себѣ протестанство съ іезуитскими привычками и массонствомъ, скептицизмъ съ схоластическими предразсудками. Массонскій мистицизмъ по самому существу своему служилъ примѣненiemъ отвлеченныхъ теорій къ соціализму; онъ выразилъ собой стремленіе общества реализировать таинственно-туман-

Букновъ. Наконецъ, въ 1809 г., онъ получилъ приглашеніе быть профессоромъ восточныхъ языковъ и философіи при Александро-Невской духовной Академіи въ Петербургѣ; но и здѣсь, обвиненный въ безбожіи, онъ потерялъ вскорѣ свою должность, которую принялъ съ охотой, преслѣдуемый прусскимъ правительстvомъ. Его назначили членомъ комиссіи о составленіи законовъ, но всѣстѣ съ тѣмъ удалили изъ Петербурга, отправивъ его въ г. Волгскъ Саратовской губерніи съ филантропическою цѣлью. Въ то время въ Волгскѣ жилъ богатый купецъ *Василий Алексеевич Злобинъ*. Разбогатѣвъ въ слѣдствіе различныхъ случайностей, а потомъ откупами и подрядами, и сдѣлавшись изъ бѣднаго крестьянина — купцомъ-милліонеромъ, онъ началъ тратить свой капиталъ на различные благотворительныя и богоугодныя учрежденія. Такъ онъ построилъ въ Волгскѣ Троицкій соборъ, заложилъ церковь, пожертвовалъ Саратовскому Приказу Общественнаго Призрѣнія находившійся въ Саратовѣ собственныйный его домъ, стоявшій 11,000 р., и деньгами 10,000 р. съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого капитала были употребляемы на призрѣніе заболевшихъ бурлаковъ и оживленіе утопшихъ; еще пожертвовалъ 30,000 р. на устройство больницъ въ городахъ Царицынѣ, Камышинѣ и Хвалынскѣ; строилъ множество каменныхъ строеній въ Волгскѣ на собственный капиталъ для украшенія города, о которомъ хотѣлъ просить, чтобы его сдѣлали губернскимъ городомъ. Правительство знало и поощряло благотворительность Злобина, но чтобы дать ей болѣе разумное направленіе, съ удовольствіемъ отправило туда Фесслера для содѣйствія цѣлямъ богатаго купца. Но вскорѣ

ные идеалы, блуждавшіе въ его воображеніи, осуществить гуманная фантазія; но на самомъ дѣлѣ все это осуществилось въ формахъ устарѣлыхъ, со множествомъ противорѣчій, нелѣпостей, хотя съ одной общей цѣлію, въ высшей степени гуманной и благотворительной. Эта умственная алхімія XVIII столѣтія стала особенно-опаснымъ дѣломъ въ рукахъ молодаго поколѣнія XIX вѣка: мистический анализъ массоновъ незамѣтно переходилъ въ опредѣленную, строго-логическую философскую теорію и, при переходѣ своемъ,ничѣмъ не умѣль замѣнить разрушенного прежде.

Вліяніе Фесслера на Губера подтверждается многими фактами, которые впрочемъ встрѣчаютъ себѣ противорѣчія въ отзывахъ семейства покойнаго Эдуарда.

семейная несчастія и торговыя неудачи разстроили состояніе Злобина и онъ умеръ въ 1814 г., оставивъ нѣсколько миллионъ долгу и нѣсколько несчастныхъ, которые поручались за него. Фесслеръ напутствовалъ старика мистическими образами, которые сдѣлали его передъ смертью задумчивымъ и унылымъ. Въ 1817 г. Фесслеръ отправился въ Сарепту. Здѣсь саратовскій пасторъ Лиммеръ обвинилъ его въ іезуитскихъ стремленіяхъ въ ущербъ протестантизма; но справедливость этого обвиненія осталась недоказанной. Въ 1820 г. Фесслеръ, благодаря ходатайству приверженцевъ своихъ—мистиковъ, сдѣланъ былъ суперинтендентомъ и предсѣдателемъ лютеранской консисторіи въ Саратовѣ; черезъ 3 года послѣ того, отецъ Губера, какъ мы уже сказали, былъ сдѣланъ ассессоромъ той-же консисторіи и молодой Эдуардъ могъ познакомиться съ знаменитымъ ученымъ, авторомъ „Исторіи Венгрии“, человѣкомъ, обращавшимъ на себя вниманіе цѣлой Европы, фанатически преслѣдовав-щемъ свои убѣжденія вопреки препятствіямъ со стороны правительства.

Такъ отецъ его отрицаеть это вліяніе въ статьѣ своей въ Петерб. Вѣд. (№ 157 за 1847 г.). „Не только изъ разговоровъ съ отцомъ, (писалъ мнѣ Ю. И. Губеръ, братъ поэта): но и по простому наведенію „я убѣдился въ ложности этого взгляда. Фесслеръ, „какъ мистикъ и католикъ, никогда не былъ въ по- „стоянныхъ отношеніяхъ къ моему отцу, истинному „протестанту въ душѣ и заклятому врагу всякой фор- „мальности. Отецъ мой имѣлъ напротивъ непріятныя „сталкновенія съ Фесслеромъ, такъ что въ избѣжаніи „ихъ хотѣлъ разъ уѣхать изъ Саратова за границу. „Фесслеръ бывалъ у насъ въ домѣ рѣдко.... Въ Пе- „тербургѣ Эдуардъ первыя четыре года *не видалъ* „Фесслера и только съ офицерскихъ классовъ корпуса „сталъ посѣщать его. Спору нѣть, что вліяніе Фесслера „должно было проявиться и проявилось въ усиленной „дѣятельности Эдуарда въ классическомъ направлѣніи, „основаніе которому было положено впрочемъ его пер- „вымъ наставникомъ, отцомъ“.— Мы симѣемъ думать однако, никому не навязывая впрочемъ нашего мнѣнія, что вліяніе Фесслера, какъ мистика и, на свой манеръ, либерального философа, было на Губера, въ первые годы молодости, почти исключительное. Мы постараємся въ нашемъ разсказѣ по мѣрѣ возможности до- казывать это мнѣніе. На первый разъ, замѣтимъ, что Эдуардъ слишкомъ похожъ на Антонія, героя поэмы, чтобы и у Эдуарда не заподозрить своего Сильвіо.

Впечатлительная натура Эдуарда-ребенка сохранила надолго образъ угрюмаго старика, и вотъ какъ поэтъ описываетъ его въ своемъ „Антоніи“:

Въ то время старецъ знаменитый,
Суровымъ жребиемъ гонимъ,
Въ чужой странѣ ища защиты,
И слабъ, и хилъ пріѣхалъ къ нимъ.
Честолюбивъ, угрюмъ, бездушенъ,
Ничѣмъ, нигдѣ неустранимъ,
И гордъ, и золь, и равнодушенъ.
Таковъ былъ Сильвіо. Надъ нимъ
Судьба теряла власть, и годы
Не укрощали страшныхъ силъ;
Душой тиранъ, онъ для свободы
Поколебалъ-бы ходъ природы
И землю кровью обагрилъ;
Онъ вѣдалъ душу человѣка,
Онъ страсти долго изучалъ;
Какъ врачъ, слѣдилъ болѣзни вѣка
И вѣкъ лукавый презиралъ.
Онъ все постигъ и все извѣдалъ:
Судьбу, природу и людей;
Но никому отчета не далъ,
И никому не заповѣдалъ
Печальной мудрости своей.
Любви и ненависти чуждый,
Безъ чувствъ, безъ вѣры, безъ страстей,
Онъ слышалъ плачъ, онъ видѣлъ нужды
Безъ жалости къ судьбѣ людей.
На ихъ страданія земныя
Онъ съ равнодушiemъ смотрѣлъ,
Но всѣ ихъ страсти роковыя
Безстрастный умъ уразумѣлъ.

Быть-можеть, страшныхъ преступлений
Была сосудомъ грудь его;
Быть-можеть, слезы поколѣній
Доносять Богу на него!...
Онъ рано думой величавой
Земныя тайны освѣтиль;
Онъ рано слышалъ голосъ славы
И рано славу полюбилъ.
Въ свои скрижали вѣковыя
Его исторія внесла....

.

Его кровавыя обиды
На немъ сполна отомщены
И длань народной Немезиды
Не пощадила сѣдины.
Онъ уступилъ въ народномъ боѣ,
Онъ бросилъ славу и друзей,

.

Но и тогда слезой печали
Онъ тайныхъ думъ не обнажэль;
Онъ міръ, быть-можеть, проклиналъ,—
Но люди жалобъ не слыхали.... (*).

Этотъ отрывокъ какъ нельзя лучше и полноѣ характеризуетъ странную, суровую, чудную натуру Фесслера и его печальную судьбу.

Съ слѣдующаго года по прїездѣ въ Саратовъ, Эдуардъ началъ брать уроки русскаго языка у В. Я. Волкова, одного изъ тѣхъ грамотьевъ, которые весь

(*) См. Т. I. стр. 171—273.

въкъ свой занимаются преподаваніемъ начальныхъ правилъ роднаго языка. Эти уроки бралъ онъ въ домѣ одного чиновника саратовской конторы иностранныхъ поселенцовъ, И. К. Нордстрема, вмѣстѣ съ сыномъ его, сверстникомъ своимъ, съ цѣлью поступить въ мѣстную губернскую гимназію. Въ самое короткое время онъ успѣлъ въ русскомъ языкѣ такъ, что черезъ 4 мѣсяца, а именно въ августѣ 1824 г. могъ быть принятъ въ саратовскую гимназію. Состояніе тогдашнихъ гимназій не могло называться блестящемъ: рутиннымъ, безжизненнымъ путемъ велось образованіе юношества, которое отъ того безцѣльно продолжало жизнь свою, не вынося ничего изъ нея, и ей ничего не давая отъ себя. Но саратовская гимназія, не задолго до того времени основанная, была нѣсколько счастливѣе другихъ подъ дирекціей ученаго *Миллера*, получившаго свое воспитаніе въ іезуитскомъ училищѣ и отъ того понимавшаго всю важность классического, серьезнаго образованія. Къ тому-же молодые учителя, только-что кончивши курсъ въ казанскомъ университѣтѣ, все-таки не могли еще превратить гимназіи въ сингклитъ престарѣлыхъ и отжившихъ риторовъ. Въ числѣ этихъ учителей, *случайно* сдѣлался преподавателемъ словесности нѣкто Ф. П. Волковъ; говоримъ *случайно* потому, что собственно онъ былъ назначенъ учителемъ исторіи и только по пріѣздѣ въ Саратовъ, не чувствуя ни малѣйшаго призванія къ своему предмету, помѣнялся имъ съ своимъ товарищемъ на русскую словесность. Пишущій эти строки, много лѣтъ спустя, самъ былъ ученикомъ того же

Θ. П. Волкова и съ чувствомъ глубочайшаго уваженія вспоминаетъ почтеннаго наставника. Я засталъ уже эту свѣтлую природу разрушенной, падающей, изнемогшей отъ окружавшей ее рутины, но все-таки проблески остроймія и живаго таланта нерѣдко давали о себѣ знать. Тогда, во времена Губера, это былъ молодой, полный жизни и души человѣкъ, сочувствующій современной поэзіи, любящій свою науку. Черезъ 20 лѣтъ послѣ того, эта бодрая натура, потерявшая всю энергию, погрязшая въ тину страстей, не переставала интересоваться и пробуждаться при звукахъ поэзіи. Я помню, съ какимъ рвениемъ пріохачивалъ онъ слушателей своихъ къ письменнымъ упражненіямъ, какъ мало онъ былъ на дѣлѣ риторомъ, хотя все еще не разлучался съ старикомъ Кошанскимъ, съ какимъ Ѣдкимъ, но вмѣстѣ снисходительнымъ остроуміемъ, съ какимъ тактомъ поражалъ онъ недостатки этихъ упражненій, съ какимъ теплымъ, почти восторженнымъ сочувствиемъ ободрялъ онъ всякое малѣйшее дарованіе въ своихъ ученикахъ. Я помню, съ какой любовью онъ дарилъ своимъ питомцамъ книги изъ собственной своей скучной библіотеки, прося ихъ хранить подарокъ на память о немъ. Миръ праху твоему, Ѣдный, затерянный человѣкъ!....

Этотъ Θ. П. Волковъ не могъ не угадать таланта въ молодомъ Губерѣ. Доказательствомъ служить то, что онъ тогда же началъ собирать и хранить его -ученическія упражненія, предвидя въ авторѣ ихъ будущаго дѣятеля русской литературы. Покойный учитель передалъ намъ сохраненный имъ тетради Губера. Вотъ что

заключается въ нихъ: примѣры на періодъ причинный, позволительный, на фигуру отъ противнаго, отъ речей, сочиненіе о пользѣ словесности, о любви къ отечеству, письмо къ другу (фантазія), о бессмертіи души (вѣроятно, переводъ и не безъ вліянія Фесслера), разборъ оды, на смерть Князя Мещерскаго“ соч. Державина. Все это наполнено риторическими, напыщенными фразами; замѣчательно только то, что 14-лѣтній Губеръ, 4 года тому назадъ ознакомившійся съ русскимъ языкомъ, писалъ уже очень правильно, какъ относительно орѳографіи, такъ и самыхъ тонкихъ правилъ синтаксиса. (См. примѣчаніе I).

Мы не останавливаемся на ученическихъ произведеніяхъ Губера, какъ на слишкомъ дѣтскихъ опытахъ, заключающихъ въ себѣ повторенія вычитанного изъ Карамзина, изъ разныхъ христоматій и другихъ книгъ. Здѣсь мы видимъ исключительное вліяніе Ф. П. Волкова, на судъ котораго онъ представлялъ свои сочиненія; только въ разсужденіи *О бессмертіи души* мистическое содержаніе его даетъ право подозрѣвать участіе Фесслера. Къ тому же времени относятся стихотворенія, напечатанныя нами въ прибавленіи къ 1 тому и записанныя авторомъ въ тетради подъ заглавіемъ: *Опыты въ стихахъ и прозѣ Эдуарда Губера*. Стихи эти писаны были въ 1828 — 1830 г. т. е. когда автору ихъ было 14—16 лѣтъ, и въ нихъ звучность стиха уже смѣло ручается за прочный, несомнѣнныи талантъ поэта, не смотря на бѣдность и несамостоятельность содержанія. Онъ уже тогда такъ свободно владѣлъ стихомъ, что могъ писать длинныя

посланія къ товарищамъ своимъ, заключавшія въ себѣ по большей части варіаціі на тему о разочарованії, о любви, которой Эдуардъ будто-бы не вѣритъ; его стремленія обращены къ славѣ и именно на *полъ браны*. Послѣднее желаніе объясняется только пла-менной душой поэта, для которой недостаточно-заманчивой рисовалась дѣятельность гражданская; ему надо было энергической жизни.

Я молодъ (говорить онъ) кровь моя кипитъ,
Я жажду чести, жажду славы,
Но время быстрое летитъ
И старцемъ буду я безъ славы.
А между тѣмъ:
Все попираеть вкусъ и мода,
Вездѣ въ цѣпяхъ его свобода,
Вездѣ и скука, и печаль.

Нѣтъ причинъ сомнѣваться въ искренности этихъ словъ Губера; скука и печаль шла къ нему извнѣ и быстро прививалась къ его впечатлительной природѣ. Кроме чисто-субъективныхъ стихотвореній, мы видимъ въ числѣ „Опытовъ“ слабые образцы объективныхъ произведеній, какъ напр.: дума „Георгій Московскій“. Попытокъ въ этомъ родѣ мы вовсе не встрѣчаемъ у нашего поэта въ зреѣломъ вѣрастѣ, когда онъ, по видимому, посвятилъ себя исключительно лирической поэзіи. Только въ послѣдніе годы жизни онъ писалъ поэмы: *Въчный Жидѣ* и *Прометей*. Была, правда, у него еще поэма: *Братоубийца*, но онъ забросилъ ее,

какъ неудавшееся произведеніе. Что касается до *Антонія*, то эту поэму скорѣе можно назвать сборникомъ лирическихъ піесъ, чѣмъ объективнымъ произведеніемъ.

Доказательствомъ того, какъ еще чуждъ былъ 14-лѣтнему Губеру русскій языкъ, служитъ слѣдующая поправка, сдѣланная имъ въ своеемъ стихотвореніи: „Мысли надъ гробомъ“; прежде было написано:

Душа небесное видаетъ,

и потомъ поправлено:

Душа небеснаго вкушаетъ.

Множествомъ выражений, какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ, доказывается тоже. Сколько-же труда и таланта нужно было 14-лѣтнему мальчику, чтобы писать звучные, правильные стихи, исправлять мелкія стилистическія ошибки на языкѣ, ему чуждомъ! Въ той же тетрадѣ: *Опыты въ стихахъ и въ прозѣ* записано нѣсколько стихотвореній на нѣмецкомъ языкѣ. Вотъ ихъ заглавія: Die Macht der Liebe, Weibertreue, Gedanke mein, Des Schiffers Tod, Die Erlösung, Das Altchen, Impromptu, Rundgesang, Xenien. (См. примѣчаніе II)

Въ бытность свою въ саратовской гимназіи молодой Губеръ сталъ пріобрѣтать виѣшнія знакомства. Кроме товарищей, изъ которыхъ онъ особенно былъ близокъ съ И. Я. Кудрявцевымъ, А. Д. Горбуновымъ и Н. И. Зининымъ (нынѣ извѣстный профессоръ химіи), кроме семейства Нордстрема, онъ сблизился съ нѣкоторыми изъ членовъ саратовского общества, особенно съ се-

мействомъ баронессы М. А. фонъ-Гоймъ и съ Г. Я. Тихменевымъ, молодымъ человѣкомъ, 7-ю годами старше Губера. Появляясь въ общество съ товарищами своими, Эдуардъ и тогда уже отличался неловкостью и оригинальностью манеръ и тѣмъ еще, что былъ любимъ всѣми знакомыми. До сихъ поръ общественные преданья сохранили въ памяти саратовцевъ разсказы о школьнѣхъ выходкахъ Эдуарда, не лишенныхъ остроумія и юмора.

Гимназическій курсъ свой Губеръ окончилъ блистательно въ 1830 году; къ торжественному акту онъ приготовилъ прощальное стихотвореніе: *къ друзьямъ*, гдѣ онъ между прочимъ рѣшительно высказываетъ желаніе свое служить въ военной службѣ. Вѣроятно не безъ совѣтовъ Фесслера, который еще въ 1826 г. былъ отозванъ изъ Саратова въ Петербургъ, родители Эдуарда рѣшились отправить сына именно въ Петербургъ-же для довершеннія образованія. Старикъ отецъ тогда-же говорилъ ему:

— На счастье будь чѣмъ хочешь, но человѣкомъ дѣльнымъ и полезнымъ. Однакожъ мнѣ было бы пріятнѣе, еслибы ты избралъ какое-нибудь прямо ученое званіе.

Только впослѣдствіи Эдуардъ отвѣталъ на это отцу:

— Вы знали меня лучше, нежели я самъ себя!

Въ 1830 г. Губеръ оставилъ родимую страну, куда ужъ болѣе никогда не возвращался. Здѣсь прошли его дѣтскіе годы, полные тѣхъ впечатлѣній, которыя онъ столько любилъ, которыми дорожилъ всегда, здѣсь началъ слагаться изъ него поэтъ такимъ

точно, какимъ впослѣдствіе явился въ печати, передъ лицомъ публики, какимъ полюбиль его Пушкинъ.

Не безъ грусти покидалъ Губеръ Саратовъ и первыхъ друзей своей юности.

Въ послѣдній разъ онъ топитъ взоръ
Въ родную даль, гдѣ синихъ горъ
Встаютъ грамадныя вѣршины.
За ними скрылся мирный домъ,
Гдѣ нынѣ мать въ тоскѣ глубокой,
Въ своей молитвѣ одинокой
Груститъ о сынѣ молодомъ
Душа впервые содрогнулась,
Онъ поблѣдиѣлъ и на глаза
Нѣмая, горькая слеза
Невольно, тихо навернулась (*)

Онъ ъхалъ *на долихѣ*. Дорога производила на него сильное впечатлѣніе.

Вотъ письмо Губера изъ Москвы къ Г. Я. Тихменеву:

„Любезный другъ Григорій Яковлевичъ! Во вторникъ я вамъ писалъ, а нонѣ въ среду утромъ въ 7 часовъ єдетъ извощикъ. Нѣсколько мипутъ осталось до семи. Воспользуемся ими. Москва слишкомъ велика. Архитектура старинныхъ церквей безобразнѣть ее. Какъ памятники древности, сіи церкви для всякаго любезны. Они напоминаютъ ему великое, совершенное нашими праѣдами, напоминаютъ ему дѣяніе вѣковъ минувшихъ, вѣковъ счастливыхъ, без-

(*) См. поэму „Антоній“. Т. I. стр. 286.

„заботныхъ. Такъ-называемый Бѣлый-городъ не доз-
„воляеть жительствовать въ нѣдрахъ своихъ ни Од-
„ному деревянному строенію. Онъ въ этомъ сроденъ
„съ цензоромъ, не пропускающемъ въ разсмотрѣн-
„иомъ имъ сочиненіи ни одного непристойнаго слова,
„ни одного вольнодумнаго предложенія, сроденъ съ
„кокеткой-старушкой, вырывающею, хотя и съ болью,
„сѣдые волосы свои, сихъ непріятныхъ гостей, ко-
„торые, не бывши зваными, посѣтили ея черную голову
„и обезобразили ея стolбtнее лицо. Китай-городъ
„окруженъ стѣною; за нимъ слѣдуютъ высокія зубча-
„тыя стѣны знаменитаго Кремля. Я былъ въ Кремль;
„я видѣлъ здѣсь памятники Минина и Пожарского,
„видѣлъ колоссальный верхъ Ивана Великаго, видѣлъ
„и невольно подумалъ о минувшемъ, подумалъ о
„славѣ прадѣловъ, о славѣ, которая завѣла для насъ,
„какъ увидаешь незабудка въ жаркое лѣто для руки
„красавицы, — подумалъ и стосковалъ. Здѣсь совер-
„шилось великое. Но гдѣ совершили? Сie мѣсто
„ознаменовано дѣяніями безсмертными. Я подумалъ о
„семъ и невольно воскликнулъ:

Москва! О, сколько въ этомъ звукѣ
Для сердца каждого слилось....

„Нѣть! въ Москвѣ надобно жить нѣсколько лѣтъ,
„чтобы съ нею познакомиться, нѣсколько иѣсяцевъ,
„чтобъ ее объѣхать, а нѣсколько дней ничего не зна-
„чить. Люди, конечно, здѣсь такие же; женщины тѣже;
„онъ и здѣсь скрываютъ подъ наружною оболочкою
„мнимой добродѣтели — кичливыя прихоти, черную

„спѣсь, коварные замыслы и здѣсь невинность такъ же рѣдка, какъ птица-фениксъ. Женщина — вездѣ „женщина. Чортъ съ ними! Я знаю одну только женщину, которая стоитъуваженія, это — М. А. (баронесса фонъ-Гоймъ). Діогенъ съ фонаремъ своимъ „въ цѣломъ свѣтѣ не отыскальбы болѣе десятка.... „Еслибы я хотѣлъ кого-нибудь наказать..... (*) „я-бы связалъ его съ женщиной, приказавъ ей сперва „отпустить долгіе ногти.

„Прощайте! Изъ Петербурга болѣе будетъ. „Такъ какъ мы здѣсь останемся только нѣсколько дней, то, намъ должно смотрѣть, а не писать. И такъ, „прощайте! За свидѣтельствуйте М. А. мое почтеніе „и будьте счастливы. Вашъ вѣрный по гробъ Едуардъ (** Губеръ.“

Вспомнимъ теплые строки въ поэмѣ: „Антоній,“ посвященные Москвѣ:

Москва! изобразить дерзну-ли
Тебя, любимцу мою?
И пѣсню бѣдную сложу-ли,
Мой славный городъ, въ честь твою! (***)!

По прїездѣ въ Петербургъ, Губеръ выдержалъ экзамень въ корпусъ Путей Сообщенія, куда давно былъ записанъ кандидатомъ по желанію отца, но не былъ

(*) Точки означаютъ вырванныя мѣста изъ письма. — A. T.

(**) Такъ писалъ тогда свое имя Губеръ; только позднѣе онъ сталъ писать: Эдуардъ.

(***) См. Т. I стр. 291.

принять за неимѣніемъ вакансій. Тогда онъ выдержалъ экзаменъ въ университѣтѣ и уже отправился за документами своими въ корпусъ, гдѣ его неожиданно удивило извѣстіе, что онъ принятъ: ему остригли волосы, обрили бакенбарды, которыя у него уже были не смотря на его 16 лѣтъ, и тотчасъ отвели въ классъ. Кому онъ былъ обязанъ своимъ вступленіемъ въ корпусъ—положительно неизвѣстно, но, говорятъ, что кто-то обратилъ вниманіе на его фамилію и, узнавъ, что онъ сынъ того пастора, который отличался самоотверженіемъ во время холеры, свирѣпствовавшой тогда въ Саратовѣ, выхлопоталъ ему помѣщеніе въ корпусъ.

Такъ какъ поступленіе въ корпусъ Путей Сообщенія требовало нѣкоторыхъ хлопотъ, то еще въ Саратовѣ боронеесса М. А. фонъ Гоймъ снабдила Губера рекомендательнымъ письмомъ къ дальнему родственнику своему и другу В. А. Жуковскому. Вотъ письмо, заключающее въ себѣ восторженное описание приема, сдѣланнаго знаменитымъ поэтомъ скромному Эдуарду.

„М. Г. Мавра Алексѣевна! Есть мысли, для которыхъ люди не могли придумать приличного слова, есть чувства, для которыхъ нѣть выраженія. Къ этимъ „чувствамъ принадлежитъ благодарность. Я позналъ „этую истину, и теперь, когда душа моя полна призна „тельности, теперь нѣмѣютъ уста мои. Но впрочемъ „минѣ кажется, что я тогда только могу выразить чув „ство моего сердца, когда скажу вамъ: я видѣлъ „Жуковскаго! Такъ, я видѣлъ того, кто создалъ для

„русскаго—твореня Шиллера, кто начерталъ свое имя
„въ скрижалѣ бессмертія. Онъ принялъ меня такъ
„ласково, какъ только можетъ принять великій чело-
„вѣкъ. Онъ спросилъ меня, куда я намѣренъ опре-
„дѣлиться? Я отвѣчалъ ему: въ корпусъ водяныхъ
„сообщеній, и онъ обѣщалъ мнѣ помочь вездѣ, гдѣ
„только можетъ. Когда я простился съ нимъ, онъ по-
„жалъ мою руку, просилъ меня, чтобы я почаше за-
„илянулъ (*) къ нему вечеркомъ — и я, конечно, не
„оставлю это позволеніе безъ употребленія. И такъ,
„еще разъ благодарю васъ отъ всего сердца за то
„удовольствіе, которое вы мнѣ доставили и для ко-
„тораго я не имѣю выраженія“

Это письмо писано 6 ноября 1830 года. Вотъ еще
иѣсколько писемъ, относящихся къ тому-же времени.

(Вѣроятно въ концѣ 1830 г.) „Милостивая Госу-
„дарыня, Мавра Алексѣевна! Недавно обрадовали меня
„ваши драгоценныя строки. Какія-то особенные чув-
„ства наполняютъ душу мою при чтеніи вашихъ пи-
„семъ. Благодарю васъ, что вы не забываете такъ назы-
„ваемаго философа, въ сердцѣ котораго память о васъ
„врѣзилась неизгладимыми чертами. Среди шума сто-
„личной жизни, человѣкъ, коего органы необразованы
„для шума, всегда находитъ отраду, когда въ часы
„минутнаго досуга, онъ можетъ предаваться утѣши-
„тельнымъ воспоминаніямъ о протекшемъ, тихомъ вре-
„мени, когда его однообразная флегма взволновалась

(*) И здѣсь попадается германизмъ! А. Т.

„только въ бесѣдахъ умныхъ и почтенныхъ людей, или
„въ кругу беспечныхъ товарищѣй.

„Среди досады и удовольствій, среди скуки и скуч-
„ныхъ разсѣяній, среди умныхъ людей и несносныхъ
„глупцовъ, протекаетъ жизнь моя, и я часто удивляюсь,
„какъ въ этомъ хаосѣ неистощаемыхъ удовольствій,
„и скучныхъ, обидныхъ впечатлѣній, бѣдная голова
„моя еще осталась на томъ-же мѣстѣ. Благодарю отъ
„всего сердца за ваше снисхожденіе: вы написали
„къ великому Жуковскому. Я былъ у него передъ
„новымъ годомъ и на новый годъ, но не засталъ его.
„На этихъ дняхъ опять схожу къ нему.

„Отъ души жалѣю, что не могу принять вашего
„поздравленія. Моя неугомонная флегма никакъ не
„смягчается отъ благотворного вліянія какого-нибудь
„великолѣпного солнца и стрѣлы бога любви что-то
„потеряли свою мѣткость и я смируюсь надъ слабостію,
„которая мнѣ незнакома.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Безъ означенія числа и года, вѣроятно лѣтомъ
1831 г.)

„Любезный другъ, Григорій Яковлевичъ! Наконецъ
„мы получили ваше письмо, отъ 30 сентября. Трудно
„выразить чувства, которыя наполнили сердца наши;
„при чтеніи словъ отдаленного друга, намъ слышались
„звуки знакомаго друга, отголосокъ доброго сердца.
„Вы описали холеру, этотъ бичъ полуденной Россіи.
„Слава Богу, что она прекратилась у васъ. Теперь
„она пробирается къ нашей столицѣ; златоглавая
„Москва уже страдаетъ подъ гибельнымъ ярмомъ су-

„ровой владычицы, и предохранительныя мѣры, взятые
„въ здѣшней столицѣ доказываютъ, какъ ужасъ во-
„дить смертнаго за носъ. Я удивляюсь, какъ люди
„не стыдятся самихъ себя, трепеща предъ грозою,
„собирающеся надъ отечественнымъ городомъ. За-
„чѣмъ заранѣе отравлять свои радости неумѣстною скор-
„бію и робкими догадками?

„Вы говорите, что живо помните минувшее, пом-
„ните восторгъ, вдыхаемый въ сердце ваше великимъ
„Шиллеромъ. Благодарю васъ за это. О! вѣрьте
„вашему правдолюбивому другу, что и онъ не забылъ
„еще сладкія минуты протекшаго: пламенныя мысли
„Шиллера и теперь волнуютъ грудь мою и стремятъ ея
„къ высокому и неприступному; его вѣра—моя вѣра,
„его праотцы—предки отца моего, святая истина, про-
„повѣдуемая имъ,—мой лучшій идеалъ, мой умъ,
„мое сердце, мое чувство, воля,—вся жизнь моя! и
„мнѣ ужели не любить Шиллера, котораго я понимаю?!

„Горе тому, кто осмѣлитъ хулить того, кто не
„имѣетъ пятна на себѣ. Я видѣлъ Полеваго
„и говорилъ съ нимъ.

„Вы говорите, что женщина есть зло нужное и
„я согласенъ съ вами, ежели нужду ихъ существо-
„ванія опредѣляетъ необходимость распространенія
„человѣческаго рода.

„Вы говорите, что зло есть мѣра добра и я согла-
„сенъ съ вами, ежели вы добродѣтель назовете зломъ
„утонченнымъ, ибо вещи нравственныя не могутъ измѣ-
„ряться, подобно вещамъ тѣлеснымъ, аршинами или
„вершками.

„Вы говорите, что защиту женщинъ вы нашли въ самихъ женщинахъ и я согласенъ съ вами, зная, что достоинство, которое вы защищаете въ женщинахъ, есть наружность, что же касается до достоинства внутренняго, то оно чрезвычайно обширно и содержать всѣ пороки во всемъ ихъ объемѣ, а для защиты пороковъ, право, очень мало потребно.

„Я живу здѣсь въ философскомъ одиночествѣ; надежды мои, разрушенныя человѣкомъ, который никакъ не лучше своего ближняго, не ослабили духъ стойка. Я написалъ на него акrostихъ, не зная какъ отомстить за себя.

„Я надѣюсь быть со временемъ военнымъ инженеромъ. Это часть самая ученая и потому въ большомъ уваженіи.

„Домъ. . . . , о которомъ мы вамъ уже не разъ писали, дѣйствительно имѣетъ свои пріятности, хозяинъ простъ, но уменъ, хозяйка—женщина, впрочемъ лучшаго разбора, хороша и добра, какъ только можетъ быть женщина доброю, и я боюсь какъ бы она со временемъ не вывела меня изъ флегматического равнодушія; я часто спорю съ ней о женщинахъ, и она всѣми силами старается опровергать мои худыя мнѣнія; впрочемъ я имѣлъ нѣсколько разъ удовольствіе, что она не могла иначе и отвертѣться отъ моихъ убѣдительныхъ доказательствъ, какъ восклицаніемъ: вы все врете! вы прескверный человѣкъ! я съ вами никогда говорить не стану! Очень пріятно, когда женщина ругается! какъ пріятно быть предметомъ ея ругательствъ! — К. говоритъ, что я влюбленъ. Вотъ

„опроверженіе: я самъ сдѣлалъ его внимательнымъ,
„показывая ему — А. жену, и хваля при томъ ея
„наружность.

„Еслибы я былъ дѣйствительно влюбленъ, то я бы
„этого не сдѣлалъ: ибо любовь скрыта и не любить
„соучастника потому, что должна опасаться соперни-
„ковъ. Кто влюбленъ, тотъ молчитъ о томъ предметѣ,
„который его занимаетъ. Въ противномъ случаѣ лю-
„бовь только наружная формула, только слово безъ
„смысла. А это вы конечно не допустите.

„Вотъ стихи, которыя я написалъ недавно:

Онъ въ сердцѣ скрылъ волненье,
Подлецъ безумца лаской надѣлилъ;
Ему смѣшино, на жертву униженья
Разбойникъ взоръ убийственный вперилъ.
Мечты младенчества, минуты золотыя,
Алкая гибели, онъ вѣсть меня лишилъ,
Низринулъ онъ надежды неземныя,
Неистовый — на вѣкъ меня сгубилъ.

(Безъ означенія числа и года, но вѣроятно 1831 г.)
„Любезный другъ, Григорій Яковлевичъ! — Бѣдствія
„холеры минули и столица дышетъ опять свободнѣе.
„Въ это время я узналъ, какъ люди боятся смерти
„какъ атеистъ становится богомоловъ: я видѣлъ все
„это и вспомнилъ стихи Озерова:

Смерть — ужасъ для всего, что бытіе имѣеть!
„Горе тому, кто не имѣеть собственной религіи,
„согласной съ его совѣстю и сердцемъ. Но какъ

„скоро его вѣра согласуется съ понятіями и чувствованиеми души, то эта вѣра есть истинная, хотя бы „была она вѣра язычника.

„Что вы скажете о Борисѣ Годуновѣ Пушкина, „котораго вы, какъ любитель литературы, конечно „уже читали? По моему мнѣнію, недостатки этой „трагедіи въ отношеніи къ ея творцу непростительны. „Представилъ ли онъ съ надлежащей точки Бориса? „выдержалъ ли онъ характеръ Самозванца? Нѣтъ. „Наружная оболочка, пышная одежда стиховъ дос- „тойна генія Пушкина. Отъ чего у насъ такъ худо, „такъ мало и рѣдко рождаются трагедіи? Конечно, это „труднѣйшій, взыскательнѣйшій родъ сочиненій, но „ужели это можетъ быть законною причиною у на- „рода, корый имѣеть самостоятельную литературу?”

(Вѣроятно лѣтомъ 1831 г.) „Милостивая госуда-
рьня, Мавра Алексѣевна! Я такъ давно не писалъ
къ вамъ, что миѣ даже стыдно приняться за перо.

„И что писать? Жизнь моя, богатая чувствами, бѣд-
на приключеніями. А повѣсть чувствъ, подобныхъ
моимъ, скучнѣе цѣлой Телемахиды.

„Нынѣшнее лѣто довольно скучно. Петербургскіе
красавцы и красавицы что-то пріуныли. И все ви-
новата холера! Она виновница тысячи несчастій. Она
виновата и въ томъ, что графъ Хвостовъ написалъ
на нее стихи; виновата и въ томъ, что эти стихи ни-
куда негодятся. О, эта холера!

„Первородный братъ мой провелъ это время весе-

„лѣе, чѣмъ кто-нибудь изъ насть: безпрестанно былъ въ больницахъ, слышалъ прекрасную музыку, состоявшему воплями страждущихъ, видѣлъ ихъ истинно-трагическую кончину, слышалъ и видѣлъ, и стиховъ не написалъ, между тѣмъ какъ графъ Хвостовъ, который ничего не видалъ и ничего не слыхалъ, написалъ прескучную оду.

„Дворъ находится въ Царскомъ Селѣ и останется тамъ, можетъ быть, и еще цѣлый мѣсяцъ. Жуковскій разумѣется, тоже.

„Что дѣлаетъ любезный градъ Саратовъ? Все-ли на томъ же мѣстѣ? Какъ здравствуетъ великая семья прусскихъ эмигрантовъ, эта персонофицированная исторія человѣческаго бѣдственнаго состоянія, этотъ скучный отрывокъ изъ длинной проповѣди на первую недѣлю великаго поста? Черезъ какія-нибудь шесть или восемь лѣтъ, когда я окончу свои учебныя занятія, я навѣрно поѣду Саратовъ (*). Я напередъ раздуюсь увидѣть опять и тѣхъ, кого привыкъ уважать и тѣхъ, кого уважать нельзѧ.“

Въ приведенныхъ нами письмахъ, уже довольно рѣзко обозначается характеръ и направленіе молодаго Губера. Мрачное расположеніе духа мистического свойства, незнаніе жизни и теплая душа — все это привезъ Губеръ съ собой въ Петербургъ изъ Саратова. Еще тамъ, семейная жизнь оказала на него

(*) Эта мечта Губера не исполнилась: онъ никогда болѣе не былъ въ Саратовѣ.

огромное вліяніе, онъ жилъ дома безопасно, окруженный людьми любящими и любимыми. Въ этой простой средѣ прошло его дѣтство: благочестивая проповѣдь отца-пастора, его ученость и обстановка его семьи не могли дать Эдуарду привычекъ свѣтскаго человѣка, а между тѣмъ онъ съ самаго ранняго возраста попалъ въ высшій провиціальный кружокъ, бывалъ на балахъ, имѣлъ кое-какія знакомства въ качествѣ *молодаю человѣка*, такъ какъ въ провинціи вообще чувствуется недостатокъ въ молодыхъ людяхъ и гимназическіе мундиры нерѣдко фигурируютъ не хуже гвардейскихъ. Онъ былъ не прочь поострить надъ странностями провинціального свѣтскаго кружка, потому что по развитію своему стоялъ выше его. Въ домѣ боронессы фонъ-Гоймъ, о которой мы не разъ упоминали, онъ видѣлъ слабый образчикъ московской барской жизни съ обѣдомъ въ 5 кушаній, множествомъ челядинцовъ обоего пола и задушевными, веселыми вечеринками. Въ самой хозяйкѣ дома онъ встрѣчалъ образованную, замѣчательную женщину, дочь московскаго барина, воспитанную въ духѣ екатерининскаго вѣка, подругу Карамзина, Жуковскаго, Дмитріева, Воейкова, судьбой заброшенную въ Саратовъ и лишенную богатыхъ средствъ къ жизни. Губерь сдружился съ этимъ домомъ. Но гдѣ ему было проникнуться духомъ соціальныхъ требованій, стремленіями къ общественной правдѣ въ практическомъ смыслѣ? Ученая дѣятельность, подобная дѣятельности его отца или Фесслера, не могла удовлетворить кипучей душѣ поэта: гражданская служба являла ему

незавидную картину въ группѣ апатичныхъ чиновниковъ провинціальныхъ коллегій. Молодое сердце Губера жаждало славы, энергической дѣятельности, какая-бы она ни была, и онъ мечталъ о той, о которой больше наслышался, объ этой шумящей и гремящей славѣ, какою пользуются военные люди. *На войну!* восклицалъ поэтъ: — *вотъ ідь исходь моей энергіи!* *вотъ ідь слава съ лаврами и почетомъ, съ борьбой и смѣлымъ испытаніемъ своихъ силъ!* По-крайней-мѣрѣ такъ мечталъ онъ въ въ минуту своихъ поэтическихъ вдохновеній. Натура однако взяла свое: перѣездъ въ Петербургъ, свиданіе съ Жуковскимъ, заочное, но близкое знакомство съ литературной славой, съ дѣятельностью писателей, порѣшило дѣло, несмотря на то, что, повидимому, институтъ, въ которомъ воспитался Губеръ, не отличался тогда современностью педагогическихъ пріемовъ своихъ и не заботился о развитіи какихъ-бы то ни было талантовъ. Изъ отзыва Губера о Борисѣ Гудуновѣ Пушкина, мы видимъ, что поэтъ и тогда не далеко ушелъ отъ Кошанскаго въ своихъ критическихъ воззрѣніяхъ. Потребность дружбы сильно развита была въ Губерѣ еще въ Саратовѣ; въ Петербургѣ онъ также нашелъ друзей, въ выборѣ которыхъ былъ не педантиченъ. Съ женщинами онъ еще мало сходился и въ сужденияхъ своихъ о нихъ былъ страненъ: онъ еще не зналъ чувства любви и страсти, которыя мѣшались въ его понятіяхъ съ чувствомъ дружбы. Такъ и видишь въ этой неопределенности сердечныхъ влечений, въ этихъ укорахъ женщинъ въ непостоянствѣ — скром-

ную проповѣдь пастора или нѣжно-заботливая предостереженія доброй матери. Но замѣчательно крѣпкая и послѣдовательная натура Губера никогда не разочаровывалась въ завѣтахъ семьи своей, въ добромъ вліяніи ея: напротивъ, она переносило ихъ въ жизнь. Оттого-то дружба и платонизмъ любви былъ всегда на столько простъ и естествененъ въ Губерѣ, на сколько онъ казался-бы сантиментальнымъ и натянутымъ во всякомъ другомъ. — Хотя институты, какъ мы замѣтили, не могъ непосредственно развить поэтическій талантъ Губера, но онъ въ бытность свою въ немъ занимался поэзіей усерднѣе, чѣмъ когда-либо. Одиночество, скуча затворнической жизни — послѣ свободной, довольно веселой жизни въ Саратовѣ среди семьи и друзей — помогали дѣлу, безъ сомнѣнія, болѣе, чѣмъ лекціи словесности. Кругозоръ его понятій росъ понемногу, по мѣрѣ того, какъ онъ знакомился съ произведеніями германской литературы и какъ сближался съ Фесслеромъ. О степени этого сближенія, къ несчастію, мы ничего не знаемъ опредѣленного, исключая достовѣрной догадки, что вліяніе ученаго мистика на Губера было сильное. Почти съ самаго прїѣзда своего въ Петербургъ, можно было легко предугадать, что изъ Губера выдетъ литераторъ, поэтъ: онъ и самъ созналъ это, замѣнивъ свои мечты о военной славѣ — мечтами о литературной. Онъ уже началъ печататься и первое стихотвореніе свое напечаталъ въ Сѣверномъ Меркуріи, въ концѣ 1831 г. Вѣроятно, онъ печатался-бы болѣе и ранѣе, если-бъ не былъ остановленъ благоразумнымъ совѣтомъ своего саратовскаго друга — Г. Я. Тихменева.

По свидѣтельству товарищѣй Губера по воспитанію, въ институтѣ поэтъ занимался менѣе другихъ предметовъ собственно-инженерными науками и математикой, которая была ему не по душѣ. Матеріальное положеніе его было не блестательно; отецъ его былъ бѣденъ и не могъ посыпать денегъ своему сыну, который не только не беспокоилъ родителей своими просьбами, но даже помогалъ имъ и на свой счетъ содержалъ брата своего во время его воспитанія въ дерптскомъ университѣтѣ.

Именно около времени окончанія курса Губеромъ въ корпусѣ, отецъ его былъ переведенъ генераль-суперинтендентомъ лютеранской консисторіи въ Москву, где и поселился со всѣмъ своимъ семействомъ. Это обстоятельство, улучшавшее матеріальное благосостояніе почтенного старца, должно было утѣшить Эдуарда; къ тому-же съ тѣхъ поръ въ немъ явилась надежда на скорѣйшее и возможнѣйшее свиданіе съ своими родными.

Въ 1834 году, Губеръ былъ выпущенъ изъ корпуса съ чиномъ прaporщика вмѣстѣ съ 40 другими товарищами, въ числѣ которыхъ онъ былъ особенно близокъ съ Г. Клициою, Г. М. Толстымъ и А. Бахметьевымъ. Замѣчательно, что въ спискѣ воспитанниковъ корпуса, Эдуардъ названъ *Губертомъ*, а не *Губеромъ*.

При недостаточности средствъ, выпускъ представилъ своего рода неудобство—дороговизну окипировки. Съ чувствомъ глубокаго сочувствія иуваженія приводимъ мы здѣсь письмо Эдуарда къ родителямъ своимъ по

этому поводу, въ переводѣ на русскій съ нѣмецкаго оригинала.

„С.-Петебургъ, 22 мая 1834 г. Дорогіе родители!
„Наконецъ, послѣ двухъ-лѣтняго вавилонскаго заточенія
„въ Институтѣ, я достигъ цѣли моихъ задушевныхъ
„желаній, всѣхъ трудовъ моихъ. Спѣшу, не дожидаясь
„отвѣта на мое послѣднєе письмо, извѣстить васъ о
„производствѣ меня въ прaporщики. Окипировался я
„лучше, чѣмъ ожидалъ. За Богомъ молитва не пропа-
„дается! Любовь моихъ товарищѣй, помошь дяди, кото-
„рый подарилъ мнѣ въ день моего рожденія 200 руб.
„и заботливость моей доброй тетки, которая снаря-
„дила меня, точно къ свадьбѣ, постелью, бѣльемъ и
„разными хозяйственными принадлежностями, — вотъ
„чemu я обязанъ. Что-то величественное въ любви и
„безкорыстномъ участіи ближнихъ! Я никогда не уни-
„жусь до нищенства, даже еслибъ приходилось умирать
„съ голоду; но здѣсь противорѣчіе было-бы холоднымъ,
„грубымъ оскорблениемъ. Скажу болѣе, я горжусь всѣми
„этими подарками.

„Вообще я доволенъ своимъ образомъ жизни. Я
„живу въ просторной квартирѣ, за которую платятъ
„650 руб. ассигнаціями безъ дровъ и безъ воды; у
„меня есть отдѣльная комната для занятій, изящно
„меблированная; я ъмъ и пью хорошо; прислуга у ме-
„ни отличная и все это за 300 руб. въ годъ только
„для того, чтобы не жить даромъ на чужой счетъ.
„Все хозяйство обходится въ 4000 руб. моему това-
„рищу, который умолялъ жить съ нимъ вмѣстѣ. Онъ
„богатый грекъ, фамилія его — Клица. ♦

„Съ большимъ удовольствиемъ узналъ я отъ Ш.,
„что вы, любезный батюшка, назначены генералъ-су-
„перинтендентомъ въ Москву. Въ такомъ случаѣ я
„почти навѣрное могу надѣяться видѣться съ вами бу-
„дущимъ лѣтомъ..... Э. Г.

Вотъ еще письмо къ Г. Я. Тихменеву, вѣсколько пред-
шествовавшее приведенному:

„30 декабря 1833 г. Любезный другъ, Григорій
„Яковлевичъ! Не смотря на то, что я, по счету мо-
„ему не получилъ отъ васъ отвѣта на *нѣсколько*
„писемъ, я не могу преодолѣть внутренняго чувства,
„которое всегда причисляетъ васъ къ числу лучшихъ
„друзей моихъ. И здѣсь, гдѣ повстрѣчалъ я много
„радостей и много горя, гдѣ *нажилъ* я себѣ много
„друзей, а, можетъ-быть, еще болѣе непріятелей, я
„помню васъ и минуты, проведенные съ вами.

„Мои дѣла, дѣла разумѣется учебныя, идутъ хоро-
„шо; я, за исключеніемъ немногаго, чтѣ я когда ни-
„будь впослѣдствії объясню вамъ подробнѣе, *почти*
„доволенъ судьбой, а это со мною, недовольнымъ,
„имѣющимъ большія претензіи, много спѣси, случается
„рѣдко. .

„По части поэтической я могу похвалиться успѣхами
„и, можетъ быть, большими: я пишу не для печати,
„и это по *вашему* совѣту; но въ рукописи передаю
„по возможности въ *лучшия* руки мои поэтическіе
„отрывки; ежели я и не повѣрю людямъ, впрочемъ
„дѣльнымъ, имѣющимъ литературное имя, которые
„говорятъ, что моими мыслями могъ бы гордиться и
„Шиллеръ и Пушкинъ, то покрайней-мѣрѣ авторская

„спѣсь моя находить въ подобныхъ выраженіяхъ нѣкото-
„рое воздаяніе за пріятные труды. О! дайте, мнѣ выр-
„ваться на волю и я разрѣшусь отъ бремени, какъ мать
„отъ дитяти, съ нѣжною любовью носимаго ею во чревѣ,
„разрѣшусь отъ бремени, которое терзаетъ мою виу-
„тренность, тревожить умъ и воспаляетъ воображеніе,
„разрѣшусь въ звучныхъ аккордахъ свободы и пере-
„дамъ его на судъ зубастой критики и посмѣюсь надъ
„нею, ежели она мнѣ не понравится. Презирать кри-
„тику я выучился съ тѣхъ поръ, какъ познакомился
„съ тружениками, которые приводятъ ее въ движение.“

Въ слѣдующемъ, 1835 году, у Губера накопилось уже столько стихотвореній, что онъ приготовилъ къ изданію цѣлую отдѣльную книжечку, заключавшую въ себѣ до 25 пьесъ и посвященную другу и товарищу его, А. И. Бахметьеву. Тетрадь эта была процензурорана А. В. Никитенко; мы не знаемъ, какія именно обстоятельства остановили изданіе ея въ свѣтъ.

Общий мотивъ всѣхъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ этой тетради:—тоска разочарованія, мотивъ естественный въ литературѣ съ едва зарождающимся сознаніемъ и самостоятельностью. Переходъ отъ риторическихъ приемовъ въ литературномъ дѣлѣ къ сознательному размышленію въ самостоятельно - художественной формѣ, переходъ, решительно произведенный Пушкинымъ и означенованный самимъ теплымъ общественнымъ сочувствіемъ, ведеть непосредственно къ такъ называемому разочарованію, пока не дойдетъ

до положительныхъ образовъ. Ненависть къ разврату, къ падшимъ женщинамъ, утѣшеніе въ дружбѣ — вотъ темы, на которыхъ варіируетъ Губеръ въ своихъ стихахъ. При розочарованіи въ людяхъ онъ не хочетъ тѣшиться мечтой, онъ стремится къ истинѣ, несмотря на пугающей образъ ея, несмотря на то, что истина еще болѣе налагаетъ сомнѣній и на дружбу, и даже на вѣрованія сердца. Но это — истина кажущаяся; по мнѣнію поэта, истина сама по себѣ должна соединяться съ вѣрой, къ которой настраиваетъ его природа. Онъ смеется надъ людьми сентиментальными, онъ идеализируетъ паденіе человѣка, который долженъ бороться со всякимъ положеніемъ, но признается однако въ своемъ собственномъ безсиліи, боится паденія; онъ съ ужасомъ спрашиваетъ себя, съ чѣмъ предстанетъ въ небо его бессмертный духъ? Въ жизни своей онъ не находитъ истины, потому что жизнь его несвободна. Всѣ мученія и недуги души своей хочетъ онъ пѣть въ стихахъ, но поэзія, по его мнѣнію, создана не для толпы, она не вузбудитъ въ ней участія. Мѣстами выражается страстная натура поэта въ объясненіяхъ съ женщинами, къ которымъ онъ въ порывахъ страсти чувствуетъ благоговѣніе.

Между тѣмъ кругъ его знакомствъ увеличивается; онъ квартировалъ сначала съ товарищами по службѣ, съ г. Клицио, потомъ съ А. Бахметьевымъ, и поневолѣ долженъ былъ видѣть людей. Въ литературныхъ кружкахъ онъ бывалъ мало, хотя однако успѣлъ уже имѣть непріятности съ О. И. Сенковскимъ; теперь онъ рѣшился не сближаться ни съ кѣмъ, кроме пар-

тіи Пушкина. Въ началѣ года онъ сошелся черезъ дядю Шмидта, ученаго академика, съ Н. И. Гречемъ, который пригласилъ его сотрудничествовать въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ Плюшара, на что Губеръ охотно согласился, нуждаясь въ деньгахъ. Четверги Гречи оставляли на него пріятное впечатлѣніе; вотъ что писалъ онъ о нихъ сестрѣ своей отъ 10 января 1835 г.

„....Всего болѣе охотно бываю я по четвергамъ „у Гречи. У него собираются люди образованные и „таланты. Художники и артисты, пріѣзжіе изъ загра- „ницы стекаются къ нему, поютъ и играютъ въ его „гостинной, чтобы черезъ него и его гостей пріобрѣсти „себѣ геномпѣ. Этотъ день для меня самый пріят- „нѣйший въ недѣли тѣмъ болѣе, что у него собира- „ются также всѣ знаменитые русскіе поэты и литера- „торы и трактуютъ по большой части о поэзіи и ли- „тературѣ, судятъ о новостяхъ и т. д.“.

Все это занимало молодаго, 20-лѣтняго прaporщика, который въ тоже время посвящалъ время и на другіе предметы, кромѣ поэзіи. Онъ читалъ нѣмецкихъ философовъ, интересовался автографами знаменитыхъ людей, трудился надъ скучными переводами ради денегъ, вчитывался въ произведенія Гёте, пользуясь особенно совѣтами ученаго Фесслера, о которомъ, замѣчательно, онъ не упоминаетъ ни разу ни въ одномъ изъ имѣющихся у насъ писемъ. А что онъ уважалъ знаменитаго пастора и подчинялся его вліянію, въ томъ нѣть сомнѣнія; молчанье-же его означаетъ скорѣе, что онъ не хотѣлъ тревожить своего

отца, который не любилъ Фесслера за его *католический* нравъ. М. Н. Лонгиновъ въ статьѣ своей о Губерѣ (*) говоритъ, что портретъ Фесслера стоялъ всегда на почетномъ мѣстѣ на письменномъ столѣ поэта; ему онъ самъ признавался, что ученый пасторъ имѣлъ на него огромное вліяніе; по свидѣтельству друзей покойнаго, онъ и по смерти Фесслера, свято чтилъ его память и не могъ равнодушно выслушивать обвиненія, взводимыя обществомъ на страннаго мистика. Онъ силился оправдывать его даже въ тѣхъ случаяхъ, когда, по видимому, самъ считалъ его неправымъ. На сколько Губеръ начитался Гёте видно изъ многихъ стихотвореній его, какъ напримѣръ изъ пьесы: „*Что плачешь ты, малютка мой*“ (Т. I стр. 20—30), живаго подражанія знаменитому *Erlkönig*. Подъ тѣмъ-же благодѣтельнымъ вліяніемъ чтенія Гёте, нашъ поэтъ съ самаго прїѣзда своего въ Петербургъ задумалъ важнѣйшій трудъ: онъ началъ переводить Фауста и здѣсь-то всего болѣе нуждался въ совѣтахъ и въ помощи Фесслера, которому могла быть доступнѣе разгадка многихъ частностей въ этомъ произведеніи, представлявшемъ тогда множество неразрѣшившихъ трудностей для комментаторовъ. Безъ сомнѣнія, поэтъ приступалъ къ этому труду съ недовѣрiemъ къ своимъ собственнымъ силамъ и, вѣроятно, на него намекалъ въ своемъ письмѣ отъ 26 февраля 1835 г. къ сестрѣ, говоря:

„*Ты непремѣнно хочешь читать мои стихотворенія...*

(*) *Московскія Вѣдомости.* 1857 г. № 136.

„Скоро надѣюсь удовлетворить твоему желанію, хотя „не люблю говорить о томъ, чemu не вижу еще „опредѣленнаго конца“.

Въ тоже время Губеръ занятъ былъ приготовлѣніемъ къ должности адъюнкта-профессора русской литературы при Инженерномъ Итститутѣ, которая ему была обѣщена. Для этого онъ принужденъ былъ по ночамъ работать надъ исторіей русской литературы. Можно себѣ представить всю трудность такой работы, двадцать лѣтъ тому назадъ, для человѣка, не получившаго специальныхъ свѣдѣній по этому предмету, до сихъ поръ такъ мало разработанному. Вотъ, что онъ писалъ по этому поводу, къ своему брату, Теодору Ивановичу, въ Москву (26 февраля 1835).

„Любезный Теодоръ!... Я хочу утрудить тебя просьбою. Дѣло въ томъ: нашъ Р. далъ мнѣ замѣтить, что если будетъ возможно и если откроется вакансія, то я въ будущемъ году буду сдѣланъ адъюнктомъ-профессоромъ русской литературы при Институтѣ. Если это назначеніе состоится, то тогда все мои цѣли достигнуты, тогда я могу заняться исключительно однимъ предметомъ, которому преданъ душой; тогда мнѣ и ex officio придетсяѣздить на моемъ же собственномъ конькѣ. Я работаю теперь (въ свободные часы по ночамъ) за исторіей русской литературы для моей будущей должности. Наши напечатанныя и писанныя руководства по этому предмету—ниже всякой посредственности. Для того, чтобы составить самому историко-критическія разысканія о памятникахъ старорусской литературы, мнѣ требуется въ 10 разъ бо-

„чѣе временія, чѣмъ у меня его остается. Потому прошу тебя, если возможно достать мнѣ студенческія выписки изъ лекцій профессоровъ и особенно Шевырева, если онъ касался этихъ памятниковъ. Ты этимъ сдѣлаешь мнѣ превосходный подарокъ къ празднику и я могъ бы тебя, можетъ быть, отблагодарить за него. Въ ожиданіи твоего отвѣта остаюсь братъ твой Эдуардъ Губеръ.“

Ко всему этому примѣшивались еще служебныя обязанности и инженерные работы, которые заставляли Губера часть времени быть виѣ Петербурга. Такъ, все лѣто 1835 г. онъ провелъ въ Шлюссельбургѣ, откуда онъ по праздникамъѣзжалъ верхомъ по 65 верстъ. „Я могу похвастаться“, говоритъ онъ въ свое мѣсто письмѣ къ отцу: — „что эти прогулки имѣли чрезвычайно-поэтическій характеръ“.

Несмотря на такое множество самыхъ разнообразныхъ занятій, молодой поэтъ къ концу 1835 г. окончилъ переводъ Фауста и уже представилъ его въ цензуру; но, не получивши дозволенія на изданіе своего труда, Губеръ разорвалъ рукопись, свое дѣтище, которое желалъ въ продолженіе пяти лѣтъ. Кто трудился въ свою жизнь, тотъ знаетъ цѣну плодамъ своихъ трудовъ, тотъ пойметъ, чего стоило поэту разстаться съ завѣтной рукописью! Вотъ, что писалъ онъ къ своему брату въ началѣ 1836 г.

„Любезный Теодоръ! Отъ души жалѣю, что болѣзнь Шевырева не дала ему кончить своихъ лекцій. Я бы очень желалъ имѣть этотъ прекрасный трудъ вполнѣ. Ты отнесъ мои *Три сковиднья* Надеждину. Не хлопочи

„о нихъ болѣе; взять ихъ отъ него назадъ, разумѣется,
„нельзя, да и ненужно. Впрочемъ, не мои были воли
„ихъ отдавать въ Телескопъ. К. взялъ ихъ съ собой
„съ этимъ намѣреніемъ; я же въ этомъ не нуждался,
„а лучше сказать не хотѣлъ ихъ печатать, какъ я
„вообще отъ этого отказался. Меня просили здѣсь
„и со стороны Библіотеки быть участникомъ, но я
„отказался, потому что имѣлъ непріятности съ Сен-
„ковскимъ. Ежели я рѣшусь когда-нибудь отдельно
„печатать свои стихи, то я изберу для этого Современ-
„никъ, потому-что я весьма коротко познакомился
„съ Пушкинымъ, который весьма ободряетъ мои произ-
„веденія, особенно переводъ Фауста, за которымъ я
„сидѣлъ почти пять лѣтъ; въ прошедшемъ году онъ
„былъ готовъ, но цензура его не пропустила и я съ
„досады разорвалъ рукопись. Въ нынѣшнемъ году я
„по настоянію Пушкина началъ его во второй разъ
„переводить. Еще разъ повторяю, ежели я рѣшусь
„вступить въ журнальный цехъ, то я конечно изберу
„партию Пушкина. Поэтому ты оставь Надеждина въ
„покоѣ; ежели онъ ихъ безъ твоего содѣйствія на-
„печатаетъ, такъ дѣлать нечего, ежели нѣть—я буду
„очень радъ; ты-же объ-этомъ ни гу-гу!“

Вотъ нѣкоторые подробности о началѣ знакомства Губера съ Пушкинымъ. Нашъ великий поэтъ узналъ случайно о томъ, что какой-то молодой человѣкъ, имя которого ему могло быть нѣсколько известно по журналамъ, где Губеръ печаталъ стихи, перевелъ Фауста, но вслѣдствіе разныхъ неудачъ разорвалъ рукопись. Тогда Пушкинъ развѣдалъ о квартирѣ мо-

лодаго человѣка и тотчасъ-же отправился къ нему, но, не заставъ дома, оставилъ карточку. Понятно, съ какимъ изумленіемъ нашелъ ее Губеръ, воротившись домой, и съ какой беспокойной торопливостью поспѣшилъ къ великому поэту. „Не могу не упомянуть“ говорить Губеръ въ статьѣ свой въ „Литерат. Приб.“ 1837 г. № 34:—съ какою милою обходительностью, „съ какимъ ласковымъ простодушiemъ Пушкинъ прини- „малъ начинающихъ литераторовъ. Я видѣлъ нѣсколько- „изъ такъ-называемыхъ знаменитостей нашихъ, но, срав- „нивая жалкое меценатство, напыщенное снисхожденіе, „съ которымъ они съ высоты своего величія про- „тягивали концы пальцовъ трепещущему новичку на „поприщѣ литературы, сравнивая, говорю, это меценат- „ство съ привлекательнымъ, откровеннымъ простоду- „шiemъ Пушкина, я не могъ не убѣдиться въ томъ, „что достоинство тѣмъ выше, чѣмъ проще“.

Пушкинъ настаивалъ, чтобы Губеръ вторично принялъся за переводъ Фауста, помогалъ ему совѣтами, своимъ перомъ исправлялъ многія мѣста и условился, что не иначе будетъ принимать къ себѣ поэта, какъ если онъ каждый разъ будетъ приносить съ собой по отрывку изъ Фауста. Участіе Пушкина къ этому дѣлу было такъ живо, что онъ перевелъ тогда же нѣкоторыя мѣста самъ. „Судя по этимъ мѣстамъ, продолжаетъ Губеръ:— „намъ остается только сожа- „лѣть, зачѣмъ Пушкинъ, такъ глубоко сочувствуя „Гёте, не пересоздалъ намъ въ цѣлости всего испо- „линскаго произведенія этого безсмертнаго философа- „поэта.“

Вліяніе Пушкина на Губера было рѣшительное: мы видѣли, что со времени знакомства съ нимъ, онъ только его партію, изъ всѣхъ литературныхъ партій, считаетъ достойной сочувствія; мы видѣли, что благодаря его совѣтамъ онъ рѣшился на новый, вторичный громадный трудъ перевода; мы увидимъ далѣе, какъ мгновенно выросъ и возмужалъ въ немъ его молодой талантъ. Поэтому несчастное событие 29 января 1837 г. — смерть Пушкина — была двойнымъ горемъ для Губера; родственный плачъ и глубокая, невыразимая грусть слышатся въ стихотвореніи нашего поэта на этотъ случай (Т. I.):

Я видѣлъ гробъ его печальный,
Я видѣлъ въ гробѣ блѣдный ликъ
И въ тишинѣ, съ слезой прощальной,
Главой на трупѣ его поникъ!
Но пусть надъ лирою безгласной
Порвется тщетная струна,
И не смутить тоской напрасной
Его торжественнаго сна.
Послѣдній звукъ съ нея сорвется,
Послѣдній звукъ струны моей,
Какъ вѣстникъ неба пронесется,
И, можетъ быть, въ сердцахъ людей
На тайный вздохъ ихъ отзовется,
И миръ испуганный вздрогнетъ. . . .

Какая теплая грусть, какой искренній надгробный плачъ, какой непосредственный голосъ сердца, истор-

гнутый прямо изъ груди въ минуту свершившагося несчастія, когда еще нѣтъ мѣста анализу, строгой оцѣнкѣ!.... Стихотвореніе это ходило въ то время по рукамъ въ высшихъ аристократическихъ кружкахъ и пробуждало къ себѣ общее сочувствіе. Графъ Толь, главноуправляющій путями сообщенія и публичными зданіями призывалъ даже къ себѣ Губера и объявилъ, что „ему очень пріятно въ числѣ своихъ подчиненныхъ имѣть такого даровитаго человѣка.“ Вскорѣ послѣ смерти Пушкина, въ № 1-мъ Современника (1837 г.) появился въ печати большой отрывокъ изъ Фауста, подписанный фамиліей Губера. Отрывокъ этотъ породилъ одно замѣчательное литературное приложеніе про quo. Губеръ въ своемъ *Литературномъ обѣясненіи* (Литер. Приб. къ Русск. Изв. 1837 г. № 34) говоритъ, что онъ принадлежитъ, почти исключительно Пушкину. „Многія мѣста перевода, сказано въ приведенной статьѣ Губера: — исправлены Пушкинъ, „но нигдѣ рука мастера не помогала столько слабому ученику, какъ въ томъ отрывкѣ, который помѣщенъ въ шестомъ томѣ „Современника“. Самое начало, переведенное мною въ размѣрѣ подлинника, такъ называемыми „Knittelverse,“ мастерски измѣнено въ звучный прекрасный ямбъ; то мѣсто, гдѣ духъ земли является на отчаянныи вызовѣ Фауста, исключительно принадлежитъ ему.“

Вотъ какими именно мѣстами этого перевода восхищается Губеръ въ особенности, приписывая ихъ перу Пушкина.

1) Изъ сцены между *Фаустомъ* и *Духомъ*.

духъ.

Ты звалъ меня, безъ отдыха стремился
Узрѣть мой взоръ, услышать голосъ мой:
На мощный зовъ я наконецъ склонился,
Явился я.—Что значитъ ужасъ твой,
О полубогъ? Гдѣ гордое призванье,
Гдѣ радостной восторгъ и груди трепетанье,
Въ которой цѣлый міръ ты создалъ и носилъ,
Лелѣяль пламенно и безразсудно мнилъ
Дышать; подобно намъ, всемірною душою?..
Тыль это, Фаустъ? Зачѣмъ-же предо мною,
Внезапно ослабѣвъ, иѣмѣешь и молчишь,
Моимъ дыханьемъ пораженный?

ФАУСТЬ.

Искадье пламени! Твоей насмѣшки злобной
Я не стерплю: то Фаустъ, то духъ, тебъ подобный!

Присутствую я,
Незримая сила,
Рожденье, могила,
И радость, и горе,
Предвѣчное море;
Въ станокъ ударяя,

Надъ тканью волнистой трудясь безъ конца,
Пряду я одежду живую Творца (*).

(*) Совр. Т. VI стр. 308—309. Ср. Губера Т. II стр. 31—32.

2) Изъ сцены за *городскими воротами*.

нищій.

О, госпожи и господа!
Богатствомъ вашимъ ослѣпленный,
Взыываетъ къ вамъ старикъ презрѣнныи:—
Его преслѣдуется нужда.
Лишь тотъ прямое счастье знаетъ,
Чья благодѣтельная рука,
Кто въ общей праздникъ надѣлянетъ
Богатой жатвой бѣдняка (*).

3) Изъ той-же сцены.

ФАУСТЬ.

Разбила рѣка леденые затворы,
Весны миловидное солнце узрѣвъ;
На нивахъ надежда лелѣеть посѣвъ;
Старая зима удалилася въ горы,
Ослабшая тамъ, истощаетъ свой гнѣвъ.
Оттуда она иногда посылаетъ
На юныхъ луговъ зеленѣющій скать
Снѣжокъ перелетный, крупичатый градъ,
Но солнце весь міръ оживлять начинаетъ,
Бевѣстныхъ предѣловъ не терпитъ оно.

Когда-же въ землѣ еще дремлетъ зерно
И садъ безъ цвѣтовъ, оно вызываетъ
Изъ хладныхъ покоевъ, навстрѣчу лучай,

(*) Совр. Т. VI стр. 327. Ср. Губера Т. II стр. 49.

Въ блестящія ткани одѣтыхъ людѣй.
Теперь оглянись: вотъ, надъ горою,
Увидиши, какъ дружно изъ мрачныхъ воротъ,
Въ поляхъ разсыпаясь шумящей толпою,
Пестрѣя, выходить разгульный народъ,
Всѣ празднують вкупе Христа воскресеніе,
Для всѣхъ настаютъ беззаботные дни.
Покинувъ на время свое заточеніе,
Не къ новой-ли жизни воскресли они?
Изъ-подъ мрака навѣсовъ и кровлей тяжелыхъ,
Изъ улицъ тѣсныхъ и невеселыхъ,
Изъ ночи таинственной древнихъ церквей—
Всѣ появились на свѣтъ лучей.
Смотри-же, смотри, какъ волнистой толпою
Народъ разбивается между садовъ,
Какъ по рѣкѣ, одна за другою,
Слѣдуютъ лодки весельныхъ пловцовъ.
А вотъ и послѣдній членокъ, утопая,
Чуть подъ тяжелымъ грузомъ плыветъ.
Даже въ горахъ отдаленныхъ мелькая,
Платя пестрѣютъ, народъ бредетъ.
Какъ шумно въ селѣ молодежь веселится;
Смотря на нее, и стариkъ молодится.
Здѣсь каждый въ довольствѣ проводитъ свой вѣkъ,
Я здѣсь на свободѣ, я здѣсь человѣкъ (*).

„Я упомянулъ здѣсь, продолжаетъ Губеръ послѣ выписокъ:— „только о тѣхъ мѣстахъ, которыя соб-

(*) Совр. Т. VI стр. 328. Ср. Губера, Т. II стр. 52.

„ствено принадлежать Пушкину; яри йзданіи цѣлаго „перевода я не умолчу и о другихъ важныхъ по- „правкахъ, которымъ обязанъ его участію.

„Никто не зналъ, до какой степени рукопись, найденная подъ моимъ именемъ между бумагами Пушкина, принадлежитъ ему. Я бы могъ безнаказанно воспользоваться произведеніемъ великаго поэта, могъ-бы свое непзвѣстное имя украсить его стихами; но чувство долга, благодарная память о томъ, кто первый принялъ такое безкорыстное участіе во мнѣ, останавливаетъ меня отъ святотатственаго преступленія, и я съ благоговѣніемъ возвращаю его имени то, что ему принадлежитъ.“

Въ слѣдующемъ 1838 г., въ IX. Т. Современника, нѣкто г. Бекъ, писавшій и печатавшій въ то время свои стишки, объявилъ, что этотъ отрывокъ изъ Фауста принадлежитъ *исключительно* ему, г. Беку, а не Губеру и не Пушкину. На это объявленіе Губерь отвѣчалъ въ своемъ предисловіи къ изданію Фауста и, признавая, что означенныи отрывки могутъ принадлежать г. Беку, говорить: „Время объяснило этотъ „литературный qui pro quo и я съ удовольствіемъ освобождаю себя отъ труда г. Бека“ (*).

Это обстоятельство даетъ намъ поводъ указать на нѣкоторыя отличительныя черты характера Губера. Его способность увлекаться привязанностями своими была такъ велика, что мы выразимся безъ преувеличенія, если скажемъ, что онъ бывалъ *влюблена* въ

(*) См. Губера Т. II стр. XXX.

своихъ друзей. Понятно, что такое чувство законнѣе всего могло въ немъ развиться къ Пушкину, который такъ обласкалъ поэта. Поэтому все, что онъ, на какомъ-бы то ни было основаніи, считалъ принадлежащимъ Пушкину, то имѣло въ его глазахъ осѣдѣтельную прелестъ. Такъ онъ восхвалялъ до небесъ отрывокъ изъ Фауста, напечатанный въ Современникѣ и вовсе не отличающійся особенными достоинствами, какъ читатель можетъ судить по приведеннымъ выпи-скамъ. Когда ошибка разоблачилась и вмѣсто Пушкина, авторомъ отрывка оказался г. Бекъ, то беспо-койная, раздражительная натура Губера не могла равнодушно вынести этого извѣстія: онъ готовъ былъ бранить переводъ и не обошелся-таки безъ ирониче-скихъ выраженій на счетъ его. Такая выходка вообще не говоритъ намъ въ пользу Губера, какъ критика, особенно, если вспомнимъ, что года четыре передъ тѣмъ, онъ не могъ признать даже Бориса Годунова за порядочное произведеніе, но она весьма рельефно характеризуетъ складъ души Губера и ничего не го-ворить въ ущербъ силѣ его поэтическаго таланта. Что онъ не былъ критикъ, особенно въ первые годы своей литературной дѣятельности, въ этомъ нельзѧ и сомнѣваться. Теоретическія воззрѣнія его отставали отъ вѣка, что впрочемъ должно вообще замѣтить о рус-ской критикѣ до Бѣлинскаго. Въ 1838 г. Губеръ не понималъ еще прелести поэзіи Гейне, которую назы-валъ подражаніемъ французской литературы; тогда онъ провозгласилъ Гуцкова—проповѣдникомъ безнрав-ственности, не подозрѣвая того, что байронизмъ его

собственной лиры и восторженное поклонение Фаусту и Гёте—въ сущности основаны были на той-же ненависти къ существующей общественной средѣ, какою дышала поэзія новыхъ германскихъ поэтовъ. Мы можемъ съ несомнѣнной достовѣрностью сказать, что Губеръ въ это время уже разстался со многими суевѣрными, рутинными преданіями, руководящими обществомъ, но разстался-то онъ съ ними подъ вліяніемъ отсталаго мистика, такъ, что частичка материализма, пробужденного въ немъ Фесслеромъ, по милости его же затеряна была въ массѣ понятій отжившихъ. Такой разладъ не мирился съ требовашими гармоніи въ минуты поэтическаго вдохновенія или во время критической работы ума: поэтому Губеръ охотнѣе оставался при старомъ, простомъ мистицизмѣ, при старыхъ формахъ, общепонятныхъ, благодаря ихъ давности. Рѣшительный скептицизмъ не шелъ къ нему и онъ могъ выражать его только на словахъ, да изрѣдка въ стихахъ. Этотъ разладъ значительно уменьшился въ немъ отъ сближенія съ Пушкинымъ, который пробудилъ въ поэта всестороннее, самостоятельное развитіе духа. Смерть Пушкина не заглушила въ Губерѣ новыхъ стремленій и не заставила его забыть переводъ Фауста, при чемъ ему чувствовалось иногда отсутствіе великой, могучей поддержки. Грустное настроеніе его духа послѣ смерти Пушкина отчетливо выразилось въ слѣдующемъ письмѣ его къ Г. Я. Тихменеву, отъ 26 сентября 1837 г.:

,День, въ который я получаю письмо отъ тебя, мой ми-
,,лый, старый, добрый, вѣрный, другъ, я считаю праздни-

„комъ. Для меня нѣтъ ни любви, ни страстей; судьба
„не надѣлила меня разнообразiemъ чувствъ; но она
„умѣла замѣнить этотъ недостатокъ; она дала мнѣ
„святое, сильное, глубокое чувство, въ которомъ за-
„ключены всѣ условия моего индивидуального счастія;
„это чувство — чистое чувство дружбы. Мое богат-
„ство — друзья. Въ пхъ спискѣ ты занимаешь почетное,
„первостепенное мѣсто. Съ твоимъ именемъ сопряжено
„воспоминаніе лучшей эпохи жизни, эпохи развитія,
„эпохи первыхъ надеждъ, первыхъ стремленій. Шесть,
„семь лѣтъ отдѣляютъ это время отъ настоящаго; дай
„оглянуться, много-ли осталось прежнихъ замысловъ,
„прежнихъ впечатлѣній? надѣй тобой прошла тяжелая
„гроза; ты испыталъ горькія утраты; ты лишился не-
„замѣнныхъ благъ. Судьба равнодушно сорвала листья
„съ зеленой вѣтки надежды, и оставила гладкую розгу.
„Мой бѣдный, бѣдный другъ! Шесть лѣтъ — одно мгновеніе
„въ безднѣ времени — а ты сирота! Но нѣтъ, для тебя
„осталось небо и земля, земля и дружба. Друзья и
„религія — вотъ твоя семья. А я? съ блестящими за-
„мыслами я вышелъ на поприще жизни, съ жадностю
„пріобрѣталъ познанія; не довольствуясь вѣрой, я искалъ
„убѣжденія; спокойствіемъ души я заплатилъ за скуд-
„ное знаніе. Три года я убилъ на изученіе философіи
„во всѣхъ ея направленіяхъ, а результатъ этого изу-
„ченія былъ горькое сознаніе нашей немощи и пере-
„водъ Фауста. Гдѣ мои начинанія? что я совершилъ
„въ продолженіи этихъ шести лѣтъ, этого ужаснаго
„пространства времени въ сравненіи съ короткимъ пу-
„темъ нашей жизни? Я думалъ! Важное дѣло думать!

„откровенная исповѣдь моей души; смѣйся надъ моими „притязаніями, но согласись, что лучше имѣть предъ „собою недоступную цѣль, нежели вовсе не имѣть цѣли. „Мѣсяца черезъ полтора, я надѣюсь прислать тебѣ „моего Фауста, который теперъ въ цензурѣ.“

Матеріальное положеніе Губера продолжало быть довольно стѣсненнымъ и заставляло его усердно работать надъ переводомъ тибетской граматики и лексикона, что поручено ему было Академіей Наукъ по ходатайству его дяди, академика Шмидта. Кроме того, въ тоже время онъ былъ приглашенъ сотрудникомъ Современника и Литературныхъ Прибавленій, да долженъ былъ составлять статьи по исторіи нѣмецкой литературы для Энциклопедического Словаря. Служебные занятія также отнимали у него много времени и заставляли его лѣтомъ жить за-городомъ.

Труженичество и неудачи тяготили Губера, да оно и не могло быть иначе. Вотъ что говорилъ онъ, въ 1847 году, въ одной изъ своихъ „Театральныхъ Хроникъ“, о несчастной участіи бѣднаго поэта; намъ слышится въ этихъ словахъ сознаніе, выстраданное горькимъ опытомъ: „Вы, богатые баловни счастья, беззаботные наслѣдники скучныхъ отцовъ, вы находили-ли „когда-нибудь свободную минуту, вы брали-ли на себя „снисходительный трудъ, подумать объ участіи вашего „бѣднаго брата—поэта, вашего потѣшника, котораго „произведенія вы читаете послѣ шумной оргіи, послѣ „роскошнаго ужина, чтобы скорѣе и спаще заснуть? „Вамъ приходило-ли въ голову, хоть только случайно, „отъ нечего дѣлать, что въ ту же минуту, гдѣ-нибудь

,,на чердакѣ, подъ крышей, не спить и онъ, этотъ , ,жалкій поэтъ, этотъ голодный труженикъ, котораго , ,имя вы запомнили вмѣстѣ съ именами другихъ фиг- , ,ляровъ? Правда, его безсонница не слѣдствіе дикой , ,оргіи, винныхъ паровъ и разврата; ему не спится, , ,потому что неотступныя мысли тревожно ходятъ въ , ,трепещущемъ сердцѣ и душать и давять его боль- , ,шую голову. Эти мысли ищутъ слова и просятся въ , ,стихи; въ этихъ мысляхъ кара и награда, проклятие , ,и благословеніе поэта, эти страдальческія наслажде- , ,нія — лучшая доля его. Онъ благодаритъ судьбу за , ,эти поздніе часы труда, за эту безсонницу, которая , ,даритъ ему столько сладкихъ пѣсенъ.

, Но, можетъ быть, ему не спится потому, что нужда , ,стоитъ у дверей и караулитъ его бездѣйствіе; мо- , ,жетъ быть, онъ сидитъ надъ сухими и срочными ра- , ,ботами, которые за скучный кусокъ хлѣба разби- , ,ваютъ лучшія его вдохновенія. Поэтъ не продаетъ , ,своей завѣтной думы; сокровища поэтической мысли , ,не кормятъ его насущнымъ хлѣбомъ, потому что они , ,не подчиняются времени; ихъ нельзя ставить на срокъ, , ,по условію и подряду. Гордый бѣднякъ не расчиты- , ,ваетъ на это свободное, прихотливое вдохновеніе; , ,оно питаетъ его душу, но не кормить желудка, не , ,одѣваетъ тѣла, не платить портному. На эти про- , ,запискія дѣла есть и прозаическая занятія, есть ли- , ,тературное ремесло, есть срочная работа. И вотъ на , ,какое ремесло осужденъ бѣдный поэтъ! Онъ въ наемъ , ,отдаетъ свое время, чтобы жить, какъ живутъ другіе, , ,и у этого проданного времени онъ крадетъ бѣглую

,,минуту, чтобы въ судорожномъ волненіи кинуть на
,,бумагу горячую, поэтическую мысль. Онъ осужденъ
,,на эту работу, потому что, по условіямъ нашего
,,образованного времени, онъ тоже занимаетъ какое-
,,нибудь мѣсто въ обществѣ. Нынѣшнему, пошлому и
,,скучному свѣту угодно было допустить до себя и
,,поэта, въ видѣ привилегированаго фигляра, кото-
,,рый можетъ иногда прочесть стихи, или кинуть
,,страниную мысль, острое слово, въ минуту совер-
,,шеннаго бездѣлъя, когда истощены всѣ свѣтскія
,,сплетни, и это гнилое, праздное общество зѣваетъ
,,въ невольномъ сознаніи собственной пустоты. А если
,,онъ, на горе себѣ, на счастіе своей поэзіи, встрѣ-
,,тить посреди этого общества существо, которое тро-
,,мѣтъ въ сердцѣ его завѣтную струну поэтической
,,любви? А если онъ встрѣтить женщину, по волѣ
,,своенравной судьбы брошенную въ это вялое обще-
,,ство, окруженнюю благоуханіемъ поэзіи, созданную
,,для высокой поэтической страсти, на блаженство и
,,на ирокзатіе поэта?... Что-же тогда ожидаетъ его?
,,Какія новыя мученія готовить неумолимая судьба?
,,Время, день, вечера поэта принадлежать ей; его мысли
,,прикованы къ каждому ея движенію; его вдохновеніе
,,живеть ея миолетной улыбкой, ея случайнымъ взгля-
,,домъ. Но вотъ приходитъ ночь, страшная, бессон-
,,ная, мучительная ночь; поэтъ за рабочимъ столомъ;
,,блѣдный свѣтъ озаряетъ бумагу, которая напрасно
,,ждеть привычныхъ строкъ; нужда у дверей, жизнь
,,и общество требуютъ денегъ; эти наслажденія поку-
,,паются не даромъ. Бѣдный поэтъ долженъ жить какъ

„и другіе; на немъ лежать тѣ же условія
„У него только недостаетъ тѣхъ-же деревень и тѣхъ-
„же заводовъ; за то у него голова и руки, которыя
„могутъ работать, за то судьба дала ему дарование—
„и въ этомъ дарованіи все богатство поэта. И вотъ
„онъ въ позднюю ночь сидитъ за рабочимъ столомъ;
„платье ремесленника замѣшило модный фракъ; передъ
„нимъ срочная работа; завтра она должна быть въ
„типографіи; правда, это скучная, сухая работа, но
„за нее платятъ хорошія деньги, а они ему нужны;
„завтра съ него потребуютъ уплату, завтра срокъ
„заемному письму, завтра можетъ быть его ожидаѣтъ
„тюрьма. Пиши же, жалкій труженикъ, пиши по за-
„казу—ты напялся въ поденьщики! Но мысли твои
„ходята вольно и далеко; онъ сладкими пѣснями
„окружаютъ милый, свѣтлый образъ любимой жен-
„щины; онъ полны вдохновенія и поэзіи. Но онъ не
„твой, не тебѣ принадлежатъ. Ты продалъ ихъ дру-
„гому; онъ служатъ въ наймахъ у расчетливаго хо-
„зяина, которому дѣла нѣтъ ни до твоей любви, ни
„до твоихъ вдохновеній. Вернись назадъ изъ своего
„воздушнаго царства на прозаическую землю; вспомни
„свои нужды, думай о деньгахъ, переложи свои вдох-
„новенія на рубли; выжимай изъ бѣднаго мозга свѣжія
„мысли, потѣшай публику, которая даетъ тебѣ средства
„жить по всѣмъ условіямъ желѣзного приличія“ (*).

Губеръ замѣтно однако сталъ утомляться множе-
ствомъ занятій и мечталъ о поѣздкѣ за-границу.

(*) См. Пет. Вѣд. 1847 г. № 27.

Средства къ тому онъ думалъ извлечь изданиемъ Фауста, на которое возлагалъ самыя блестящія надежды. Вотъ что пишетъ онъ своимъ родителямъ отъ 20 ноября 1837 г.

„Любовь Пушкина ко мнѣ, его вліяніе на литературу вообще не кончилось съ его жизнью. Когда еще онъ былъ живъ, то бралъ на себя всѣ хлопоты и всю отвѣтственность за Фауста. Онъ давалъ мнѣ слово продать 3.000 экземпляровъ по 10 р. и Пушкинъ сдержалъ бы свое слово. Теперь я печатаю Фауста на свой счетъ и получаю за каждое изданіе около 9.000 руб. Съ нѣкоторою вѣроятностію, я могу расчитывать на три изданія; всего составляеть до 25.000 руб., которые я могу получить года въ полтора.“

Но надежды поэта не сбылись: одного изданія Фауста достало на 20 лѣть, несмотря на несомнѣнныя достоинства этого перевода. Вместо поездки за-границу, Губеръ, въ концѣ того же 1837 г., едва могъ выбрать время, чтобы сѣзжть на мѣсяцъ къ своимъ роднымъ въ Москву и это было для него счастливымъ отдыхомъ.

Къ довершенію отчета нашего о дѣятельности поэта въ 1837 г. скажемъ, что въ этомъ году онъ перевѣль одно изъ мелкихъ стихотвореній Пушкина: Стансы, *Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ* (*) на

(*) Изд. Аниенкова, II, 489.

нѣмецкій языке и напечаталъ въ одномъ иностранномъ журналь (въ *Zeitung für die elegante Welt*, № 210 за 1837 годъ. См. Примѣч. III).

23-хъ-лѣтній, молодой Губеръ былъ уже необходимымъ членомъ литературного кружка, который „съ распростертыми объятіями“ встрѣтилъ его по пріѣздѣ изъ Москвы въ началѣ 1838 г. Въ это время онъ участвовалъ на юбилейномъ празднествѣ, данномъ въ честь Крылова. Вотъ коротенькое описаніе его изъ письма Губера къ сестрѣ своей отъ 5 февраля 1838 г.

„Любезная Эмилія! Втораго февраля совершилось „незабвенное для русской литературы празднество. „Всѣ министры, всѣ писатели и знаменитые художники „собрались для празднованія юбилея литературной „дѣятельности нашего Крылова. Все общество состояло „изъ 400 человѣкъ; всего собрано было до 2000 р., „на которые данъ былъ великолѣпный обѣдъ. Крыловъ тронутъ былъ до слезъ; Государь прислали „ему въ этотъ день звѣзду Станислава. Дамы, собравшіяся на хорахъ залы, брасали ему цветы, а мы „ему безпрерывно кричали: ура! Я былъ во все „время въ какомъ-то необыкновенномъ восторгѣ. Послѣ „обѣда старики даль мнѣ листокъ изъ лавроваго „вѣнка, который ему тутъ-же поднесли. Этотъ листокъ храню я, какъ святыню.“

Въ томъ же письмѣ онъ говоритъ, „что получилъ „изъ цензуры своего Фауста, который потерпѣлъ „нѣсколько пораженій“, но что „надо поневолѣ помириться и начать печатаніе.“ И такъ въ теченіи двухъ лѣтъ Губеръ совершилъ свой незабвенный трудъ,

надъ которыи вѣяль духъ Пушкина. Вооруженный этимъ духомъ, онъ смѣло выступалъ передъ публикой съ своимъ дѣтищемъ, смѣло смотрѣлъ въ глаза критики, не боясь браны, какъ и не увлекаясь чрезмѣрной похвалой: въ немъ самомъ было слишкомъ много сознанія. Фаустъ былъ поднесенъ министру народнаго просвѣщенія, гр. Уварову, который въ свою очередь поднесъ его Государю. Великая Княгиня Марія Павловна прислала ему бриліантовый перстень за поднесенный экземпляръ и этотъ подарокъ былъ для него особенно пріятенъ, потому что Великая Княгиня была, какъ извѣстно, въ дружескихъ сношеніяхъ съ самимъ Гёте. Публика радушно встрѣтила переводъ знаменитаго творенія, а критика отвѣчала частью полемикой, частью теплымъ словомъ. Только Булгаринъ возсталъ противъ перевода; мы не станемъ передавать содер-жанія его словъ, но лучше передадимъ мнѣніе о нихъ самого Губера изъ письма его въ Москву (безъ означенія числа и года, но вѣроятно отъ 1838 г.):

„Наконецъ-то я пустилъ по свѣту мое первое дѣ-тище; оно уже успѣло нѣсколько испытать пре-вратности жизни. Съ одной стороны Булгаринъ при-нялъ его съ горечью и бранью, съ другой Сенковскій съ неимовѣрными похвалами. Истина, вѣроятно, по обыкновенію, находится въ серединѣ. Единственно, почему хула первого дѣлаетъ лишь честь, состоитъ въ томъ, что Булгаринъ, какъ *шморантъ*, безгla-сенъ въ литературѣ, а какъ записной поборникъ рутинъ уже и потому мой личный врагъ и видить во мнѣ дурное. Въ скоромъ времени выдуть въ свѣтъ

„двѣ или три антикритики противъ него. Его полемическая выходка противъ меня принесла мнѣ пользу „потому, что во первыхъ, чрезъ это на мой трудъ „обращено вниманіе публики, которая всегда думаетъ „противоположное Булгарину, а во вторыхъ, я за „рекомендовываю себя передъ обществомъ съ *доброй* „стороны, какъ врагъ Булгарина. Прочие, будущіе „разборы моего перевода всѣ въ мою пользу.“

Переводъ Фауста навелъ однако на Губера одну невзгоду; изъ-за него, благодаря ложному мнѣнію о гѣтевомъ твореніи, онъ признанъ былъ Мефистофелемъ, человѣкомъ вредныхъ и безнравственныхъ убѣждений. Различного рода интриги людей, имѣвшихъ такое мнѣніе, постарались обѣ отказать ему въ должности адъюнкта русской словесности, которую ему бѣщали два года тому назадъ, которую онъ ждалъ съ нетерпѣніемъ и для которой готовился съ потерей времени и силъ. Куда-жъ эти господа запрятали-бы самаго Гёте, еслибы могли имѣть на него вліяніе, когда даже *переводчика* Фауста сочли *развратителемъ юношества?*

Мы пишемъ не критическую статью и оттого не вправѣ входить въ собственный разсужденія о достоинствахъ и недостаткахъ губеровскаго перевода Фауста. Появленіе этого труда во всякомъ случаѣ было замѣчательнымъ въ нашей литературѣ, которая до тѣхъ порь была знакома только по двумъ-тремъ отрывкамъ съ великимъ твореніемъ Гёте. Съ тѣхъ порь, съ легкой руки Губера, нѣть почти поэта, который не испробовалъ-бы своихъ силъ надъ переводомъ

Фауста; двое изъ нихъ (Струговщиковъ и Вронченко) передали намъ его вполнѣ; не разъ фамиліи гг. Грекова Тургенева, Огарева и др. являлись подписанными подъ прекрасно-переведенными отрывками, но все таки трудъ Губера, оконченный слишкомъ 20 лѣтъ тому назадъ, остается, по нашему мнѣнію, лучшимъ. Если точно онъ одинъ умѣлъ сохранить въ своемъ переводѣ всю глубину поэзіи оригинала, всю сущность высокихъ типовъ, созданныхъ Гёте, если содружество Пушкина положило свою непримѣнимую печать на все цѣлое, то имя Губера не умретъ въ потомствѣ и его Faustъ не перестанетъ быть образцовымъ твореніемъ. Если же притомъ вспомнимъ, что переводчику было тогда только 23 года, что тогда бороться съ русскимъ стихомъ — не то, что теперь и что донынѣ многія изъ поэтовъ не могутъ осилить цѣлаго Fausta(*), то нашеуваженіе къ Губеру покажется вовсе не преувеличеннымъ. Ожидая отъ современной критики справедливой оцѣнки труду по поводу настоящаго изданія, мы напомнимъ читателямъ объ одной изъ дѣльнейшихъ статей, появившихся въ журналахъ нашихъ, по выходѣ Fausta. Вотъ сущность критической статьи о переводе Fausta, помещенной въ январской книжкѣ 1839 г. Отечественныхъ Записокъ.

„Минувшій годъ былъ не богатъ поэтическими „произведеніями по части русской словесности, но

(*) Недавно появилась вся первая часть Fausta въ переводе г. Грекова. Мы смѣемъ думать, что губеровскій переводъ и теперь все-таки остается *лучшимъ* во многихъ отношеніяхъ.

„скудная литературная жатва была вполнѣ вознаграждена появившимся въ ноябрѣ мѣсяцѣ переводомъ „Фауста. Это первоклассное произведеніе одного изъ величайшихъ современныхъ геніевъ переведено литераторомъ, котораго имя, до того времени кое-гдѣ явившееся подъ стихотвореніями въ разныхъ журналахъ, еще не было означеновано трудомъ важнымъ, который бы сдѣлалъ его надолго памятнымъ для русской литературы. Г. Губеръ представляетъ намъ теперь первый опытъ такого труда, и мы, избалованные образцовыми переводами Жуковскаго, не обинуясь назовемъ его переводъ „Фауста“ хорошимъ, даже очень хорошимъ. Правда, не смѣемъ не сознаться, что и въ возможномъ родѣ переводовъ, переводъ г. Губера не есть первоклассный, въ особенности для тѣхъ, кто знакомъ съ переводомъ „Орлеанской Дѣвы“ и „Шильйонскаго Узника.“ Первоклассные переводы, по мнѣнію нашему, только что не невозможны. Но послѣ ихъ, во второй линіи, переводъ „Фауста“ занимаетъ одно изъ почетныхъ мѣстъ. Не забудьте, какою гибкостію таланта должны обладать переводчикъ этой чудной, глубоко-мысленной драмы, въ которой столько лирическаго, и драматическаго, столько философіи, столько гenія, и гдѣ такъ разнообразны оттѣнки идей и картинъ, и такъ драгоценны всѣ эти оттѣнки. Ему, какъ Протею, надобно принимать всѣ возможные виды.

„Предпринять въ наше время такой огромный трудъ, и съ такимъ постоянствомъ до конца его преслѣдовывать въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, какъ сдѣлалъ

„это г. Губеръ, вотъ уже не только не маловажный,
„но заслуживающій полное уваженіе подвигъ. Еще
„болѣе: г. Губеръ уже во второй разъ переводить
„Фауста. При умѣни Губера владѣть языкомъ,
„стихъ его звучень и пріятенъ. Жаль, что вездѣ онъ
„старался удержать размѣры подлинника; правда, это
„одно изъ сильнейшихъ доказательствъ того, какъ
„умѣеть онъ подчинить языкъ своей власти, за то
„онъ необходимо долженъ былъ стѣснить себя, и
„едва ли это не одна изъ главныхъ причинъ, что
„часто, передавая намъ мысль Гёте, г. Губеръ не
„вездѣ удерживаетъ ея оттѣники. Впрочемъ не знаемъ,
„можно ли въ переводѣ сохранить эти яркія краски
„языка, рабски покорнаго великому Гёте, языка, кото-
„рымъ онъ понятно выражаетъ самыя отвлеченныя,
„почти невыразимыя идеи.

„Смотря на все это, мы думаемъ, что „Фаустъ“,
„по дивному совершенству слога, есть одна изъ труд-
„нейшихъ пьесъ для перевода, если не самая трудная.
„Внѣшняя драпировка—вещь немаловажная въ поэти-
„ческомъ произведеніи. Что значитъ розовый кустъ
„безъ цвѣтовъ, что самая роза безъ ея аромата? то
„же, что ученый прозаическій переводъ поэтическаго
„произведенія.

„Несмотря однако на всѣ трудности, г. Губеръ
„передалъ многое очень удачно: почти всѣ лирическія
„мѣста у него превосходны; а лирическія мѣста въ
„Фаустѣ едва ли не самыя трудныя и по глубинѣ
„мыслей, и по ихъ отвлеченности. Въ подтвержденіе
„приведемъ отрывокъ изъ первого монолога „Фауста“,

„хотя и весь этот монологъ, за исключениемъ на-
чальныхъ стиховъ, переданъ прекрасно.“

Затѣмъ слѣдуютъ выписки изъ Фауста (стр. 27—29
и 38—39 тома II-го. нашего изданія), послѣ кото-
рыхъ рецензентъ продолжаетъ:

„Простите, если мы невольно отступимъ отъ хо-
,,лоднаго разбора при чтеніи этихъ прекрасныхъ сти-
,,ховъ; они, особенно первая половина, невольно на-
,,поминаютъ намъ счастливыя времена послѣдняго пе-
,,ріода нашей поэзіи. Пускай- они не совсѣмъ близки
,,къ подлиннику; но они передаютъ сердцу то, что выска-
,,залъ Гёте, а легкій и плавный стихъ говорить намъ, что
,,это все вошло въ душу переводчика, и вылилось какъ-
,,бы невольно, точно такъ же, какъ въ восторженію
,,минуту выливаются собственныя душевныя страданія.

„Вообще мы должны замѣтить, что переводъ мѣс-
,,тами не совсѣмъ близокъ къ оригиналу, и мы вполнѣ
,,увѣрены, что человѣкъ, умѣвшій передать намъ пре-
,,красными стихами большую часть „Фруста“, умѣль
,,бы поправить и недостатки стиховъ своихъ: стои-
,,ло бы только г-ну Губеру пересмотрѣть свой трудъ
,,съ большимъ стараніемъ. Увлекаясь прекраснымъ въ
,,переводѣ г. Губера и отдавая ему полную справед-
,,ливость, мы считаемъ обязанностію показать его
,,недостатки: первое, мы сказали уже, по мѣстамъ
,,встрѣчается невѣрность въ переводѣ, иногда даже
,,мысль выражена очень темно; напримѣръ:

Искусство времени не знаетъ,
А наша жизнь такъ коротка.

,,Въ подлинникѣ сказано:

Ach Gott! die Kunst ist lang,
Und kurz ist unser Leben.

,,то есть: Ахъ, Боже, наука долга. а жизнь коротка.

,,Напрасно онъ употреблялъ также силлабическіе ,,стихи, называемые у нѣмцевъ Knittelverse: они не- ,,свойственны духу нашего языка. Есть сверхъ того, ,,мѣстами, промахи противъ размѣра, хотя и очень ,,рѣдко. Встрѣчаются также легкія ошибки противъ ,,языка, напримѣръ въ приведенномъ нами отрывкѣ:

Мнѣ въ пищу прахъ! мой домъ въ пыли.

,,На нѣмецкомъ Фаустъ уподобляетъ себя черви ,,и говорить, что онъ живеть и питается въ пыли, до- ,,колѣ прохожій не уничтожить его подъ своею ступ- ,,нею. На русскомъ, неговоря уже о томъ, что мысль ,,не выдержанна, слова: *мой домъ въ пыли!* не выра- ,,жаютъ даже того, что хотѣлъ сказать переводчикъ; ,,можно подумать, что домъ Фауста запылился, какъ ,,одежда его.

,,Чтобъ быть вполнѣ справедливымъ, замѣтимъ также ,,переводчику, что онъ не вездѣ сохранилъ эту удивительную простоту и точность языка подлинника, ,,которыя такъ увлекаютъ читателя въ Гёте. Г. Губерь ,,иногда фигуриалень въ выраженіяхъ и характерѣ Маргариты подъ перомъ его получилъ не совсѣмъ тѣ ,,черты, которыя даны ей авторомъ. У Гёте это ,,нѣжное, прелестное, простодушное, выполненное любви ,,созданіе, типъ женщины въ ея дѣвственной чистотѣ; ,,она у него не представительница какого-либо сос-

„ловія, хотя и принадлежить къ простому кругу „людей; у г. Губера, напротивъ, она мѣщанка, почти „субретка въ иѣкоторыхъ сценахъ. Отъ этого какъ-то „грубѣеть ея физіономія, и она сама лишается своей „тонкой, прозрачной оболочки, сквозь которую свѣ- „тится душа, исполненная дивной граціи. Не совсѣмъ „удачно также обрисованъ и Мефистофель. Лирикъ „въ душѣ, г. Губеръ можетъ увлекаться прекраснымъ, „можетъ горевать надъ каждымъ человѣкомъ, но не „смѣяться надъ его страданіями; съ пера его свободно „и легко льются восторженныя пѣсни вдохновенія, „но оно неспособно излить весь саркастической ядъ „Мефистофеля. Отъ того въ его переводѣ острота бѣ- „совской насмѣшки притуплена, часто растянута и „безсильна.

„Вотъ полный отчетъ нашъ о гигантскомъ трудѣ „совершенномъ на поприщѣ нашей изящной литера- „туры. Легко изъ него сдѣлать общий выводъ. Мы „считаемъ г. Губера прекраснымъ лирическимъ по- „этому, плѣняемся его переводомъ тамъ, где онъ по- „падаетъ на дорогу, указанную ему собственнымъ „его природнымъ назначеніемъ, и укоряемъ его за „погрѣшности противъ вѣрности и точности въ иѣко- „торыхъ мѣстахъ перевода. Но Фаустъ такое тво- „реніе, для которого надобно иѣсколько переводовъ „въ стихахъ и прозѣ, переводовъ и ученыхъ, сдѣлан- „ныхъ съ подстрочною вѣрностію, подъ руководствомъ „комментарій, и изящныхъ, въ которыхъ было бы „возсоздано художественное достоинство подлинника. „Г. Губеръ началъ первый и ему безспорно будуть

„обязаны всѣ просвѣщенные соотечественники полною
„благодарностію. Авось примѣръ его возбудить дру-
„гихъ направить труды свои на подобный прекрас-
„ный подвигъ, и мы вдругъ увидимъ нѣсколько пе-
„реводовъ великаго творенія, которое занимаетъ одно
„изъ первыхъ мѣстъ въ европейской литературѣ но-
„выхъ временъ.

„Въ заключеніе поблагодаримъ еще г. Губера за
„прекрасное предисловіе его: въ немъ онъ изложилъ
„довольно отчетливо свои мысли о Фаустѣ, котораго
„создалъ геній великаго Гёте, и о Фаустѣ, жившемъ
„въ народномъ преданіи. Замѣчанія, помѣщенные въ
„концѣ книги на отдѣльныя сцены, объясняютъ многое,
„что, съ первого взгляда, можетъ казаться темнымъ
„для нѣкоторыхъ читателей. Они необходимы для
„полнѣйшаго уразумѣнія поэмы. Отъ лица всѣхъ
„благомыслящихъ людей осмѣливаемся благодарить
„г. Губера за добросовѣстный благородный трудъ,
„который дѣлаетъ честь его таланту, и за постоянн-
„ство, твердость исполненія прекраснаго, безкорыстнаго
„намѣренія—передать намъ лучшаго изъ современныхъ
„поэтовъ въ лучшемъ его твореніи“.

Неутомимый Губеръ не успѣлъ еще кончить своего Фауста, какъ занялся сочиненіемъ оригинальной поэмы: *Антонія*, которую онъ называлъ *философскимъ романомъ* и въ которой предполагалъ написать 8 главъ, но написалъ только 6. До нашего изданія, только одна первая глава была напечатана въ 1838 г., въ *Новогодникѣ* изд. Н. В. Кукольника. Но здѣсь и эта глава передана совершенно въ другомъ видѣ,

чѣмъ въ нашемъ изданіи (См. Примѣч. IV). Объ этой главѣ Бѣлинскій тогда-же отозвался въ Московскомъ Наблюдателѣ, какъ о поэмѣ, въ которой „мѣстами „гладкость и бойкость стиха, мѣстами игривость „рассказа, мѣстами истинное чувство составляетъ дос- „тоинство, а излишнее подражаніе Пушкину, мѣстами „дурные стихи, вообще претензія на какую-то глу- „бокость, составляютъ ея недостатки“ (*).

Представивъ читателямъ нашего изданія остальныя пять главъ поэмы, мы можемъ указать на автобіографическое ея значеніе. Въ ней заключается психологическая исторія отношеній Губера къ Фесслеру, который умеръ вскорѣ послѣ начала этой поэмы, а именно въ 1839 году. Эти отношенія какъ-будто мучили совѣсть Губера: онъ ни разу не упоминаетъ даже имени Фесслера ни въ одномъ изъ имѣющихся у насъ писемъ. Онъ сознавалъ свое подчиненіе мистику и, быть можетъ, не совсѣмъ былъ доволенъ имъ. Безъ такого сознанія, поэма врядъ-ли могла явиться изъ-подъ пера Губера, потому что первыя двѣ главы „Антонія“ ни болѣе ни менѣе, какъ подробная автобіографія и что по всей поэмѣ проведена идея того же разочарованія жизнью, какимъ страдалъ самъ Губеръ. Нужно было пережить такое положеніе, въ какое поставленъ Антоній, чтобы подчинить его анализу; продолжая еще находиться въ немъ, нельзя сознавать и представлять его въ поэтическихъ образахъ. Впрочемъ лирический характеръ всей поэмы даетъ намъ право

(*) См. Сочиненія В. Бѣлинскаго М. 1859 г. Ч. III. стр. 16—17.

не безъ основанія подозрѣвать, что сознаніе въ Губерѣ было далеко не полное и что онъ все еще блуждалъ въ хаосѣ неопределенныхъ возврѣній. Видно, что поэма эта писалась безъ твердо-задуманного плана и что самъ авторъ не въ силахъ былъ написать ничего болѣе, кромѣ матеріаловъ. Отъ этого многіе отрывки изъ поэмъ напечатаны были имъ, какъ отдѣльныя лирическія произведенія и, надо сказать, выигрывали болѣе, чѣмъ въ поэмѣ. Одинъ изъ этихъ отрывковъ, именно изъ V главы, попадается въ тетради стиховъ 1835 года: (*) можетъ быть уже тогда Губеръ началъ свою поэму, если только отрывокъ не былъ написанъ какъ самостоятельное произведеніе и уже послѣ вошелъ въ составъ поэмы. Первое предположеніе впрочемъ вѣроятнѣе. Въ нашемъ изданіи мы напечатали эти отрывки и отдѣльно и въ самой поэмѣ, чтобы не лишить Антонія своей полноты, а собраніе лирическихъ произведеній однихъ изъ лучшихъ піесъ. Содержаніе Антонія мы отчасти знаемъ изъ начала нашей біографіи, когда намъ не разъ приходилось ссылаться на него. Начиная съ 3-й главы, поэма, кажется, въ подробностяхъ своихъ начинаетъ терять свой автобіографическій смыслъ. Кромѣ самосознанія, которое должно было навести Губера на мысль о поэмѣ, въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Фауста. Основная идея Антонія также, что и Фауста; разница въ томъ, что Антоній—не ученый мужъ, а неопытный юноша, котораго развращаетъ

(*) См. Т. I. стр. 17—18.

свой Мefистофель—Сильвіо. Если въ лицѣ Антонія мы можемъ себѣ представиять самаго Губера, то въ лицѣ Сильвіо—никого другаго, какъ Фесслера.

Приводимъ здѣсь письмо поэта къ Г. Я. Тихменеву, относящееся къ этому времени.

„21 Марта 1839 г. Здравствуй, мой добрый другъ „Григорій Яковлевич! Спасибо за милое письмо твое. „Вотъ тебѣ и Faустъ, который давно уже ждетъ тебя „и не былъ отосланъ по непростительному нерадѣнію „моему. Я въ этихъ дѣлахъ вообще какъ-то безтол- „ковъ: никакъ не соберусь сдѣлать пакета, отправить „на почту и проч. Не сердись на меня, ежели я рѣдко „пишу къ тебѣ: будь увѣренъ, что я отъ того не ме- „ниѣ тебя люблю; но я, кажется, отъ того пишу рѣд- „ко, что слишкомъ много пишу. Теперь я занимаюсь „составленiemъ критической исторіи философіи, изъ ко- „торой помѣщаю статьи въ *Отечественныхъ Запис-* „*кахъ*. Ты спрашиваешь, не произвожу ли я какое- „нибудь оригинальное поэтическое дѣтище? и на это „могу отвѣтить утвердительно. Я пишу философичес- „кій романъ въ стихахъ; — первую главу этого ро- „мана я подарилъ Кукольнику для его *Новоюдника* „и она уже отпечатана. Вирочемъ конецъ романа скры- „вается въ неизвѣстныхъ мракахъ будущаго.

„Ты, вѣроятно, слышалъ о *Сто русскихъ литерато-* „*ровъ?* Можетъ быть, ежели успѣю приготовить что- „нибудь, на будущій годъ я тисну и мою фізіономію, „въ этой скромной галлереѣ рожъ. Въ такомъ случаѣ „я непремѣнно пришлю тебѣ отискъ, чтобы тебѣ по- „казать, какой я сдѣлался молодецъ съ тѣхъ поръ,

„какъ мы разстались ?!?!?! Впрочемъ я бы тебѣ „совѣтовалъ не дожидаться портрета, а лучше пріѣхать: впечатлѣнія будуть вѣрнѣе и отчетливѣе. Въ „самомъ дѣлѣ, я бы совѣтовалъ тебѣ привезти сюда „моего племянника (*); здѣсь бы его лучше пріютили, „нежели тамъ, а кстати посмотрѣли бы другъ на друга. „Я увѣренъ, что ты, не смотря на молодость своихъ „дѣтей, уже теперь думаешь усердно о будущей судьбѣ ихъ. Сообщи же мнѣ свои планы, мечты, надежды: „ты знаешь, что я раздѣлю ихъ съ тобою отъ души, „къ тому же мнѣ, какъ дяди, не худо присоединить „слова два къ разсужденію о будущемъ назначеніи моихъ племянниковъ.

„Знаешь ли какая мысль меня теперь занимаетъ „всего болѣе? Какія мечты тѣшатъ меня? Я хочу „ѣхать за-границу на нѣсколько лѣтъ, ежели можно „побыть въ нѣмецкомъ университѣтѣ и посмотреть на „Европу; ежели времени не хватить, то разумѣется „я ограничусь осмотромъ Европы, а нѣмецкій уни- „верситетъ только такъ для роскоши, въ случаѣ осо- „беннаго счастья. Эту поѣздку я хочу совершить на соб- „ственныи счетъ, чтобы быть полнымъ хозяиномъ и „не связать себя отчетами. Моя мечта принадлежитъ, ко- „нечно, еще къ области воздушныхъ строеній; но фун- „даментъ ея болѣе и болѣе приближается къ землѣ. „Авось дастся! Авось—великое слово!

„О занятіяхъ и мечтахъ моихъ я тебѣ говорилъ:

(*) Рѣчь идетъ о сынѣ Г. Я. Тихменева, т. е. о моемъ по-
койномъ братѣ. Отца нашего онъ звалъ *братьемъ по чувству*,
а насъ *племянниками*. А. Т.

„болѣе нашему брату и говорить нечего. Что я „тебя люблю—это старая вещь, которую повторять „не слѣдуетъ, чтобы не надѣсть наконецъ. Что „ты меня любишь, я тоже знаю и въ этомъ увѣренъ. „Что мы другъ другу рѣдко пишемъ — обѣ этомъ лучше „и говорить не нужно, потому-что мы тутъ оба вино- „ваты, и я по преимуществу“.

Кромѣ Антонія, въ это же время онъ задумывалъ другія сочиненія, составлялъ планъ поэмы „Вѣчный Жидѣ“, писалъ мелкія стихотворенія и продолжалъ переводъ тибетскаго лексикона, заключавшаго въ себѣ до 100 печатныхъ листовъ.

Что касается до поэмы „Братоубийца“, то она вѣроятно написана очень давно, до 1835 г. Самъ авторъ былъ недоволенъ ей, хотя и она не лишена достоинствъ, общихъ всей поэзіи Губера.

Въ 1839 г. Губеръ вышелъ въ отставку изъ инженерной службы съ чиномъ капитана и поступилъ гражданскимъ чиновникомъ въ канцелярію графа Клеймихеля, главноуправляющаго путями сообщенія. — Здѣсь онъ пріобрѣлъ общую любовъ сослуживцевъ за свою прямоту и благородство и вниманіе начальства за свои способности. Но канцелярская служба тяготила его; офиціальность была не въ его натурѣ; излишняя прямота вредила его служебнымъ отношеніямъ такъ, что онъ черезъ три года долженъ былъ оставить службу. Вотъ одинъ изъ многихъ случаевъ, служившихъ поводомъ къ его отставкѣ: одинъ изъ ближайшихъ начальниковъ его поручилъ ему составить записку о какомъ-то дѣлѣ; Губеръ исполнилъ

порученіе, но начальникъ нашелъ бумагу не довольно хорошо написанною, прибавляя „*a еще поэту/литератору!*“ Губеръ измѣнилъ, снова получилъ замѣчаніе и приказаніе исправить; тогда онъ переписалъ бумагу буквально въ той формѣ, въ какой она была составлена въ первый разъ и осыпанъ былъ похвалами начальника, который присококупилъ:

— Вотъ, вы когда захотите что-нибудь сдѣлать, такъ и выходить прекрасно!

— Да помилуйте, отвѣчалъ раздраженный Губеръ: — это копія съ первой бумаги, которую вы же не одобрили.

Разумѣется, начальникъ былъ вовсе недоволенъ такой выходкой и присоединился къ служебнымъ врагамъ поэта.

Другой случай показываетъ благородное упорство Губера относительно тѣхъ приказаний начальства, которыя противорѣчили его убѣженіямъ. Разъ какъ-то, въ 1842 году, въ институтѣ четверо молодыхъ людей 16 — 17 лѣтъ присуждены были къ тѣлесному наказанію за какую-то шалость. Въ самый день этой церемоніи, утромъ, начальникъ велѣлъ позвать къ себѣ чиновника изъ канцеляріи, гдѣ поенному времени не было еще никого, исключая Губера, который имѣлъ тогда срочныя работы. Онъ явился къ начальнику.

— Сегодня наказываютъ въ корпусѣ, знаете? Ступайте туда и распорядитесь, сказалъ ему начальникъ.

— Не умѣю, отвѣчалъ лаконически и рѣшительно Губеръ.

Начальникъ выходилъ изъ себя, возвышалъ голосъ и все получалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: не умѣю!

Черезъ нѣсколько времени понадобилось составить докладъ и получше изложить его, что часто по неволѣ поручалось Губеру за недостаткомъ стилистическихъ познаній между другими чиновниками. Начальникъ посыпаетъ за нимъ, и, скрѣпя сердце, принимаетъ его вѣжливо, хотя холодно. Когда Губеръ принялъ на себя возлагаемое на него порученіе, то начальникъ сквозь зубы спросилъ его:

— Это умѣете?

— Это умѣю, отвѣчалъ онъ; а *тою* не умѣю.

Послѣ всего этого, отношенія его къ нѣкоторымъ начальникамъ, конечно, должны были быть очень непрочны, хотя наружно сохранились такъ, какъ не у многихъ изъ его товарищѣй по службѣ.

При переходѣ изъ инженерной въ гражданскую службу, Губеръ составлялъ себѣ планъ жизни и сообщилъ его своимъ родителямъ въ слѣдующемъ письмѣ отъ 29 іюля 1839 года.

„Дорогіе родители!.... Уже давно нянчусь я съ „своимъ планомъ, который не покидаетъ ни на ми- „нуту моей головы. Я хочу поговорить съ вами о немъ „подробнѣе, такъ-какъ къ выполненію его хочу при- „ступить не только съ вашего совѣта, но и съ вашего „согласія.

„Съ тѣхъ поръ какъ я себя знаю, я чувствую въ „себѣ непреодолимую привязаность къ философскимъ „занятіямъ, къ философіи въ полномъ смыслѣ этого „слова, во всѣхъ я направленіяхъ и примѣненіяхъ

,,къ жизни, къ философії, какъ наукѣ и по отно-
,,шенію ея къ искусствамъ. Удовлетворенію этого
,,прежде несознанного стремленія мѣшалъ неудачный
,,выборъ служебной дѣятельности, которая навела
,,меня на путь точныхъ знаній, гдѣ свободное движение
,,мысли стѣснено. Я надѣялся, получивъ обѣщанную
,,каѳедру, соединить чувство долга съ потребностью
,,души, но мои надежды не сбылись. Моя настоящая
,,служба въ Комиссіи Проектовъ и Смѣть занимаетъ
,,меня съ 9 часовъ утра до 4-хъ пополудни такъ,
,,что мнѣ остается мало времени для моихъ работъ
,,и занятій тѣмъ болѣе, что и изъ этого свободного
,,времени, я долженъ удѣлять большую часть его на
,,такіе труды, которые обеспечиваютъ мое материальное
,,существование. По этому я слыву между нашими ли-
,,тераторами за нѣмецкаго ученаго, хотя я самъ
,,очень хорошо чувствую, какъ много недостаетъ мнѣ
,,для того, чтобы заслужить имя ученаго, на которое
,,у меня нѣтъ никакого права: есть только охота.
,,Для того я хочу въ сентябрѣ вовсе выдти въ
,,отставку и до весны 1841 года заниматься частью
,,для пополненія моихъ знаній, частью для накоп-
,,ленія денегъ съ тѣмъ, чтобы потомъѣхать за гра-
,,ницу, и тамъ въ одномъ изъ университетовъ по-
,,слушать лекціи. Въ продолженіи этого времени, мо-
,,жетъ быть, мнѣ удастся при непрѣрывномъ прилежаніц
,,и упорной волѣ, достичь моей цѣли и пріобрѣсти
,,большой запасъ знаній. Послѣ того я вернусь на-
,,задъ и снова поступлю на службу; тогда, можетъ
,,быть, измѣняются многія обстоятельства и я стану слу-

„жить тамъ, гдѣ захочу и на болѣе выгодныхъ усло-
„віяхъ, чѣмъ теперь. Вотъ мой планъ, который во
„всякомъ случаѣ составляетъ для меня важную за-
„дачу и долженъ произвести глубокій переворотъ въ
„моей судьбѣ; поэтому-то я и хочу знать ваше
„мнѣніе, прежде чѣмъ предприму что-нибудь рѣши-
„тельное. Прошу васъ скорѣе отвѣтить мнѣ на это
„письмо. Вашъ вѣрный сынъ Эдуардъ Губеръ.“

Съ 1840 года въ характерѣ и въ жизни Губера замѣтна большая перемѣна. Не стало обоихъ друзей, имѣвшихъ на него разносторонне вліяніе; не стало ни Пушкина, ни Фесслера; товарищи по корпусу и службѣ уговаривали угрюмаго поэта чаще показываться въ свѣтѣ, въ дамское общество, въ маскарады, гдѣ онъ не рѣдко проводилъ цѣлые ночи, мрачно блуждая по заламъ, подобно тому, какъ онъ изображенъ, по собственной его мысли, г. Степановымъ въ каррикатурномъ журналѣ Неваховича: *Ералашъ* (*). Весьма вероятно, что во время этихъ блужданій среди маскарадной толпы, Губеру, какъ поэту-мечтателю, мешались нескончаемые романы, герои которыхъ то и дѣло толкались, суетились, пищали, ужинали, на его глазахъ. Нельзя не сказать, что *мрачно блуждать* среди масокъ — довольно странно и бесполезно; но

(*) Подъ картикой подписано первое четверостишіе изъ известной піесы Губера:

Тяжело, не стало силы,
Ноетъ грудь моя!...
Злое горе до могилы
Доташу-ли я?

тѣль не менѣе это характеризуетъ Губера. Мы еще яснѣ представимъ себѣ его, если прочтемъ слѣдующія сроки, въ которыхъ подъ формой заказнаго фельетона проглядываютъ задушевныя мысли автора.

„Въ маскарадахъ (говорить онъ) было душно и тѣсно, „какъ слѣдуетъ; маски пищали, дурачились, интриговали, однѣ для удовольствія, другія изъ ревности. Мало „ли колкихъ словъ у женщины, которая воображаетъ „что ее не узнаютъ? Она смѣлѣе слѣдуетъ влече- „ніемъ души; тутъ одинъ только шагъ отъ намека „до признанія. Но горе тому, кто не пойметъ этого „намека, кто не воспользуется случаемъ; недогадливый „левъ, или робкій юноша, который только изъ скром- „ности не догадывается. навсегда произнесутъ надъ „собою приговоръ. Горе тому, кто не умѣеть понимать, „кто не внимателенъ или тугъ на ухо, кто пришелъ „на свиданіе и пропустилъ его изъ разсѣянности. „Маски смыняются масками, на минуту касаясь его „руки или брасая ему бѣглое, двусмысленное слово; „онъ ждетъ одной и не замѣчаетъ другихъ, а между „ними неузнанная, оскорблennая, непонятая, была, мо- „жетъ быть, и она: а недогадливый герой въ разсѣян- „ности не замѣтилъ ея приближенія, не умѣльт раз- „гадать подъ уродливымъ домино этой гибкой воз- „душной талии, не умѣльт отличить въ двусмысленномъ „намекѣ, въ неконченной фразѣ этого живаго, блес- „тящаго, оригинальнаго ума. Горе ему! онъ родился „въ дурную минуту, онъ пришелъ невпопадъ. онъ „рыцарь неудачи и его романъ останется навсегда „безъ развязки. . . .

„А сколько мѣста въ маскарадахъ для женскаго
мощенія, для колкихъ сплетней, для ядовитой кле-
веты! Среди этого пестраго волненія, среди этой
легкой, беззаботной болтовни, можетъ быть, разыгры-
вается тайная, печальная драма, можетъ быть разди-
рается чистое имя и бѣдная, невинная женщина дѣ-
лается ходячей сказкой праздной толпы“....

Фантазія Губера рисуетъ себѣ цѣлый романъ, въ
которомъ страдаетъ женщина, легкомыслено отдав-
шаяся увлеченію. Сплетня неумолимо преслѣдуєтъ ее
и разрастается до громадныхъ размѣровъ на ничто-
номъ основаніи.

„Никто и не спросить, продолжаетъ Губеръ, такъ
„ли все было, или иѣть; была ли эта бѣдная жен-
щина въ маскарадѣ или провела она эту ночь одна,
„больная и грустная, въ своихъ четырехъ стѣнахъ,
„можетъ быть, въ жаркой молитвѣ передъ образомъ
„Спасителя, или въ печальныхъ воспоминаніяхъ о мнo-
„гихъ несбыточныхъ мечтахъ. Можетъ быть, все это
„объяснится со временемъ, но тогда сплетни уже
„исполнили свое назначеніе, обошли обычной дорогой
„тотъ огромный кругъ, который всегда принимаетъ
„такъ отрадно всѣ праздныя выдумки досужнаго во-
„ображенія. Эта женщина можетъ быть и останется
„въ глазахъ свѣта тѣмъ, чѣмъ она была, но имя ей
„на иѣсколько дней служило забавой лѣниваго обще-
„ства и его бездушной, безотчетной болтовни: ипчтож-
„ная выдумка, испещренная и увеличенная, заняла на
„часъ бездѣйственную скучу равнодушнаго свѣта....“ (*)

(*) См. Пет. Вѣд. 1847 г. № 31.

Читая эти строки, вамъ такъ и кажется, что вы видите передъ собой неуклюжую фигуру Губера съ опущенной внизъ головой, надъ которой отъ роду не трудилась рука ни одного изъ французскихъ патрикмахеровъ, передъ вами проницательный, мрачный взглядъ, передъ вами весь онъ, мечтающій чудакъ, умный поэтъ; его суда вы боитесь, потому что онъ навѣрное коснется до самыхъ чувствительныхъ ранъ вашихъ, потому что судья вашъ (вы видите это по умному выражению его лица)—не пустой фразеръ, не пошлый вздыхатель, блуждающій въ заоблачномъ мірѣ, какъ ни кажется онъ такимъ съ виду для близорукихъ.

Въ 1840-мъ-же году Губеръ сдѣлался сотрудникомъ по редакціи Бібліотеки для Чтенія; ему былъ порученъ отдѣль критики и рецензій. Трудовъ было много; въ началѣ 1840 г. онъ писалъ о нихъ отцу своему слѣдующее:

„Я провелъ праздники съ первомъ въ рукахъ за „письменнымъ столомъ, потому что я какъ-разъ въ „это время принялъ на себя труды по редакціи Би- „бліотеки для Чтенія. Жалованья получаю я до 6000 „руб.; за статьи же мои особо по 200 р. за печат- „ный листъ. Вы можете видѣть изъ этого, что съ „прилежаніемъ я скоро могу достичь моей цѣли, „хотя природа и не одарила меня бережливостью. „Но я принялъ мѣры противъ этого природнаго не- „достатка. Работа моя тяжелая, требуетъ безпрерыв- „наго напряженія, но я надѣюсь пріучиться къ ней: „у меня нѣтъ недостатка въ терпѣнїи и твердой

„волжъ.... Тepерь я такъ занятъ, что не могу отлучиться изъ Петербурга на 24 часа.... Сколько я „долженъ напрасно перечитать глупѣйшихъ статей, „присылаемыхъ въ редакцію непризнанными сынами „музъ! Сколько личныхъ просьбъ и письменныхъ іереміадъ получаю я! Я нахожусь отъ этого иногда въ „такомъ трагико-комическомъ положеніи, что меня „беретъ и смѣхъ, и досада въ одно и тоже время. „Я не имѣю вовсе время ни заняться моей поэзіей, „даже окончить начатыя піесы. Но все-таки мое „редакторство меня радуетъ, потому что даетъ вѣрхъ „доходъ и приближаетъ возможность путешествія „заграницу.“

Между тѣмъ организмъ его начиналъ слабѣть; ранняя, чрезмѣрныя труды разстроили его такъ, что въ 1842 году онъ на лѣто долженъ былъѣхать въ деревню орловской губерніи къ своимъ знакомымъ К., для поправленія своего здоровья. Здѣсь онъ отдохнулъ отъ трудовъ, проводя время беззаботно и весело у К. и у сосѣднихъ помѣщиковъ. „Живо вспоминаю „я—говорить онъ въ письмѣ къ одному изъ нихъ, Г. А. „Плещееву, — веселое время, проведенное въ вашемъ „кругу и съ удивленіемъ спрашиваю себя, отъ чего „же я тамъ не зналъ ни горя, ни хандры, отъ которыхъ „здѣсь въ Петербургѣ для меня нѣть спасенія!“ Болѣзнь усилила въ Губернѣ мрачность духа, подняла въ немъ желчь и узаконила въ немъ его безпечность и странность манеръ. А талантъ мужалъ, росъ, требованія увеличивались, грустное сознаніе собственного безсилія волновало, труды и скучныя работы доса-

ждали бѣдному поэту. Съ тѣхъ поръ онъ нерѣдко впадалъ съ лѣнивую апатію, отъ которой порой пробуждала его вдохновенная мысль, выливавшаяся свободно и непринужденно въ стройные стихи, записываемые имъ на чёмъ попало и гдѣ случалось. Оттого вѣроятно, множество стихотвореній его пропало для насъ безвозвратно; записанныя на клочкахъ бумаги такъ, что иной стихъ переходилъ съ одного клочка на другой, случайно возлѣ лежавшій, — произведенія Губера забывались и исчезали, если кто-нибудь не подбиралъ и не пряталъ ихъ. Случалось, что ему послѣ читали его собственные стихотворенія; онъ слушалъ, похваливалъ и не подозрѣвалъ, что онъ ихъ авторъ.

Въ это время около Губера образовалась группа молодежи, на которую онъ безъ всякихъ стараній оказывалъ сильное вліяніе. Въ этой семье онъ пользовался нравственнымъ авторитетомъ; она состояла изъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ высшему столичному кругу; здѣсь былъ графъ Н. А. Апраксинъ, князь Д. П. Салтыковъ, графъ А. С. Уваровъ, М. Н. Лонгиновъ, изъ статьи которого мы заимствуемъ по этому поводу слѣдующія строки: „Свѣтлый умъ, „жизненная опытность, пленительная простота въ обращеніи, обширныя познанія, младенческая, такъ-сказать, ясность души, снисходительность къ другимъ и строгость къ самому собѣ — все это имѣло какое-то обаятельное вліяніе на окружавшихъ его. „Не хорошо было тому изъ насъ, кто заслужилъ скромное, иногда даже безмолвное признаніе

,,Губера: на этотъ неподкупный судъ не было апелляцій“ (*).

Изъ литературныхъ знакомствъ Губера мы можемъ указать на Н. В. Кукольника и затѣмъ на то общество, которое онъ могъ встрѣчать у него. Собственно говоря, онъ ни съ кѣмъ изъ литераторовъ (кромѣ Н. В. Кукольника и впослѣдствіе графа Соллогуба) не былъ близокъ въ это время, но всѣхъ ихъ встречалъ, конечно, на 'вечерахъ К. П. Брюлова и графа Ф. П. Толстаго, съ семействомъ котораго былъ уже давно очень друженъ. Около 1840 г. Губеръ сблизился съ домомъ П. Н. Всеволожской, куда являлся почти каждый день къ обѣду.

Не смотря на всю странность и угловатость манеръ покойнаго поэта, его радушно принимали въ свѣтское общество, его дружбой дорожили, его нравственному вліянію подчинялись: „Губеръ много содѣствовалъ, „говорить М. Н. Лонгиновъ:—тому, что въ иѣкоторыхъ „гостиныхъ заговорили, хоть отчасти, по-русски.“ (**). Онъ вообще сильно нападалъ на наше пристрастіе къ французскому языку и разъ цѣлую половину фельетона посвятилъ разсужденіямъ обѣ этой страсти. „Болтать мы не умѣемъ, говоритъ онъ въ своей Петербургской Лѣтописи, болтать мы именно до сихъ поръ „и не умѣемъ. Говорить по-русски еще можно, но „болтать нельзя. У насъ есть такие русскіе говоруны, „которые о самыхъ важныхъ матеріяхъ будуть раз-

(*) См. Москов. Вѣд. 1857 г. № 136.

(**) Тамъ же.

,,суждать съ вами цѣлый битый часъ, которые заки-
,,даются васъ словами, и заговорятъ до смерти, но
,,болтуновъ у насъ нѣтъ; русская болтовня не су-
,,ществуетъ.

,,Мы можемъ говорить о литературѣ, о живописи,
,,о поэзіи и,—съ грѣхомъ пополамъ, даже о философіи;
,,мы можемъ говорить объ этихъ предметахъ дѣльно,
,,хорошо и основательно; мы даже большею частью
,,говоримъ пустяки, но мило и умно говорить о пу-
,,стякахъ мы рѣшительно еще не умѣемъ. У насъ
,,нѣть русскаго, свѣтскаго разговора, у насъ нѣть
,,этой легкой, живой и блестательной болтовни, ко-
,,торая осталась неотъемлемымъ достояніемъ фран-
,,цузовъ, которая, какъ фейерверкъ, разсыпается ис-
,,крами; шумить, блестить и теряется, не оставляя
,,слѣда. Русская шутка тяжела, русскій каламбуръ
,,отзывается топорной работой; русскимъ комплимен-
,,томъ можно стѣну пробить.

,,Я еще никогда не объяснялся въ любви, все не-
,,когда было, но признаюсь, не знаю, какъ бы я это
,,сдѣлалъ по-русски. Я васъ люблю, я васъ любилъ,
,,—все это можетъ быть очень хорошо въ стихахъ,
,,все это очень выразительно, а главное просто на
,,самомъ дѣлѣ. Но попробуйте продолжать дальше.
,,Я васъ люблю — этого не довольно; съ этого нельзѧ
,,начинать. Позолотите сперва эту пилюлю, обложите
,,ее бархатными фразами, которая, въ случаѣ неудачи,
,,дали бы вамъ возможность отступить благороднымъ
,,образомъ назадъ или вывернуться ловкимъ оборотомъ
,,изъ самаго драматического объясненія. Попробуйте вы,

„признанные побѣдители неприступныхъ красавицъ,
„великолѣпные львы, искушившіеся въ наукѣ нѣж-
„наго Назона, употребите въ дѣло русскій языкъ при
„первомъ будущемъ признаніи и разскажите намъ,
„по дружбѣ, о послѣствіяхъ!

„Но отъ чего-же до сихъ поръ не объясняются
„въ любви по-русски, особенно въ Петербургѣ, гдѣ
„въ этихъ объясненіяхъ нѣтъ недостатка, гдѣ нѣкото-
„рые предаются этому невинному занятію отъ *нечею*
„*дѣлать*, а другіе по старой привычкѣ? На это есть
„очень простая и ясная причина: мы не умѣемъ гово-
„рить о пустякахъ, не умѣемъ болтать; а любовь и
„всѣ объясненія въ любви принадлежать къ болтовнѣ.
„Всѣ нѣжности, клитвы, увѣренія, въ наше время бол-
„товня: всѣ подвиги, о которыхъ мы такъ великолѣпно
„разсказываемъ — болтовня; вся наша ревность, гнѣвъ
„и угрозы — болтовня, которая ничего не стоитъ и
„ничего не значитъ. А этой болтовни у насъ до сихъ
„поръ недостаетъ; ее создаютъ женщины, а не ли-
„тераторы; только женщина умѣеть говорить мило,
„живо и умно о тѣхъ безчисленныхъ мелочахъ и
„бездѣлицахъ, изъ которыхъ составляется вся наша
„бѣдная жизнь съ своими маскарадами, чувствами и
„миниатюрными страстями. Пока русскія женщины не
„захотятъ говорить по-русски, нашъ разговоръ будетъ
„тяжелъ и неповоротливъ, наши полновѣсныя любез-
„ности опрокинуть это легкое, воздушное созданіе,
„которое мы одолжимъ такимъ незавиднымъ подаркомъ.

„Но когда же они будутъ говорить по-русски!
„развѣ великимъ постомъ? Это самое удобное время,

„въ которое можно употребить русскій языкъ, какъ „средство для развлеченія, какъ живые картины или „домашніе спектакли. Баловъ нѣтъ; на раутахъ скуч-„но; длинные вечера проходятъ тихо и вяло, особенно „для тѣхъ, которые не умѣли запастись къ этому „времени маленькимъ чувствомъ или крошечной ин-„тригой. Имъ хорошо; у нихъ есть прекрасное занятіе; „они обезпечили себя на цѣлый постъ. А остальные? „Хоть бы они говорили по-русски, на благо литературы и языку, которой такъ и просится въ разго-„воръ“. (*)

Вѣроятно, подобныя же мысли высказывалъ нашъ поэтъ и въ тѣхъ салонахъ, о которыхъ упоминаетъ М. Н. Лонгиновъ.

Въ 1845 г. Губеръ издалъ небольшой сборникъ своихъ стихотвореній. Мы позволяемъ себѣ приписать обычной беззаботности автора пропускъ многихъ прекрасныхъ пьесъ, написанныхъ или даже напечатанныхъ имъ до того времени. Во всякомъ случаѣ однако въ этомъ сборнике мы видимъ болѣе зрѣлаго поэта, чѣмъ въ томъ, который онъ приготовлялъ къ печати въ 1835 г., но вмѣстѣ съ тѣмъ видимъ, что главный характеръ и сущность его поэзіи нисколько не измѣнились. И здѣсь семейное начало ставится Губеромъ выше всего, и здѣсь стремленіе къ истинѣ, несмотря на всю горечь ея, и здѣсь сомнѣнія, наводимыя разумомъ на вѣрованія сердца; но за то здѣсь уже дано великое право поэту быть бичемъ преступ-

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. № 37.

лениа подъ вліяніемъ божественнаго вдохновенія, быть учителемъ толпы, палачомъ ея грѣховъ, здѣсь уже презрѣніе къ пустымъ бреднямъ, къ безполезнымъ слезамъ, здѣсь потребность и величіе борьбы, ненависть къ апатіи, которая по его мнѣнію хуже грѣха, здѣсь наконецъ онъ признаетъ различіе любви отъ страсти, признаетъ, что и у него есть идеалъ женщины, вдохновляющей его, что только несоответствіе дѣйствительности съ этимъ идеаломъ заставляетъ его охуждать женщину; далѣе мы видимъ даже, что Губеръ позволяетъ себѣ оправдывать паденіе женщины, признаетъ возможность честнаго и искренняго разрыва. Наконецъ онъ говоритъ, что недовольство самимъ собой и окружающимъ есть истинная и законная основа его поэзіи. Такъ, онъ говоритъ своему генію:

Отдай мнѣ горести мои!
И я проснусь для пѣсни новой,
Неукротимой и суровой,
Какъ вдохновенія твои (*)!

Въ этой книжкѣ Губеръ является намъ поэтомъ исключительно субъективнымъ и недостатокъ его таланта—отсутствіе рѣзкихъ и сильныхъ образовъ, однобразіе тона обращаетъ на себя вниманіе читателя, который, несмотря на то, сочувствуетъ его плачу и страданіямъ. За это современная критика почти единодушно признала, что у Губера есть умъ, чувство

(*) См. Т.І. стр. 80.

и образованность, но мало поэтического таланта. „Въ „его стихотвореніяхъ, говоритьъ Бѣлинскій въ Отчеч- „ственныхъ Запискахъ (1845 г. № 6):— мы увидѣли „хорошій обработанный стихъ, много чувства, еще „болѣе неподдѣльной грусти и меланхоліи, умъ и „образованность, но, признаемся, очень мало замѣтили „поэтического таланта, чтобы не сказать—совсѣмъ не „замѣтили его. Вездѣ сердце, которое чувствуетъ, „вездѣ умъ, который не столько мыслитъ, сколько „рефлектируетъ, т. е. разсуждаетъ о собственныхъ „чувствахъ и собственныхъ мысляхъ,—и нигдѣ фан- „тазія, которая творить! Субъективности, какъ выра- „женія сильной личности, которая на все кладетъ „свой отпечатокъ и все перерабатываетъ своею са- „модѣятельностью, нѣть и слѣдовъ и признаковъ въ „стихотвореніяхъ г. Губера.... У него—скорѣе опоэ- „тизированный эгоизмъ“.

Можеть быть мы и согласились бы съ этимъ, во всякомъ случаѣ рѣзкимъ мнѣніемъ, еслибы судили о Губерѣ только по тѣмъ стихотвореніямъ, которыя напечатаны въ 1845 г., въ его книжкѣ; мы,—вообще недовѣрчивые къ своему собственному вкусу,—приписали бы то, что намъ нравятся стихи Губера—лож- ному, магическому вліянію на нась пышнаго и звуч- наго стиха. Но передъ нами теперь цѣлый томъ сти- хотвореній и поэмъ; мы видимъ, что у Губера была творческая фантазія, которая руководила его лири- ческими произведеніями; мы встрѣтимъ оправданіе на- шему вкусу и во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ, и въ поемахъ и, наконецъ, въ переводѣ Фауста. Дос-

стоинство стиховъ Губера заключается, по нашему мнѣнію, въ той непосредственной искренности чувствъ, выраженной свободно и звучно, въ той душевной теплотѣ, увлекательность которой обуславливается только талантомъ автора. О. И. Сенковскій въ своей рецензіи на стихи Губера (Б. д. Ч. 1845 г. № 6) говоритъ:

„Пушкинъ, который былъ друженъ съ Эдуардомъ „Ивановичемъ Губеромъ, оставилъ въ торопахъ эту „юдоль горя, забылъ у него свой звучный стихъ. „Пушкинскій стихъ остался у Эдуарда Ивановича; онъ „одинъ—наслѣдникъ и владѣтель этой драгоцѣнности, „и съ такимъ кладомъ, я, на его мѣстѣ, былъ-бы „совершенно доволенъ собою, вами, всѣмъ; все для „меня облеклось-бы розовымъ цвѣтомъ; все бы мнѣ „улыбалось, и я-бы улыбался всему и обо всемъ съ „утра до вечера, особенно, еслибы у меня еще было „столько-же ума, какъ у Эдуарда Ивановича. А Эду- „ардъ Ивановичъ не доволенъ всѣмъ, начиная съ са- „маго себя!... Это, можетъ быть оттого, что у него „столько ума! Такъ къ чорту умъ! Къ чему онъ го- „дится, когда съ нимъ все кажется мрачнымъ и пе- „чальнымъ? Конечно, умъ дѣло—не дурное, въ иѣко- „торыхъ случаяхъ. Благодаря ему, Эдуардъ Ивановичъ „никогда не писалъ стиховъ ни къ лунѣ, ни къ дѣ- „вѣ, ни къ мечтѣ: по крайней мѣрѣ не напечаталъ „ихъ въ этой книгѣ. Да что проку, когда у него „вѣчно вздохъ въ груди, слеза на глазахъ, тоска „въ душѣ, скуча среди этого безконечно-забавнаго „свѣта, на который между-тѣмъ смотрить онъ, какъ „на своего преслѣдователя....“

Въ Москвитянинѣ нѣкто А. Студитскій отозвался такъ о книжкѣ Губера: „Она замѣчательна потому, „что доказываетъ, что мало для поэта теплой души, „мало звучнаго стиха, потребна еще энергія мысли, „а главное—положительныя убѣжденія. Иначе поэзія „будетъ плачемъ“. (Москв. 1846 г. № 1. Обозр. Русск. Слов. стр. 259).

Изъ этого видно, что критика вообще не благоволила къ нашему поэту, отдавая впрочемъ справедливость его уму и чувству. Взглядъ Бѣлинскаго, разумѣется, ближе всего подходитъ къ истинѣ; мы не согласны только отказать Губеру *вовсе* въ талантѣ и полагаемъ, что онъ до нѣкоторой степени обладалъ имъ при необыкновенной *поэтической натурѣ*, которая получила ложное развитіе и не выработала себѣ достойныхъ формъ. Рутинные пріемы мѣшали свободѣ его мыслей и Губеръ, часто тоскуя отъ причинъ общественно-важныхъ, сваливалъ грѣхъ на какую-нибудь красавицу, называлъ себя плаксивымъ именемъ сироты и т. д. Мы думаемъ такъ на томъ основаніи, что нѣкоторые нерутинные выраженія изобличаютъ въ его стихахъ эту затаенную мысль, а въ искренности его чувствъ не сомнѣвался даже и Бѣлинскій.

Въ 1845 же году Губеръ написалъ поэму: *Прометей*, которую мы, къ сожалѣнію, по независѣвшимъ отъ насъ обстоятельствамъ, не напечатали въ нашемъ изданіи. Эта поэма — лучшее произведеніе по формѣ и содержанію, которое основано на извѣстномъ греческомъ миѳѣ. Есть въ ней стихи, поражающіе своей внутренней силой и энергией образа.

Въ тетрадяхъ Губера мы нашли только одно юмористическое стихотворение, если не считать акrostиха, попавшагося намъ въ письмѣ его къ Г. Я. Тихменеву (см. 253 стр. биографіи). Это—нѣчто въ родѣ эпиграммы на славянофиловъ.

Вотъ отрывки изъ нея:

Въ мукахъ ада утопаючи,
Непокоренъ старой вѣрѣ,
Я молюсь, въ слезахъ рыдаючи:
Miserere! miserere!

Miserere! наща родина
Погибаетъ отъ нечади,
Отъ профессора.....
И ему подобной швали.

Ниспосли Богъ хоть С.....
Наказаніе по силамъ,
.....
И другимъ словянофиламъ.

Дай ты имъ кафтанъ и бороду,
Это будетъ имъ по нраву,
Да пошли ты ихъ по городу,
Хоть мальчишкамъ на забаву.

Miserere! Племя Рюриковъ
Вновь возстать изъ гроба хочетъ,
Отставной поручикъ Ц.....
О молебствіи хлопочетъ.

Хоть-бы слился онъ съ послѣдними
Сербороcскими бойцами,
Не подниметъ онъ обѣднями
Вѣка, прожитаго нами.

Дай Кузьму намъ и Пожарского
Противъ этихъ самозванцевъ,
Противъ рыцарства боярского
И славянскихъ иностранцевъ.

Miserere! Боже! родины
Будь преградой беззаконію,
Да погибнутъ всѣ.....
Вмѣстѣ съ ихъ славянской вонію.

Мы не знаемъ повода, по которому написано это стихотвореніе.

Въ прозѣ Губеръ писалъ сравнительно мало и то по большой части по заказу. Критическая статья его, напечатанная нами въ III-мъ томѣ не отличаются ни особынной глубиной взгляда, ни тѣми необходимыми для критика приемами, которыхъ и требовать нельзя отъ поэта по-преимуществу. Несомнѣнныя достоинства впрочемъ заключаются въ этихъ статьяхъ: это—энергія мысли и логичность анализа. Можетъ быть, въ Библиотекѣ для Чтенія въ отдѣлахъ Смѣси и Литерат. Лѣт. находится еще много статей, принадлежащихъ также перу Губера, который пользовался большимъ довѣріемъ Сенковского и работалъ для него очень много, по свидѣтельству тогдашнихъ сотрудниковъ

журнала; но эти статьи, какъ напр. разборы сочинений Е. Баратынского, Фонъ Визина и др. никѣмъ не подписаны и мы не можемъ ни одну изъ нихъ съ достовѣрностью приписать Губеру. Передъ концомъ жизни своей, Губеръ очень удачно писалъ фельетоны (всего 11) для Петербургскихъ Вѣдомостей; мы не перепечатываемъ ихъ въ числѣ сочинений поэта, какъ призведенія слишкомъ-временнаго, минутнаго интереса, но пользуемся ими въ нашей біографіи тѣмъ болѣе, что поэтъ, по-видимому, не могъ отрываться отъ себя и на столбцахъ газеты высказывалъ часто свои задушевные помыслы съ тою-же теплотою чувствъ, которая всегда отличала его.

Съ 1845 г. здоровье Губера начинало замѣтно слабѣть. Безпорядочная жизнь и тягость новыхъ свѣтскихъ знакомствъ, которыя онъ пріобрѣлъ въ это время, изнуряли его. Тогда, къ петербургскому дамскому обществу прививалась та исковерканная эманципація, которая пародировала разумныя требованія вѣка и рѣзко оттѣнила своихъ поборницъ отъ круга жеманыхъ и чопорныхъ салоновъ. Исключая друзей своихъ, Губеръ не находилъ середины, и отъ ненавистной ему чопорности бѣжалъ въ общество женщинъ, которыхъ изящная, богатая обстановка и внѣшняя не-принужденность примиряла глазъ съ ихъ внутренними недостатками.

Поэтъ давалъ большое значеніе женщинѣ, въ ней любилъ онъ все прекрасное и не прощалъ ея недостатковъ. Любящей душѣ Губера ненавистна была великосвѣтская пустота и грубая апатія нашихъ дамъ.

Какъ возмущало его и то и другое, какъ онъ смотрѣлъ на нашу женщину и на общество, чего искалъ и что находилъ въ немъ, узнаемъ изъ слѣдующаго отрывка изъ его фельетона:

„Какъ объяснить, (говорить онъ) не обижая нашего „самолюбія, недостатокъ нашего умственнаго движенія, „нищету нашихъ разговоровъ? Правда, мы живемъ такъ „тихо и скромно; въ нашей вѣлкой жизни нѣтъ быст- „рыхъ перемѣнъ, нѣтъ внутреннихъ волненій; наши „мелкія страсти холодны, какъ наша погода и тума- „ны, какъ наше сѣреое небо. Но между тѣмъ судьба „создала нась по своей обыкновенной выкройкѣ, да- „ла намъ туже умственную организацію, тоже серд- „це и тѣ же желанія; и въ нась иногда проявляется „что-то похожее на чувство, и мы иногда горячимся, „можеть быть, не впопадъ и не кстати, но всѣ эти „явленія нашей умственной жизни пропадаютъ безъ „всякаго слѣда, даже безъ всякаго вліянія на нашу „лѣнивую, безцвѣтную бесѣду. Холодное приличie об- „щественныхъ отношеній и недостатокъ взаимнаго до- „вѣрія уничтожаютъ свободную передачу мысли, кото- „рая у нась высказывается только шепотомъ и при „младенческой невинности переходитъ изъ устъ въ „уста подъ фирмой запрещеннаго товара.

„При этихъ грустныхъ условіяхъ нашей общест- „венной бесѣды, многіе огородили себя отъ печаль- „ной необходимости говорить о погодѣ, домашними „средствами: они сплетничаютъ. И вотъ наше едино- „ственное спасеніе, неистощимые рудники нашихъ бе- „сѣдъ. Когда вы увидите нѣсколько хорошенъкихъ

„женщинъ и нѣсколько порядочныхъ молодыхъ людей,
„когда вы услышите, что всѣ они принимаютъ равное
„участіе въ общемъ, оживленномъ разговорѣ, который
„ни на минуту не прерывается, не удивляйтесь этому
„странныму явленію: между ними совершается судъ и
„расправа надъ отсутствующимъ другомъ, между ни-
„ми раздирается чистое имя и свѣтское злословіе на-
„брасываетъ пестрые узоры на безконечную ткань не-
„утомимаго воображенія. И этотъ запасъ не скоро исто-
„щается; этотъ разговоръ съ новыми силами возоб-
„новляется каждый вечеръ.

„Но вы наконецъ вполнѣ насладились удовольст-
„віемъ одолжить отсутствующаго пріятеля разными
„живописными, выдумками; ваше мелкое общество
„случайнымъ образомъ разсаживается по четамъ, —
„чemu въ особенности способствуетъ нынѣшнее раз-
„мѣщеніе мебели, — и между этими четами завязы-
„ваются отдельные разговоры, съ значительнымъ по-
„ниженіемъ голоса. Не правда-ли, въ этой задушев-
„ной бесѣдѣ и умъ, и сердце принимаютъ равное уча-
„стіе? Тутъ разговоръ не остановится; мысли и чув-
„ства быстро смѣняются и бѣглое слово едва успѣ-
„ваетъ за ними. Но иѣть, я плохо вѣрю этимъ увлѣ-
„ченіямъ, плохо вѣрю этой горячей, занимательной
„бесѣдѣ, потому что и тутъ иногда, кажется, на са-
„момъ драматическомъ мѣстѣ, до меня долетало убий-
„ственное извѣщеніе о состояніи погоды. Я давно смо-
„трю за этой красавицей, которая такъ мило кокет-
„ничаетъ и недосказаннымъ словомъ, и бѣглыемъ, об-
„ворожительнымъ взглядомъ. Ей очень скучно; но она

„дурачится по привычкѣ или потому, что такъ дѣла-
„ютъ другія; сердце ея не принимаетъ никакого уча-
„стія въ этой женской операциі. Надобно же что
„нибудь дѣлать, — и вотъ она кокетничаетъ съ кѣмъ-
„бы то не было до новой встрѣчи, до другаго вечера.
„А этотъ юноша, который разсыпается передъ ней
„разными заученными фразами пзъ послѣдняго романа
„Дюма, этотъ юноша любезничаетъ для того только,
„чтобы потомъ обѣ этомъ поговорили, при чемъ онъ
„всегда принимаетъ важный таинственный видъ, съ
„благороднымъ увлеченіемъ отказывается отъ всякихъ
„намековъ и толкованій, или робко конфузится, судя
„по характеру и по методѣ, которой онъ привыкъ
„следовать въ подобномъ положеніи.

„Вы сами, можетъ быть, по случаю или по соб-
„ственному желанію, при этомъ случайному размѣще-
„ніи по четамъ, нашли мѣсто подлѣ умной, милой,
„обворожительной женщины. Вы просидѣли цѣлый
„вечеръ на этомъ мѣстѣ, вы бы не уступили его ни-
„кому, потому что вамъ весело говорить съ этой
„женщиной; вашъ разговоръ дѣйствительно не оста-
„навливался, не прерывался, не хромалъ; безпрерыв-
„ное столкновеніе съ живымъ и симпатическимъ умомъ,
„разшевелило и ваше лѣнивое воображеніе, и вы пре-
„дались этому умственному очарованію, отвели душу
„въ этой живой, открытой, разнообразной бесѣдѣ. Вы
„очень довольны, очень спокойны и уѣзжаете домой
„въ самомъ пріятномъ расположеніи духа. Но я васъ
„поздравляю: вы влюблены, до безумія влюблены въ
„этую женщину, и если вы какой-нибудь замѣтный че-

„човѣкъ, вы непремѣнно сдѣлаетесь предметомъ од-
„ного изъ этихъ общихъ разговоровъ, которые пи-
„таются дружескимъ изображеніемъ отсутствующихъ
„пріятелей. Вы влюблены: это рѣшено и известно;
„объ этомъ всѣ знаютъ, кромѣ васъ; но васъ не
„спрашиваютъ, до васъ это дѣло не касается. Вы
„влюблены, — это рѣшено и подписано; охота же
„вамъ спорить; вы никогда не разувѣрите; и что
„за бѣда, если вы влюблены? Это ваша же чистая
„выгода; съ этихъ поръ вы сдѣлались гораздо
„интереснѣе; о васъ говорять; про васъ сплетнича-
„ють; вы, право, очень милый человѣкъ. Но вамъ
„рѣшительно не хочется допустить этого предполо-
„женія, вы начинаете противорѣчить. Берегитесь, это
„вамъ не поможетъ; васъ даже будутъ хвалить за то,
„что вы умѣете владѣть своими чувствами. Вы скры-
„ваетесь, потому что это взаимная любовь, это не пус-
„тая свѣтская интрига, которая продолжается нѣсколько
„дней; вы благородный человѣкъ и не хотите произ-
„носить дорогое имѣніе той, которою изъ за вашего-
„же молчанія раздираютъ съ самыми дружескими на-
„слажденіемъ. Помните ли вы тотъ вечеръ, когда вы
„такъ мило и умно бесѣдовали съ этой умной, оча-
„ровательной женщиной, когда вы такъ радовались,
„находя въ ея пламенному сердцѣ, въ ея живомъ умѣ
„отголосокъ на всѣ ваши чувства и мысли? Вы тог-
„да очень просто наслаждались этимъ яркимъ, блис-
„тательнымъ, свободнымъ разговоромъ, вы не думали
„о любви; но другие, которые были вмѣстѣ съ вами и,
„кажется, занимались съ большимъ усердіемъ собствен-

,ными, сердечными дѣлами, думали за васъ, вывели „изъ вашего разговора свои заключенія, передѣлали „его по-своему, приклепли очень милое, умное объясненіе въ любви и пустили его по городу съ самыми „лестными похвалами, съ притворнымъ одобреніемъ „вашего краснорѣчія....“ (*)

,Сила поэта истощена (говорить Губеръ въ другомъ „мѣстѣ), онъ не можетъ бороться больше, желѣзная „воля уходила въ этой вѣчной, мучительной тревогѣ; „любовь его оставила, счастіе для него невозможно; „эта женщина, которая должна была замѣнить ему „всѣ радости жизни, воспламенить и возвысить его „тайныя вдохновенія, не оцѣнила его могучей души, „не поняла его высокой и безпредѣльной любви. От- „чаяніе, невыразимое, глубокое отчаяніе закралось въ „сердце поэта: — онъ ищетъ смерти, но судьба еще „не назначила ему умереть. Страшный, томительный „бредъ овладѣлъ его воображеніемъ.... Вотъ она, эта „женщина, передъ которой онъ дрожалъ въ напрас- „ныхъ усилияхъ выплакать у ногъ ея свою непонятую „душу; тревожные мысли давять больную голову, рука „въ судорожномъ движеніи схватилась за оружіе — и „блѣдный убийца съ окровавленнымъ ножомъ стоитъ „надъ трупомъ обожаемой женщины!...“ (**).

Эта томительная, общественная скука знакомая и намъ, тяжко ложилась на душу поэта. Нельзя не со-

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. № 43.

(**) См. Пет. Вѣд. 1847 г. № 61.

чувствовать нѣкоторымъ изъ фельетоновъ его, гдѣ онъ очень рельефно передаетъ всю силу этой безъисходной тоски.

„Еще недѣля прошла безъ малѣйшаго произшествія, безъ всякаго движенія, скучная, длинная, безъ конечнаго; прошла — и слава Богу! Въ нашей жизни рѣшительно нѣтъ никакого разнообразія, мы такъ умѣемъ скучать, какъ ни одинъ народъ въ мірѣ; мы учились этому искусству отъ самыхъ юныхъ лѣтъ, мы не знали бы, что дѣтать — безъ скуки. Разговора у насъ нѣтъ; не будь эениръ, гимнастика, Лежаръ и сплетни — мы промолчали бы благополучно всю эту недѣлю. Отдадимъ себѣ справедливость: мы удивительно хороши во время великаго поста; есть что-то драматическое въ нашей скучѣ и въ томъ ходномъ безстрастіи, съ какимъ мы переносимъ на своихъ могучихъ плечахъ это тяжелое бремя; не услышишь ни одного проклятія, не увидишь ни малѣйшаго знака нетерпѣнія. Какая страшная сила, какое удивительное самоотверженіе! Все тихо и чинно, какъ эта чинная скука, которая сидитъ подъ насъ.

„Вы пріѣхали на вечеръ; передъ вами двадцать человѣкъ, которые молчатъ на двадцать различныхъ манеровъ, и въ этой манерѣ у каждого свой самостоятельный характеръ, своя собственная физіогномія: одинъ молчитъ глубокомысленно и важно, другой и беззаботно и весело, третій съ выраженіемъ поэтической грусти, четвертый съ притязаніемъ на колкое остроуміе. Но главное дѣло въ томъ, что все мол-

,,чать, на лицахъ сурое отчаяніе; у иного просту-
,,паетъ холодный потъ отъ умственнаго напряженія
,,отъ напраснаго усиля прервать эту безотрадную
,,тишину. Каждое слово принимаютъ съ благородностю,
,,на каждой фразѣ основываютъ несбыточную надежду,
,,что она оживитъ разговоръ, одушевитъ лѣнившую бе-
,,сѣду. Но это слово раздалось въ пустынѣ, эта
,,фраза не нашла отвѣта, и снова распространяется
,,глубокое безмолвіе и снова двадцать человѣкъ мол-
,,чальниковъ, съ длинными лицами, какъ преступники,
,,приговоренные къ смерти, высиживаютъ опредѣлен-
,,ный срокъ, въ ожиданіи палача или спасенія. Въ это
,,время вы входите и за вѣсль хватаются, какъ уто-
,,пающіе за соломенку. Вы свѣжій человѣкъ, вы только-
,,что пріѣхали съ улицы; тамъ было холодно, а те-
,,перь можетъ быть снѣгъ идетъ или таетъ; у насъ
,,погода, слава Богу, такая непостоянная; на ваше
,,счастіе въ февраль мѣсяцъ можетъ быть дождь по-
,,шелъ. Говорите-же скорѣе; вѣсль ждутъ; за вами
,,очередь; можетъ быть дорогой ваша карета опро-
,,кинулась и вы, милый человѣкъ, себѣ ногу повре-
,,дили на самомъ сгибѣ; можетъ быть, вы для спасе-
,,нія разговора, вчера понюхали эоиру и чуть не
,,умерли, а теперь пріѣхали раз рассказывать объ этомъ,
,,благородный, безподобный человѣкъ! Но иѣтъ, вы
,,точно также, какъ и всѣ остальные, ничего не дѣ-
,,лали, ничего не слыхали; у вѣсль даже иѣтъ ни од-
,,ногого порядочнаго пріятеля, съ которымъ бы случи-
,,лась какая-нибудь непріятность или маленькое не-
,,счастіе; вся наша родня здорова; сами вы плотно по-

,,Объдали, были у Эрнста въ концертѣ, а теперь яви-
,,лись отдохнуть отъ обѣда или отъ музыки.

,,Но вы благовѣспитанный человѣкъ и понимаете
,,свои обязанности въ отношеніи къ этому обществу,
,,знаете, что вамъ непремѣнно нужно внести свое
,,бѣдное даяніе въ эту лѣнивую и сонную бесѣду.
,,Васъ осыпали вопросами — и вы наконецъ начинаете
,,сплетничать. Но на это надобно большое искусство,
,,потому что тутъ вы ничего новаго не разскажете;
,,все, что вы только можете выдумать, къ крайнему
,,вашему удивленію, уже известно и выдумано дру-
,,гими. Вы приготовили можетъ быть цѣлую исто-
,,рію, которая существовала, кажется, только въ ва-
,,шемъ воображеніи, — а надѣя вами смѣются: ваша
,,исторія давно уже сдѣлалась ходячею сказкой; вы
,,горячитесь и спорите, вы отстаиваете ваше до-
,,стояніе — напрасно! вамъ нельзя разсказать, что
,,вы собственно выдумали эту исторію, что ее вовсе
,,и не было на дѣлѣ, потому что за такое откро-
,,венное признаніе вы, пожалуй, еще попадете и въ
,,сплетники.

,,На ваше счастіе, вы сегодня прочитали на нижнихъ
,,столбцахъ какой-то газеты нѣсколько бѣглыхъ словъ,
,,написанныхъ безъ всякаго притязанія, но вы, какъ
,,находчивый, изобрѣтательный человѣкъ, подложили
,,подъ эту незатѣйливую болтовню особенное тайное
,,назначеніе, ловкій намекъ или скрытую насмѣшку.
,,Гдѣ скромный и смиренный лѣтописецъ городскихъ
,,мелочей и человѣческой глупости, говорилъ о мело-
,,чахъ и о глупостяхъ вообще, безъ всякаго примѣ-

,,ненія, тамъ вы отыскиваете портреты и находите ,,,лица, тамъ вы называете имена, говорите утверждально, указываете на произшествія, тамъ вы угождаете вашей собственной страсти посплетничать, а ,,можеть быть даже мелочному и жалкому мщенію. ,,Что же дѣлать? это очень порядочный предмет для разговора; вы ловкій человѣкъ; вы дѣлаете свои ,,комментаріи и ни за что не отвѣчаете.

,,Страсть объяснять и перетолковывать самыя простыя замѣчанія, доказываетъ все однообразіе нашихъ ,,разговоровъ, всю нищету нашей общественной жизни. ,,Мы должны же говорить, во что бы то ни стало, ,,а говорить не о чёмъ. И вотъ мы выдумываемъ ,,и сплетничаемъ. Что бы мы дѣлали въ самомъ дѣлѣ, ,,въ теченіе цѣлой прошедшей недѣли, безъ этого ,,спасительного занятія? Ни одного развлеченія, ни ,,одного произшествія....“ (*)

Среди такой скуки, временнай потѣхой могли служить развѣ только тѣ забавныя личности хлыщей, множествомъ которыхъ изобилуетъ наше общество. Они бывають во всякомъ возрастѣ и на всякихъ ступеняхъ гражданской дѣятельности и, конечно, часто встрѣчались Губеру, возмущая его духъ своими мелочными выходками. ,,Вообразите себѣ длиннаго юношу, ,,говорить онъ въ своемъ фельетонѣ:—вообразите себѣ ,,длиннаго юношу, съ приличной наружностью и съ ,,притязаніями на львиную породу. У него все есть,

(*) См. Петерб. Вѣд. № 49.

„кромъ денегъ; онъ очень доволенъ собой, но для „полного счастія ему недостаетъ кареты, онъ отдаѣтъ „бы половину чужаго царства за карету. Съ мучи- „тельной жаждой, съ неотступнымъ желаніемъ этого „завиднаго экипажа, отправляется онъ въ маскарадъ, „гдѣ разыгрывалась карета въ Allegri. Передъ нимъ, „украшенная цветами, стоитъ великолѣпная карета. „Онъ возьметъ билетъ, заплатить полтинникъ и выпи- „граетъ ее непремѣнно. И вотъ въ головѣ его рож- „дается новая блестательныя мечты: карета хороша; „онъ именно такую и хотѣлъ; завтра ее заложать; „кучеру онъ купить новой армякъ; человѣкъ вой- „детъ къ нему съ докладомъ, что карета готова, онъ „поѣдетъ къ графинѣ ***, она непремѣнно его уви- „дитъ, карета ей понравится, она въ него влюбится, „левъ преклонитъ колѣна, графиня упадетъ въ его „объятія и тихо шепнетъ ему: я твоя! Разумѣется „онъ никому не скажетъ, что выигралъ эту карету „за какой нибудь полтинникъ; онъ будетъ говорить, „что выписалъ ее изъ Лондона. А если узнаютъ.... „и бѣдный юноша начинаетъ сердиться на самаго себя. „Что это за глупости ему сегодня въ голову лѣзутъ! „Ну кто узнаетъ? И кому какое дѣло, откуда у него „взялась карета! Чтобы загладить это непріятное впе- „чатлѣніе, новый спекуляторъ опять начинаетъ меч- „тать о томъ, какъ онъ будетъ жить на дачѣ, на остро- „вахъ, какъ поѣдетъ въ свое мѣсто блестательнымъ эки- „пажѣ любоваться на закатъ солнца, какъ всѣ на него „будутъ смотрѣть и восхищаться его каретой.... Въ „это время изъ рокового колеса на его долю выпа-

,,даеть шесть билетовъ, онъ схватываетъ ихъ дрожащими руками, отходить въ уголъ и съ мнимымъ, равнодушiemъ, даже съ какимъ-то наружнымъ пре,небреженiemъ начинаетъ развертывать соблазнительныя, бумажки. Разъ, два, три, четыре и все Allegri, кареты нѣтъ! Холодный потъ выступаетъ на лицо, медленно развертывается онъ пятою бумажку — ,Allegri! Кареты нѣтъ, онъ не поѣдетъ къ графинѣ, она въ него не влюбится, не шепнетъ ему: я твоя! ,Но это невозможно; онъ долженъ выиграть карету, судьба не можетъ быть такъ несправедлива къ нему. ,У него остается шестой белетъ, онъ начинаетъ его развертывать, въ глазахъ темно, онъ худо видитъ, — ,вотъ уже показываются буквы, тутъ что-то есть, кажется это каре..... нѣтъ, это тоже Allegri! Кареты нѣтъ, трехъ рублей серебромъ тоже нѣтъ; билета на завтрашній концертъ ему взять не начто; знаменитой пѣвицы, за которой онъ ухаживаетъ, ему не видать, какъ своихъ ушей, несмотря на то, что онѣ довольно длинны. Несчастіе его преслѣдуется со всѣхъ сторонъ, и бѣдный юноша готовъ уже съ ума сойти. Къ счастію, черезъ нѣсколько дней въ театрѣ, онъ видить въ одной изъ ложъ бель-этажа знакомое лицо знаменитой пѣвицы. Онъ непремѣнно отправится къ ней съ визитомъ, его увидятъ въ ложѣ, онъ приметъ какое нибудь значительное и живописное положеніе, обѣ этомъ всѣ заговорятъ, ему будутъ за,видовать. Герой-мечтатель отправляется въ ложу пѣвицы, съ необыкновенною ловкостью начинаетъ разговоръ о послѣднемъ концертѣ, на который у него

„по поводу кареты не достало денегъ, пускается въ „сладкія любезности о томъ, съ какимъ искусствомъ „она пропѣла свою восхитительную арію, которую „онъ запомнилъ по афишкѣ. Но пѣвица смотритъ на „него съ недоумѣніемъ, отъ которого нашему герою „становится какъ-то неловко. Это недоумѣніе про- „должается недолго. Лицо пѣвицы проясняется, она „съ лукавымъ выраженіемъ бросила бѣглый взглядъ „на молчаливаго мужа, который подлѣ нея, по неиз- „вѣстный причинѣ, кусаль себѣ губы, и снова обра- „тилась съ обязательной улыбкой къ счастливому „герою.

— Такъ вы были въ этомъ концертѣ?

— Могъ ли я не быть тамъ, гдѣ вы пѣли?

— И вы слышали, какъ я пѣла?

— Я ничего другаго не слыхалъ.

— Какъ это странно! Представьте же себѣ, что весь этотъ день я, больная, пролежала въ постели и вовсе не могла участвовать въ этомъ концерте.

— Вы не участвовали.... я пѣла.... вы пѣли.... Я слыхалъ.... вы восхищались — и бѣдный герой терялся все болѣе и болѣе.

„Знаменитая пѣвица взглянула на него еще разъ „съ убийственнымъ равнодушіемъ и тихо промолвила:

— Какъ стыдно лгать!

„Убитый герой, ломая руки, въ углу ложи творилъ „молитву, приговаривая: Ахъ, Господи, Господи! что „это я надѣлалъ! А малчаливый мужъ обратился къ „нему съ слѣдующимъ нравоученіемъ:

— Да, лгать не годится. Это дурная привычка отъ

которой надо отучиться, пока еще время. Вотъ я вамъ про себя скажу; я самъ былъ страшный лгунишко лѣтъ до двѣнадцати; бывало, вѣчно вру. И признаюсь, я до сихъ поръ благодарю моего отца за то, что онъ меня отучилъ отъ этого порока. Бывало, я солгу, а онъ меня розгами, и такъ болѣно высѣчть, что послѣ и лгать не захочется. И вѣрите мнѣ, я вамъ по опыту скажу: это самое лучшее, самое спасительное средство.“ (*)

Таково было общество, таково оно и теперь отчасти! Мы слышали изъ собственныхъ устъ одного изъ лучшихъ современныхъ писателей нашихъ, что и изъ литературнаго кружка подъ-часъ не безъ удовольствія уѣдешь въ англійскій клубъ и проиграешь тамъ всю ночь въ карты. Еще понятіѣ, что Губеръ охотно мѣнялъ чопорные салоны на свободную бесѣду за ужинами въ столовой Дюссо.—Кстати припомнился намъ разсказъ объ одномъ французскомъ переводчикѣ Фауста, который подъ конецъ жизни, тоскуя одиночествомъ, бросился въ разгуль, еще болѣе неудержимый, чѣмъ нашъ русскій переводчикъ гѣтева творенія. Педантично и щепетильно было бы обвинять Губера въ его увлеченіяхъ, когда общество не давало прямаго исхода энергическимъ порывамъ, да и разгуль Губера можетъ называться такъ только развѣ относительно его прежней, совершенно затворнической жизни. Одиночество тяготило его душу и онъ воскликнулъ:

(*) См. Пет. Вѣд. 1847 г.

Ахъ страшно одному! хочу забавы шумной,
Разгула дикаго, да удалыхъ гостей!
Нѣть, можетъ, между нихъ насыщкой вольнодумной,
Иль крикомъ заглушу печаль души моей! (*)

Безсонные ночи, проведенные въ обществѣ, влекли за собой другого рода безсонницу, пораждающую болѣзнью; друзья его не разъ напрасно предупреждали на счетъ опасности, грозившей ему отъ небреженія къ своему здоровью. Болѣзнь сердца быстро развивалась, болѣзненная тоска сдавливалась грудь, въ которой все росли и росли поэтическіе образы, мужалъ талантъ.... Но онъ былъ одинъ! ему недоставало Пушкина, благотворное и незабвенное, хотя кратковременное участіе котораго, разъ побаловало его сплы и оставило по себѣ неизгладимую память, незамѣнное впечатлѣніе. Можетъ-быть, этотъ великій поэтъ указалъ-бы своему меньшому собрату на ту точку опоры, которая придала бы энергию Губеру, не допустила бы грустить до отчаянія, до насильственного равнодушія ко всему, до безсонныхъ ночей, до беспорядочной жизни, до болѣзнейшихъ припадковъ.

Въ концѣ 1846 года, Губеръ собрался съ силами и принялся за труды, которые вовсе оставилъ-было за свѣтскими развлечениями. По той горячности и трудолюбію, съ какими онъ снова началъ свою дѣятельность, видно было, что онъ хотѣлъ присоединить и свои силы къ общему движению тогда временно ожи-

(*) См. Т. I стр. 117.

вившейся литературы. Талантъ и возрастъ Губера не потеряли еще тогда способности развиваться и идти за вѣкомъ, и, Богъ знаетъ, не сдѣлался-ли бы онъ любимымъ современнымъ поэтомъ! Много зависѣло бы отъ того кружка, въ которомъ обращался-бы Губеръ, а что онъ уже начиналъ сочувствовать соціальнымъ вопросамъ новой современности,—доказывается небольшимъ рядомъ стихотвореній его въ родѣ: *Я по комнатахъ хожу, Вѣ эту ночь, чуть юря, Думалъ музыкѣ,* сочувствіемъ такому чисто-политическому поэту, какимъ былъ Гервегъ, переводомъ изъ него пьесы: *Плохое Утѣшеніе* и т. д. (*)

Въ это время Губеръ предложилъ Сенковскому снова свое содружничество по редакціи и получилъ въ полное завѣданіе весь отдѣлъ критики. Преобразованныя тогда С.-Петербургскія Вѣдомости пригласили его писать фельетонъ общественной жизни, который онъ и помѣщалъ тамъ, подписываясь буквами Э. И. и К. Д. С. Современникъ, переходившій тогда въ руки гг. Некрасова и Панаева, получилъ отъ него стихотвореніе, предназначеннѣе въ первую книжку Современника за 1847 годъ. По независѣвшимъ отъ редакціи обстоятельствамъ, оно тогда не было напечатано, а затѣмъ затерялось въ бумагахъ. Только по выходѣ въ свѣтъ первыхъ двухъ томовъ нашего изданія, мы получили это стихотвореніе отъ Н. А. Некрасова. Спѣшимъ передать его читателямъ здѣсь, такъ-какъ оно уже не можетъ войти въ рядъ съ прочими мелкими стихотвореніями

(*) Т. I. стр. 179, 180, 183, 188, 100, 233.

Губера, которые всѣ помѣщены въ I томѣ нашего
изданія. Вотъ оно:

У ЛЮЛЬКИ.

Въ хатѣ тихо; треща догорая,
Еле-свѣтить лучинка
Что ты плачешь, жена молодая,
На рѣсницѣ слезинка?

Али больно тебѣ, что Ванюху
Баринъ отдалъ въ солдаты,
Что кормить и себя, и старуху,
Сиротинка, должна ты?

Чтѣ на люльку ты смотришь уныло,
Чтѣ глядишь на мальчишку?
Хорошо при отцѣ ему было:
Какъ любилъ онъ сынишку!

Какъ, бывало, съ работы вернется,
Шапку старую скинетъ,
Въ уголъ помолится, да засмѣется,
Къ люлькѣ скамейку придвигнетъ.

А теперь, безъ отца-то роднаго,
Даромъ сгинеть мальчишка,
Пропадетъ у народа чужаго,
Будетъ плутъ да воришка.

А какъ схватятъ, въ открытомъ ли полѣ,
На большой-ли дорогѣ,

Вѣкъ покончить онъ въ горькой неволѣ,
Въ кандалахъ да въ острогѣ!

Жалко матери стало ребенка....
Видно, доля такая!
И заплакала горько бабенка,
Тихо ляльку качая....

Другое стихотворение, которое мы получили отъ М. А. М. также долго спустя послѣ выхода I тома, называется: *Ave Maria*. Оно замѣчательно тѣмъ, что написано за двѣ недѣли до смерти Губера, именно 28 марта 1847 года, и поэтому съ большимъ вѣроятіемъ можетъ считаться послѣднимъ и, надо сказать, прекраснымъ произведеніемъ нашего поэта. Вотъ оно:

Ave Maria! къ тебѣ простираю
Въ страхѣ невольномъ дрожащія руки,
Съ тихой молитвой къ тебѣ прибѣгаю,
Съ теплою вѣрой тебѣ поручаю
Тайныя слезы и скрытыя муки.

Ave Maria!

Тихо къ тебѣ я приблизился нынѣ....
Я никогда никому не молилсѧ,
Не поклонялся небесной святынѣ....
О, научи меня грѣшнаго нынѣ:
Я за *ней* предъ тобою склонился!

Ave Maria!

Я за *нея*, за мою я царицу,
Нынѣ къ царицѣ небесъ прибѣгаю;

Грѣшной земли молодую жилицу
Съ теплой молитвой подъ твою я десницу,
Въ тихой надеждѣ склоняясь, укрываю.

Ave Maria!

Мнѣ—испытаніе, слезы и горе,
Ей—наслажденіе, чистую радость,
Счастіе жизни, на вольномъ просторѣ,
Тихую пристань на жизненномъ морѣ,
Свѣтлые годы, веселую младость!

Ave Maria!

Ave Maria! я гордая руки
Съ теплою вѣрой впервые подъемлю,
Первой молитвы несмѣлые звуки,
Перваго страха безумныя муки
Въ душу мятеjnую кротко прiemлю.

Ave Maria!

Но за неё мнѣ не стыдно молиться,
Но за неё я горжусь униженемъ;
Сладко предъ образомъ молча склониться,
Вѣрить и плакать и снова молиться,
Сътайной надеждой и съ кроткимъ смиреньемъ.

Ave Maria!

Я задыхаюсь, припавъ къ изголовью!
Благослови её, дѣва Марія!
Я полюбилъ её первой любовью....
Сердце горитъ, обливается кровью,
Плачетъ и молится: Ave Maria!

Ave Maria!

Лѣтомъ 1847 года, Губеръ намѣревался съѣздить въ Москву къ роднымъ, тамъ возобновить въ себѣ свѣжія силы подъ вдохновляющимъ кровомъ семьи, начать новую жизнь, которая обѣщала многое.... Весна вообще навѣвала на поэта сладкія мечты и вмѣстѣ съ тѣмъ гибельно дѣйствовала на его здѣровье. Вскрытие рѣкъ съ одной стороны грозило ему неминуемой смертельной опасностью, а съ другой вызывало давнишнія мечты о поѣзdkѣ за-границу. Уже больной, съ готовой смертью въ груди, съ убийственной болью и сознаваемой опасностью своего положенія, онъ мечталъ объ этой поѣзdkѣ и не далѣе какъ наканунѣ того дня, когда слегъ окончательно, писалъ: „Бхать! легко „сказать и хорошо тому, кто можетъ уѣхать! — Вы „проводете лѣто гдѣ-нибудь на водахъ, увидите новыя „лица, забудете старыя, отдохнете, развеселитесь, „наберетесь новыхъ впечатлѣній, и возвратитесь къ „намъ на зиму съ неслыханными рассказами. Снѣжныя „горы Швейцаріи, шумные улицы Парижа, жаркое „небо Италии и ты, соблазнительный, вѣчно прекрас- „ный Неаполь! Блажень, кто увидитъ тебя, когда ве- „чернее солнце обольетъ тебя пурпуромъ и золотомъ „и въ тысячи бриліантовыхъ лучахъ разстелется по „твоему зеркальному заливу! Ты дремлешь, опервшись „на море; все тихо кругомъ; на улицахъ пусто; „скрестивъ голыя руки на широкой груди, беспечно „спитъ подъ открытымъ небомъ твоимъ запоздалый „lazzarone, смуглое дитя твое, вольный питомецъ без- „наказанной лѣни,—а вдали безмолвно и грозно ды- „мится старецъ Везувій. Какъ хорошо все это и какъ

„грустно вспомнить, когда видишь это сърое небо,
„эти грязные улицы, когда чихаешь и кашляешь
„и въ недоумѣніи разбираешь разныя лечебныя сис-
„темы, по которымъ вы безъ всякой особенной боли
„можете отправиться не только въ Неаполь, но еще
„куда нибудь подальше.

„И такъ это рѣшено: вы уѣдете, а мы останемся,
„будемъ жить на островахъ, для развлеченія пойдемъ
„на Лахту, увидимъ, какъ на Крестовскомъ Острову
„передъ трактиромъ нѣмецъ по канату пойдетъ и по
„всей вѣроятности себѣ когда-нибудь шею сломаетъ.
„Это единственное сильное ощущеніе, которое у насъ
„въ перспективѣ; и то, пожалуй, не сбудется: этотъ
„нѣмецъ давно уже по канату ходитъ и какъ будто
„на зло никогда не падаетъ, на него надежда плохая.
„Это рѣшено—вы єдете; вамъ ничего, вамъ даже очень
„весело и вы прощаетесь съ нами съ особеннымъ
„удовольствиемъ. А намъ каково? мы оставляемся, намъ
„тяжело разставаться, потому что мы люди чувстви-
„тельные и у насъ изъ головы не выходитъ этотъ
„проклятый нѣмецъ, который никакъ не хочетъ сва-
„литься съ каната. Мы думаемъ о разлукѣ, о сви-
„даніи, о томъ, какъ хорошо жить вмѣстѣ, какъ тя-
„жело жить врозь. Мы говоримъ:

Разлука—смерть для краткой доли,
Въ которой страждеть человѣкъ!
Оставить милое—не то-ли,
Что потерять его на вѣкъ?

„а вы намъ на это отвѣчаете съ убѣйственнымъ рав-
„нодушіемъ, что ничего милаго не оставляете.

„Разговоръ о томъ, кто ёдетъ за-границу и кто „остается дома, съ приближеніемъ весны оживляеть „на нѣсколько времени нашу однообразную бесѣду. „Съ этимъ разговоромъ связываются разныя занима- „тельныя и любопытныя объясненія о томъ, почему „такая-то ёдетъ въ Италію, а не въ Германію, почему „такой-то отправляется на воды, а не въ Парижъ. „Рождаются самыя дальновидныя коментаріи, самыя „смѣлыя предположенія о будущихъ результатахъ „этого путешествія, мимоходомъ предлагаются разные „затруднительные вопросы о томъ, какъ вы пойдете, „гдѣ встрѣтитесь и когда вернетесь. Сборы къ этому „путешествію, способъ отправленія и выборъ буду- „щаго мѣстопребыванія, составляютъ тоже неистощи- „мый запасъ порядочного разговора. Кто же остается „дома, кто не можетъ уѣхать, тотъ съ особыеннымъ „наслажденіемъ вмѣшиваеть въ этотъ разговоръ раз- „ныя колкія замѣчанія, въ которыхъ видимо прогля- „дываетъ тайная зависть или явная досада. Что же „дѣлать? Такова уже природа человѣческая! Какъ „бы хорошо намъ ни было, а завидовать мы все таки „должны. Намъ можетъ быть совсѣмъ не хочется „ѣхать, мы благославляемъ судьбу, что остаемся, „и у насъ на это есть свои особенные причины, а „все же намъ досадно, что другіе ёдутъ, зачѣмъ они „не остаются вмѣсть съ нами, не потому, что мы безъ „нихъ обойтись не можемъ, что мы ихъ любимъ и „что намъ будетъ скучно. Боже сохрани! Хоть бы „всѣ они умерли; намъ это рѣшительно все равно. „Но зачѣмъ они ёдутъ? Намъ только это досадно.

„Стало быть у нихъ денегъ довольно, ихъ ничто не „связываетъ.... Или они такъ больны, что должны у- „хать?— и мы начинаемъ завидовать даже этой болѣзни; „намъ становится досадно, почему у нихъ чахотка, „а у насъ нѣтъ,—почему они такие блѣдные, а мы „здоровы и можетъ быть еще сто лѣтъ проживемъ“ (*).

Какъ хотите, а эти строки дышутъ жолчью, грустной проніей, какимъ-то отчаяніемъ. Ихъ писалъ человѣкъ больной, за нѣсколько дней, а не за сто лѣтъ до смерти. Отъ нихъ становится больно и страшно, какъ-будто вы слышите рѣчь умирающаго, который знаетъ, что умреть и съ притворнымъ равнодушіемъ говоритъ: „мнѣ и не хочется лѣчиться, я здоровъ; лѣчутся и болѣютъ богатые, а мы, бѣдные, только можемъ завидовать ихъ болѣзни; у нихъ есть деньги, а у насъ ихъ нѣтъ; умремъ-ли завтра или проживемъ сто лѣтъ, кому до этого дѣло?“ И действительно, поѣздка за-границу могла бы помочь Губеру, подкрепить его слабые силы. Но долгіе годы тяжелаго труженичества не дали нужныхъ средствъ бѣдному поэту. Онъ встрѣтилъ весну 1847 года въ Петербургѣ и не пережилъ ее.

5 апрѣля 1847 года онъ, по обыкновенію, послѣ прогулки по Невскому, явился къ обѣду къ П. Н. Всеволожской, домъ которой находился на Сергиевской. По тяжелой поступи идущаго по залѣ Губера, хозяйка дома угадала, что онъ утомленъ, а, взглянувъ на блѣдное лицо его, даже спросила:—что съ нимъ?

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. N 75.

—Нечего спрашивать! отвѣчалъ Губеръ: —чего тутъ, когда *околзываю!*

Послѣ обѣда онъ отправился въ кабинетъ хозяина отдохнуть и полежать, какъ это дѣлывалъ не рѣдко. Къ вечеру съ нимъ сдѣлался сильный болѣзnenный припадокъ, который заставилъ почтеннную хозяйку дома обратиться за помощью доктора. Всѣ возможныя пособія были оказаны; лекарства Губеръ принималъ только изъ рукъ своего друга, самой П. Н. Всеволожской, которая въ теченіе пяти дней не отходила отъ его постели. Поэтъ, по-видимому, предвидѣлъ свою кончину, но не принималъ и не слушалъ никакихъ внѣшнихъ утѣшений и былъ твердъ, не смотря на тяжкія страданія. Друзья его, графъ В. А. Соллогубъ, графъ А. С. Уваровъ, графъ Апраксинъ, М. Н. Лонгиновъ и многіе другіе окружали больнаго, который благодарили ихъ за дружбу со всей теплотой своей поэтической души.

—Какъ сладко умирать! сказалъ Губеръ и тихо скончался.

Это случилось рано утромъ 11 апрѣля. Вѣсть о смерти его быстро разнеслась по всему городу и опечалила многихъ, не только друзей его. Вечеромъ 14 апрѣля тѣло Губера было перенесено изъ дома П. Н. Всеволожской въ Реформатскую церковь, что въ Конюшенной. За гробомъ шли его друзья, литераторы и множество молодежи, которая любила и уважала въ немъ, какъ талантъ, такъ и человѣка. Ночью, послѣ выноса, М. Н. Лонгиновъ, графъ А. С. Уваровъ и графъ Н. А. Апраксинъ, какъ ближайшіе друзья

Губера, собрались и составили по личнымъ воспоминаніямъ биографію покойнаго на французскомъ языкѣ, которую на другой день пасторъ Муральтъ прочелъ въ церкви.

15 апрѣля Губеръ былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ . . .

Черезъ нѣсколькоъ дней, къ слезамъ друзей присоединился голосъ литературы, оплакивавшій смерть своего дѣятеля. О. И. Сенковскій написалъ въ апрѣльской книжкѣ Библ. д. Чт. длинную статью, посвященную Губеру, отъ которого еще въ этомъ мѣсяцѣ ожидалъ литературной лѣтописи. Если даже объемъ статьи Брамбесуса отчасти зависѣлъ отъ неисполнившагося ожиданія и отъ необходимости пополнить книжку, то все-таки ей нельзя отказать въ теплотѣ чувства. Вотъ нѣсколько словъ изъ нея:

„Въ русской литературѣ не было никогда и не будетъ души благороднѣе, возвышеннѣе, чище цѣ свѣтлѣе души Губера. Послѣ Пушкина никто изъ нашихъ поэтовъ не обладалъ такимъ звучнымъ и изящнымъ стихомъ; ясный умъ, тонкій и вѣрный вкусъ, превосходныя чувства, чудесный талантъ, обширныя и разнообразныя познанія, благородный образъ мыслей, совершенное отсутствіе притязаній и зависти, доброта, скромность, чувствительность, любезность, остроуміе, всѣ лучшіе дары неба богато были соединены въ этомъ молодомъ человѣкѣ. Еще недавно составлялъ онъ своимъ присутствиемъ радость и наслажденіе друзей. Его ужъ иѣть! Въ пять дней не стало добра го нашего Губера! . . . Съ тѣхъ поръ, какъ раз-

„вилась въ этой даровитой организаціи способность „сильно мыслить и сильно чувствовать мыслимое, онъ „уже былъ боленъ избыткомъ души,—полнѣе сказать, „избыткомъ прекрасной души“....

Уже оканчивая нашу біографію, мы прочли въ 10 № Русскаго Слова (1859 г.) рецензію на первые два тома сочиненій Губера. Рецензенту очень не нравятся стихотворенія Губера, которому онъ отказываетъ и въ умѣ, и даже въ искренности чувства. Мы полагаемъ, что такое мнѣніе не есть общее мнѣніе литературы и потому будемъ ожидать другихъ сужденій, болѣе спокойныхъ и беспристрастныхъ. Что касается до обвиненія, взводимаго на редактора изданія Губера за то, что онъ перепечаталъ всѣ стихи, находившіеся у него въ рукописи, замѣчательны-ли они или нѣтъ, хотѣль ли авторъ при жизни печатать ихъ или нѣтъ, то мы должны сказать, что не считали себя вправѣ исключать что-либо, предпочитая полноту произвольнымъ пропускамъ, тѣмъ болѣе, что признаемъ Губера во всякомъ случаѣ замѣчательнымъ дѣятелемъ пушкинской эпохи нашей литературы. При этомъ мы расчитывали не на однихъ друзей Губера, сердцу которыхъ гармонія его стиховъ скажется теплѣе, чѣмъ кому либо, но и на большинство читателей. Общество помнить его имя и не упрекнетъ насъ въ искреннемъ стараніи ближе и полноe познакомить его съ произведеніями поэта, съ его личностью, столь симпатичной во всѣхъ отношеніяхъ.

Не упрекнуть ли меня и въ томъ, что я не по-
скупился на биографическія свѣдѣнія о Губерѣ, что я
старался не упустить ни одной черты, рисующей его
какъ человѣка?.... Но я не хотѣлъ и не смѣлъ быть
небрежнымъ ни къ одному факту, въ которомъ я узна-
валъ Губера, и только этимъ надѣялся достичь своей
цѣли—*пробудить въ читателяхъ сердечное сочув-
ствіе къ жизни и ублѣженіямъ поэта.*

Герой нашего разсказа принадлежитъ къ числу
тѣхъ личностей, которыми характеризуется русское
общество двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Это люди
вѣчно недовольные, разочарованные, потому что причины недовольства еще недостаточно разъяснены: изъ
нихъ выродилось наше новое поколѣніе съ болѣе
определенными взглядами, наше обличительное, карательное поколѣніе. Герой нашего разсказа — не хо-
дульный рыцарь, не пустая кликуша; онъ человѣкъ,
страдавшій эпидемической болѣзнью разочарованья;
это — Ленскій Пушкина съ прекрасной натурой, съ
высокой и теплой душой, съ умомъ образованнымъ.
Такія личности встрѣчались въ жизни, ихъ описывали
въ романахъ и повѣстяхъ: нашъ герой — лицо невы-
думанное, талантливое, сильное по натурѣ. Оттого-то
нельзя не отвѣтить глубокимъ сочувствіемъ на требо-
ванія любящаго сердца Губера, который искалъ дру-
жескаго участія, оттого-то мы вѣримъ искренности
словъ, сказанныхъ однимъ изъ друзей его послѣ смер-
ти поэта, и охотно повторимъ ихъ здѣсь:

„Бѣдный Губеръ! бѣдный поэтъ! или лучше ска-
зать, бѣдные его товарищи! бѣдные мы! Онъ заста-

„виль нась пережить его и внести новое незабвенное
„имя въ вѣчно возрастающій списокъ нашихъ утратъ
„Онъ никого уже не будетъ ни терять, ни оплакивать,
„а мы, пока не дойдетъ и до нась очередь, все бу-
„демъ не досчитываться его въ нашемъ тѣсномъ кругѣ
„Мы все будемъ помнить это добродушное пушкинское
„лицо, эту разумную улыбку, эту грустную веселость,
„которая были въ немъ такъ привлекательны. Не
„забудемъ мы тоже его благородныя чувства, его
„сердечную неиспорченость посреди столичныхъ иску-
„шений, его счастливую вѣру въ дружбу, его дѣтскую
„душевную простоту.... Отчужденный отъ семейства,
„и небогатый, онъ нажилъ въ Петербургѣ цѣлую семью
„горячихъ друзей, которые лишились въ немъ болѣе
„чѣмъ роднаго. Этимъ опредѣляется вся его жизнь.“(*)

Вглядываясь въ эту жизнь, я проникался глубокимъ чувствомъ любви иуваженія къ личности покойнаго Губера. Безпредвзятно познакомить читателей съ какой-бы-то ни было личностью—кажется мнѣ такой задачей, которая налагаетъ на совѣсть тяжелую отвѣтственность; оттого я съ трепетомъ принимался за перо и теперь повторяю, что со страхомъ касался ильской души поэта, боясь неудачной обрисовкой оскорбить лучшія движенія ея, потому что я хотѣлъ познакомить читателей не только съ Губеромъ-литераторомъ, но и съ Губеромъ-человѣкомъ въ обширномъ смыслѣ слова, и въ этомъ видѣлъ цѣль, достойную усерднаго труда.

(*) См. Петерб. Вѣд. 1847 г. Статья графа В. Соллогуба объ Э. И. Губерѣ.

ПРИМѢЧАПІЯ

КЪ

БІОГРАФИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ.

ПРИМѢЧАНІЯ.

I. Приведемъ для примѣра отрывокъ изъ разсужденія *O бессмертіи души*: „На ближней баштѣ пробила полночь; все безмолствовало съ тайнымъ благоговѣніемъ; лишь дикия совы завывали на кровляхъ опустѣлого замка, лишь горный вѣтеръ шевелилъ листами стольнаго дуба, лишь перепутанный филинъ порою перелеталъ отъ мѣста на мѣсто и юный мѣсяцъ, какъ ангель отрады, лишь изрѣдка выглядывалъ изъ-за прорванныхъ тучъ. Въ это время Ингульфъ шелъ скорыми шагами по незнакомой тропѣ. Забывшись у доброго друга за чашей веселаго нектара, онъ не слыхалъ, какъ ударила полночь, но, опомнившись, онъ вырвался изъ обѣятій вѣрнаго друга и поспѣшилъ въ свою хижину. Вдругъ мѣсяцъ проглянулъ сквозь темную тучу и озарилъ пустыни. Ингульфъ съ изумленіемъ увидѣлъ угрюмаго Раймунда. Онъ стоялъ на скатѣ холма. Медвѣжья шкура висѣла на плечахъ, желѣзныя латы покрывали грудь его, длинныя брови нависли на потухшіе глаза, черные, курчавые волосы въ беспорядкѣ падали на плечо и на грудь. Онъ стоялъ въ безмолвіи и пламя раздумья пылало на мрачномъ человѣка. Ингульфъ тихо подошелъ къ нему и взялъ

„его за руку, говоря: какія ирачныя думы занимаютъ „взволнованную душу твою въ часы безмолвной полу- „ночи, зачѣмъ не пируешь ты съ нами? Раймундъ „оглянулся и съ горькой улыбкою отвѣчалъ ему; пируй- „те, счастливы, пока еще чужды печали, пока еще „рокъ не смѣялся надъ вами“ и т. д.

II.. Для любопытствующихъ предлагаемъ одно изъ немецкихъ стихотвореній молодаго Губера.

* * *

Gedenke mein!

Wenn fern von hier im friedlichen Gefilde
Die Freude dich mit Kranz umschlingt,
Und deine Brust im irren Traumgebilde
Ins stille Reich entflohner Tage dringt;
Wenn vor dem Sturm des schnell verprassten Lebens,
Noch fern vom Ziel, des Pilgers Brust erbebt,
Wenn einst im Meer des Wissens und des Strebens
Mit Adlersflug sich der Gedanke hebt!

Gedenke mein!

Wenn spät daheim beim traulichen Gelage
Der Göttertrank in deinem Glase schäumt,
Wenn schwermuthsvoll vom Glücke ferner Tage
Die treue Brust der ernsten Freunde träumt;
Gedenke mein zur Stunde deiner Leiden,
Wenn Kummer dich in schwere Fesseln bannt,
Wenn Glück und Ruh auch deine Hütte meiden
Und herber Schmerz an dein Geschick dich mahnt.

Gedenke mein!

Auch ich genoss den süßen Kelch des Lebens,
Den freudentbrannt der trunkne Jüngling hält,
Auch mich verschlug der Sturm des eitlen Strebens
In das Gewühl der trügerischen Welt,
In jene Welt, die das Verdienst misskennet,
Die Todesgift dem Biedermane zollt,
Die Wahrheit hehlt, die Brüderherzen trennet,
Und freiem Muth mit arger Rache grollt.

Gedenke mein!

Wenn du durchglüht vom Taumel deiner Triebe
Nun schwelgend sinkst an deines Mädchens Brust
Und stammelnd lallst die Worte deiner Liebe
Durchschauert von der Wonne süßer Lust,
Gedenke dann, von ihrem Arm umschlungen,
Des Sonderlings, der eure Weiber hasst,
Des Eisenbrust von Liebe nie durchdrungen,
Der, ernst und kalt, nie ihre Wonne fasst.

Gedenke mein!

Wenn im Gewühl der schlachtenbrannten Reihen
Den todten Freund dein treues Auge sucht,
Wenn ewger Schmach mich die Verräther weihen
Und Feindesbrust mich noch im Staube flucht,
Wenn Todesruf von meines Grabes Rande
Zu dir erschallt aus dunkler Schauergruft
Und weit hinweg von deines Lebens Strande
Der Knochenmann den müden Pilger ruft.

III. Приводимъ переводъ и оригиналъ для сравненія.

Nach Puschkin.

Tret ich auf die belebte Strasse,
Geh' ich zu Gottes Tempel ein,
Sitz' ich mit Jünglingen beim Glase,
So drückt mich des Gedankens Pein!

Da sprech ich: Tag und Jahr vergehen,
Doch allen hier, wohl jung und alt,
Wird bald des Grabes Flügel drehen,
Umfasst der Arm des Todes kalt.

Seh ich im Wald die grüne Eiche,
So denk ich: greiser Patriarch,
Du sahst einst meines Vaters Leiche,
Nun siehst du bald auch meinen Sarg.

Küss ich ein Kind mit süßem Beben,
Da sprech ich mit betrübtem Sinn:
Leb wohl! Dir mach ich Platz im Leben,
Du blühst heran, ich welke hin.

Und jedes Jahr und jede Stunde
Seh ich mit trübem Blicke an:
Sie bringen mir des Todes Kunde,
Sie nahen dumpf und stumm heran!

Sterb ich im Krieg, am Wanderstabe,
Auf hohem Meer, in fremdem Land?
Ereilt mich hier, in stillem Grabe,
Im nahen Thal des Todes Hand?

Und ist es gleich, in welchem Hafen
Mein Leib verwest in stummer Ruh,
So würd' ich hier wohl besser schlafen
Der süßen Heimath näher zu.

Das junge frische Leben glühe
Hier spielend auf des Grabes Flur
Und ewig schön und schöner blühe
Gefühllos glänzend die Natur.

А вотъ и оригиналъ:

Брожу-ль я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу-ли въ многолюдный храмъ,
Сижу-ль межъ юношей безумныхъ,—
Я предаюсь моимъ мечтамъ.

Я говорю: промчатся годы
И сколько здѣсь ни видно нась,
Мы всѣ сойдемъ подъ вѣчны своды
И чей-нибудь ужъ близокъ часъ.

Гляжу-ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ.

Младенца-ль милаго ласкаю,
Ужъ я думаю: прости!
Тебѣ я иѣсто уступаю: —
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти!

День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.

И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина?
Въ бою-ли, въ странствіи, въ волнахъ?
Или сосѣдняя долина
Мой приметъ охладѣлый прахъ?

И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предмету
Мнѣ все-бѣ хотѣлось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будешь жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять! (*)

IV. Первая глава Антонія напечатана въ Новогодникѣ совершенно въ иномъ видѣ, чѣмъ въ нашемъ изданії. Кромѣ пропуска въ началѣ стиховъ отъ 1—41 включительно и многихъ другихъ менѣе значительныхъ перемѣнъ, въ Новогодникѣ эта глава раздѣлена на 27 параграфовъ. Послѣдніе четыре написаны съ цѣлью придать нѣкоторую законченность отрывку и потому вовсе не вошли въ наше изданіе. Вотъ эти стихи, которые слѣдуютъ послѣ описанія разлуки Антонія съ родителями т. е. послѣ 1-й главы:

(*) См. Сочиненія Пушкина изд. П. Анищенкова. Т. II. стр. 489.

XXIV.

Владѣя кистю свободной,
Иной писатель новомодной
Изобразилъ-бы вамъ теперь
Разлукы горестной картины,
Невыразимую кручину
И горечь тягостныхъ потерь.
Вотъ, напримѣръ, на первомъ планѣ,
Въ нарядномъ, праздничномъ кафтанѣ
Толпа печальныхъ прихожанъ;
Предъ ними пастырь ихъ духовный,
Надеждой ясной и любовной,
Смиряя боль сердечныхъ ранъ,
Къ молитвѣ складывая руки,
Покорный волѣ Божества.
Онъ полонъ, въ грустный часъ разлуки,
И свѣтлыхъ думъ и торжества.
Потомъ и мать въ безмолвномъ горѣ,
И неподвижна и блѣдна,
Съ живымъ страданіемъ во взорѣ,
Въ нѣмью скорбь погружена;
И сынъ, обнявъ ея колѣна,
Съ слезами горькими въ очахъ...
Клянусь, заманчивая сцена!
Все крикъ, да плачь! все о! да ахъ!

XXV.

Потомъ, картину довершая,
Поэтъ опишетъ наконецъ,
Какъ плачетъ Паола молодая,

Чѣмъ занятъ пасмурный мудрецъ.
Но виноватъ! я заболтался....
Къ досадѣ всѣхъ моихъ друзей,
Въ несвязной повѣsti моей
Мудрецъ безъ имени остался....
Что дѣлать, милые друзья!
Старикъ сердить; и гнѣвъ, и ласки
Меня страшать; боюсь огласки, —
И эта тайна не моя.
Страшнѣе грознаго зоила
Онъ за нескромность отомстить,
А цензоръ въ красныя чернила
Перо глубоко погрузитъ!
Нѣтъ, это слишкомъ безразсудно!
Такъ не дойдемъ мы до конца;
И потому мнѣ право трудно
Назвать сѣдаго мудреца.

XXVI.

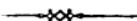
Но дочь совсѣмъ другое дѣло;
Я провинился передъ ней —
И потому открою смѣло
Вамъ имя Паолы моей.
Вдали отъ суетной печали,
Вдали отъ бури роковой,
Ее донынѣ занимали
Забавы юности живой.
Малютку ангелы хранили,
Своимъ крыломъ пріосѣнивъ,

И бури мимо проходили,
Надъ ней грозы не разразивъ.
Она такъ пышно разцвѣтала
Вдали отъ праздной суеты,
Загадка жизни не смущала
Ея младенческой мечты.
Но рокъ не спигъ! и на чужбинѣ
Судьба открыла передъ ней
Въ живой, мучительной картинѣ
Скрижалъ невѣдомыхъ скорбей.
Одинъ урокъ! печаль разлуки
Повязку съ глазъ ея сняла —
И сердце ждетъ тревожной муки,
И дѣва слезы поняла!

XXVII.

И только онъ, стариkъ суровый,
Не тронуть общею тоской;
Ему страданія не новы,
Онъ помнить тяжкія оковы,
Онъ помнить жребій роковой.
Одинъ, въ безчувственномъ покоѣ,
Среди волненія сердецъ,
Какъ изваяніе живое,
Стоитъ недвижимый мудрецъ;
Такъ въ бурю шумной непогоды
Гроза въ раскатахъ загремитъ,
Но въ общемъ ужасъ природы
Не дрогнетъ царственной гранитъ:

Такъ на тревоги жизни бурной,
И молчалива и блѣдна,
Не покидая сводъ лазурный,
Глядить бездушная луна!



ОГЛАВЛЕНИЕ III-го ТОМА.

Стр.

Прозаические статьи различного содержания:

Взглядъ на нынѣшнюю литературу Германіи	3
О философіи. Статья 1-я	13
Статья 2-я	47
Вильгельмъ Телль. Статья 1-я	87
Статья 2-я	119
Ломоносовъ	163
Н. М. Языковъ	207
Выбранныя мѣста изъ переписки Гоголя съ друзьями	213
Э. И. Губеръ. Биографический очеркъ (Съ при- мѣчаніями), А. Г. Тихменева	221

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

Widener Library



3 2044 099 661 290